К. Н. БЕРКОВА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

К. Н. БЕРКОВА

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

1828—1889—1924

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»
1925

Напечатано в типографии
ОГПУ им. т. Воровского,
Бол. Лубянка, д. № 18.
Главлит 24529. Тир. 5000.

Посвящается памяти

незабвенного друга

врача

человека

АННЫ РАБИНОВИЧ

ГЛАВА I

Детство. — Игры и забавы. — Товарищи детских игр. — Семья.

— Ребята! Айда в Малую Азию!

— Айда! Бежим!

— Васька, живей поворачивайся!

— Бежим, робя!

Целая ватага детей, в возрасте от 7 до 14 лет, с криком и гиканьем неслась со двора саратовского протоиерея отца Гавриила на соседний широкий двор, прозванный почему-то «Малой Азией». Большинство ватаги составляли скуластые и вихрастые дворовые мальчишки, в рваных шапчонках и худых зипунишках, плохо прикрывавших тело, несмотря на сильный мороз. Были тут и мальчики «из благородных», дети мелких чиновников и лиц духовного звания, с бледными, веснушчатыми лицами и тщательно напомаженными головами. Впереди всех мчался, как вихрь, худощавый мальчик лет 12—13, с нежным, женственным лицом и рыжеватыми, волнистыми волосами. Его бледные щеки ежеминутно вспыхивали от малейшего волнения. Серые близорукие глаза щурились от лучей февральского солнца. Одежда мальчика носила след заботливой материнской руки и выдавала некоторый достаток.

— Что будем делать, Николя?

— Кататься на салазках!

— К салазкам! Ура!

Толпа бросилась в угол двора, где было припрятано несколько салазок, моментально их растащила, и началось катанье с горы. Звонкий смех, веселые детские крики стояли в морозном воздухе. Не меньше других веселился Николя. Но при этом он не забывал следить за маленьким быстро-

глазым мальчиком лет восьми, уже дважды вывалившимся из саней.

— Осторожнее, Саша! Ушибешься!

— Ничего, Николя! Небось, я не маленький!

И мальчик с пронзительным визгом снова бросался в салазки. Малыш весь отдавался веселой забаве и ежеминутно забывал благоразумные советы Николи. Наскочивши с разбегу на 10-летнего коренастого Ваську, он получил щелчок по лбу и теперь стоял в сторонке, морщась и потирая больное место и исподлобья поглядывая бойкими темными глазенками, не видит ли Николя. От последнего не ускользнуло приключение Саши, но он сделал вид, что ничего не замечает.

— Будет кататься! Теперь к нам, на задний двор!—скомандовал Николя, и разрумянившиеся от мороза, оживленные, запыхавшиеся дети гурьбой бросились за ним. Николя был, повидимому, предводителем ватаги, и все беспрекословно ему повиновались.

Вскоре небольшой задний двор, примыкавший к дому протоиерея Гавриила Ивановича Чернышевского, отца Николи, огласился веселыми криками. Ребята бегали взапуски, прыгали «на приз» через яму, влезали на высокий столб с ловкостью обезьян. Одним из самых ловких, несмотря на свою близорукость, был Николя. Он успел уже получить три почетных приза—два ореха и яблоко, которые немедленно роздал малышам, и собирался лезть на столб за четвертым, когда к нему подбежала худенькая белокурая шестнадцатилетняя девушка, в наскоро наброшенной шубке.

— Что тебе, Любинька?—спросил мальчик.

— Бросай игру, Николя,—быстро проговорила Любинька. — Папаша увидел вас из окна и приказал тебе итти домой.

При слове «папаша» детвора всполошилась и мигом исчезла, как стая испуганных воробьев. Николя хладнокровно, не спеша, последовал за Любинькой. Маленький Саша плелся за ним с виноватым видом.

В низкой, просторной комнате, куда вошли наши мо-

лодцы, застигнутые на месте преступления, было жарко натоплено. Незатейливая ее обстановка—некрашеные столы и стулья, большая деревянная кровать под кисейным пологом, детская железная кроватка, белые занавески на окнах, уставленных цветочными горшками, отличалась необыкновенной опрятностью. В комнате не было ни одного предмета роскоши. Но прекрасный дубовый шкаф с книгами и горка старинного фарфора и потемневшего от времени серебра в углу свидетельствовали о некоторой зажиточности.

В комнате было пять человек. Сам отец Гавриил, благообразный мужчина лет пятидесяти, с проницательным взглядом серых, близоруких, как у Николи, глаз, шагал взад и вперед по комнате, медленно поглаживая свою окладистую, черную с проседью бороду, и разсеянно слушая болтовню тщедушного, невзрачного дьячка в полинявшей рясе. Жена его, Евгения Егоровна, женщина лет 40 с небольшим, с широким, добродушным лицом, хлопотала у бельевого шкафа, считая и раскладывая только что выглаженное белье. Женщина несколько помоложе Евгении Егоровны, очень похожая на нее, сидевшая в низком кресле у окна, была занята вязаньем фуфайки из грубоватой, но прочной темной шерсти. Это была сестра ее, Александра Егоровна, вышедшая замуж после смерти первого мужа, офицера Котляревского, за чиновника Николая Дмитриевича Пыпина. Любинька была дочь ее от первого брака, Саша—сын от второго. Обе семьи жили на одном дворе и были очень дружны. Теперь они, по обыкновению, проводили вместе послеобеденные часы. Николай Дмитриевич, низенький толстяк, чрезвычайно живой и подвижной, несмотря на свою толщину, просматривал «Губернские Ведомости», дымя трубкой и по временам разражаясь смехом или негодующими восклицаниями.

— Вот и Николка явился,—сказал отец Гавриил. Брови его были сурово сдвинуты, голос звучал строго, но глаза, обращенные на вошедшего сына, светились глубокой нежностью.—Ты что же это, парень? Опять бегаешь на заднем дворе с мальчишками, пока шею себе сломаешь! Сколько раз я запрещал тебе!

— Папаша,—серьезным тоном отвечал мальчик,—мы занимались физическими упражнениями. Беготня и прыганье на свежем воздухе укрепляет мышцы, развивает легкие и вообще закаляет тело. Вы не станете отрицать, что закал необходим в жизни. Еще древние понимали значение физического воспитания. В Спарте юноши с самого младенчества закалялись играми, упражнениями и состязаниями на воздухе. Только благодаря этой суровой школе спартанцы могли одержать верх над изнеженными афинянами. В Риме тоже процветали всякие виды спорта. «Здоровый дух в здоровом теле»,—говорили римляне...

— Ну, ну, будет!—произнес отец Гавриил с ласковой усмешкой.—Сел на коня, заговорил отца, книжныйчервь! Марш к своим учебникам!

— Николенька у нас будет ученым,—сказала Евгения Егоровна, взглянув на сына с материнской гордостью.

— Сколь умилительно видеть бездну премудрости в столь младых летах,—подхватил тонкой фистулой дьячек.— Отчего не отдаете сына в семинарию, отец Гавриил? Из него бы вышло светило церкви.

— Нет уж, увольте, отец Феофан! Знаем мы вашу бурсу. Науки там вколачиваются в голову палкой. У моего Николая не медный лоб. Поучится дома—больше узнает.

— Но ведь лоза-то приносит сладкий плод,—хо-хо-хо!— вставил громким басом Николай Дмитриевич.

— Да от этого плода у людей ум за разум заходит, сам знаешь, Николай Дмитриевич,—возразил отец Гавриил.—А мы возрастим хлебный злак, чтобы давал плод на потребу добрым людям.

— Золотые слова ваши, отец Гавриил,—снова умилился дьячок.—Поистине уста ваши—сосуд благодати. Не по нынешним временам вы пастырь, а по старинке. Встарь были сосуды деревянные, попы золотые. А ныне сосуды золотые, попы деревянные.

— А еще говорят: «попово брюхо из семи овчин сшито». «Не пиюще, не ядуще, а пенязе беруще» [1],—прибавил Нико-

[1] По древне-славянски: «не пьет, не ест, а деньги берет» — насмешка над лицемерием духовенства.

лай Дмитриевич. И довольный собой, толстяк разразился раскатистым хохотом.

— Будет тебе, старый! — вмешалась в разговор Александра Егоровна.—Вишь разошелся: трубит, словно труба иерихонская! Не видишь разве, что мешаешь Николеньке заниматься?

Между тем, виновник всех этих споров давно уже сидел за столом, низко склонившись над книгой. Свет маленькой керосиновой лампочки падал на его рыжеватые кудри. Весь поглощенный чтением, он, казалось, не видел и не слышал ничего происходящего вокруг. Время от времени Николя делал выписки в лежавшую перед ним толстую тетрадь.

Поработав с полчаса, мальчик встал, подошел к знакомому нам дубовому шкафу и начал перебирать книги, видимо что-то разыскивая. Содержимое шкафа представляло довольно пеструю картину. Тут были и «Путешествие вокруг света» Дюмон-Дюрвиля, и «История государства Российского» Карамзина, и энциклопедический словарь Плюшара, и Цицерон на латинском языке, и «Биографии великих мужей» Плутарха. Из русских писателей были налицо сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, из иностранных— полное собрание сочинений Шиллера на немецком языке. Был также лучший журнал того времени «Отечественные Записки» за несколько лет. Все книги были тщательно переплетены и расставлены в образцовом порядке.

Порывшись в шкафу, Николя взял том энциклопедического словаря, снова уселся на свое место и углубился в книгу. В это время раздался стук в наружную дверь. Любинька выбежала в сени.

— Николя, к тебе пришел Ахмет-Али,—об'явила она, вернувшись.—Он раздевается на кухне. Вслед за нею в комнату вошел молодой перс в пестром халате, туфлях и цветной феске. Поклонившись на восточный манер, он снял туфли и взобрался с ногами на диван, куда к нему присоединился и Николя. Это был его учитель персидского языка. Мальчик с таким же увлечением ушел в урок, с каким только что отдавался книге.

ГЛАВА II

Воспитание.—Семейная обстановка.—Страсть к чтению.—Саратовская семинария.—Школьные сочинения.—Влияние на Пыпина.—Юношеские мечты.—Стремление в университет.—Уход из семинарии.

Описанные нами сцены происходили в 1841 г. Николя был единственным сыном саратовского протоиерея и инспектора духовных училищ Гавриила Ивановича Чернышевского. Гавриил Иванович был незаурядным человеком. Добрый, умный и образованный, он выделялся из темной и грубой среды саратовского духовенства. Ровный и приветливый в обращении, несмотря на свое высокое общественное положение, он никого не отпускал без ласки и доброго совета. Прекрасно понимая недостатки обучения в духовных училищах, куда обычно отдавали священники своих сыновей, Гавриил Иванович решил дать сыну домашнее образование. При его обширных познаниях—Гавриил Иванович знал не только древние, но и новые языки—при наличности хорошей по тому времени домашней библиотеки, это ему было нетрудно. Николя с детства проявлял блестящие способности. Он поражал всех своей любознательностью. Не довольствуясь обучением латинскому, греческому, французскому, немецкому и английскому языкам, он захотел учиться по-татарски и по-персидски. Выучившись очень быстро по-татарски, он нередко останавливал на улице татар, чтобы поговорить с ними на родном языке. С персидским языком дело обстояло хуже. Долго не удавалось найти учителя. Наконец, нашелся торговец апельсинами Ахмет-Али, который согласился обучать Николю. Радости мальчика не было конца. С такой же жадностью он набрасывался на книги по истории, географии, физике и другим отраслям знания.

Страсть к чтению в нем поддерживала двоюродная сестра Любинька Котляревская, сама большая охотница до книг. Ранние годы Николи прошли под влиянием этой развитой и вдумчивой девушки, бывшей всего на три года старше его.

Но, несмотря на рано развившуюся страсть к чтению, Николя не был хилым заморышем, весь день проводящим над книгой в душной комнате. Физические силы его также развивались нормально. С раннего детства он любил устраивать игры и состязания на свежем воздухе с дворовыми мальчиками. В этих шумных играх и шалостях, где Николя был зачинщиком и коноводом, крепли его силы. Эти забавы вливали здоровую демократическую струю в его воспитание. Мальчик с юных лет стал близок к детям народа, он знал их нужды и радости и привык делиться с ними лакомствами, которыми снабжала его заботливая мать.

Детство Николи проходило в счастливой семейной обстановке. Родители его жили дружно и ладно. Оба души не чаяли в единственном сыне и окружали его теплой лаской и неусыпными заботами. Но изнеженность, баловство в семье не допускались. В доме господствовала бодрая рабочая атмосфера. Семьи Чернышевских и Пыпиных были небогаты, и все члены их работали с утра до вечера. Это был труд бодрящий и радостный. Сам Николай Гаврилович много лет спустя (в 1878 году) так описывал в письме к родным обстановку, в которой протекало его детство.

«Мы были очень, очень небогаты. В Петербурге самые небогатые из людей, виденных вами,—даже нищие—не знают теперь, что такое был гривенник в нашем, небедном, семействе. Оно было небедно. Пищи было много. И одежды. Но денег—никогда не было. Поэтому ничего подобного гувернанткам и т. п. не могло нашим старшим и во сне сниться. Не было даже нянек. Прислуги было много. Но она была вся занята хозяйственными делами. Она присматривала за детьми лишь редкими и ничтожными урывками, для отдыха от дел, об этом не стоит и говорить. — А наши старшие? Оба отца писали с утра до ночи свои должностные бумаги. Они не имели даже времени побывать в гостях. Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали,

читая книги. Они желали быть и были нашими няньками. Но—надобно же обшить мужа и детей, присмотреть за хозяйством, и хлопотать по всяческим заботам безденежных хозяйств.

Итак, урывками мы имели нянек—читающих, и слушали иногда, а больше сами читали. Никто нас не «приохочивал». Но мы полюбили читать. А кроме этого, мы жили себе, как нам вздумается. Были постоянные советы нам, чтобы мы не разбили себе лбов. При малейшем приключении такого рода, на помощь нам прибегали взрослые люди—или наши старшие, или прислуга. Но больших бед не могло быть. Опасных игрушек у нас не было: ничего железного, ничего острого. Это потому, что и вовсе не было у нас покупных игрушек. На игрушки нам не было денег. Поранить себя нам было нечем. А наши старшие были люди смирные; шума, беспорядка не было даже у прислуги. Вся прислуга—крепостные—были люди истинно благородные. Потому и у нас, росших в обществе честном и скромном, формулировались скромные, рассудительные нравы в наших играх. Итак, опасности нам от наших рабов не было. И росли мы, собственно говоря, как проводят время взрослые люди, то-есть: делали все, как нам было угодно».

Такова была семейная обстановка Николи. Простота, естественность, скромные привычки, любовь к труду—вот какие привычки прививала она своему питомцу. В этой атмосфере росли и созревали его душевные силы. К 16-ти годам это был высокий худощавый юноша, с тонкими чертами лица, рыжеватыми, волнистыми волосами, тихим голосом и вдумчивым взглядом близоруких серых глаз. Скромный, застенчивый от непривычки к обществу, он был прозван товарищами «красной девицей». Но некоторые наблюдатели уже начинали догадываться о сокровищах мысли и чувства, которые таились в этой тихой глубине. «Мне казалось,—писал впоследствии один из них[1],—что в глубине этой юной души лежит нечто таинственное, от всех скрываемое, что она недовольна окружающей ее средой и подозревает другого рода мировоззрение».

---

[1]) И. Палимпсестов в своих «Воспоминаниях».

Шестнадцати лет, минуя низшие классы саратовской семинарии, Николя Чернышевский поступил в один из ее старших классов. Изумительно начитанный, прекрасно подготовленный мальчик выделялся из среды товарищей. Он владел языками: латинским, греческим, древне-еврейским, французским, немецким, английским, польским, татарским и персидским. В семинарии он изучил еще арабский язык. Богатству его знаний дивились не только ученики, но и учителя. Скучные уроки семинарских педагогов нередко оживлялись, благодаря Чернышевскому. Особенно любил его учитель словесности Воскресенский, прозванный «Зоткой» [1]), про которого семинаристы сложили песню:

«Зод зодчайший,
Шельма величайший».

На уроке обыкновенно Николя читал какую-нибудь книгу или делал выписки из лексикона. Если никто не умел ответить на вопрос, «Зотка» вызывал Чернышевского. Тот вставал и начинал: «Французский писатель говорит об этом то-то... Немецкий писатель указывает то-то... Английский писатель замечает по этому поводу...» Все кругом диву даются: откуда он, в своем возрасте, мог набраться таких сведений!

Знаниями своими Чернышевский охотно делился с товарищами. В семинарию он приходил одним из первых, и сейчас же со всех сторон сыпались просьбы: «Николя, об'ясни мне урок по философии».—«Николаша, сделай перевод из Цицерона».—«Николай Гаврилович, напишите мне сочинение о причинах падения Рима». — «А мне—характеристику древне-русской словесности; вчера не успел, Зотка ругаться будет». И Николя охотно рассказывал, об'яснял, писал сочинения на самые разнообразные темы, применительно к уровню развития предполагаемого автора.

Его собственные сочинения считались образцовыми и были гордостью школы. Соответственно духу, господствовавшему в семинариях, большинство сочинений было на

---

[1]) На языке семинаристов — молодец, знаток своего дела.

религиозные темы. В них Чернышевский выказывал литературные способности, приводившие в восторг учителей. «Прекрасно», «Прочел с удовольствием»,—гласили учительские отметки, а одна из них предсказывает, что «автор со временем будет хороший мастер своего дела».

Однако, несмотря на обилие «духовных» тем, кой-когда проскальзывали и «светские». И в них особенно Чернышевский мог проявить себя во всем блеске. В некоторых из них он обнаруживал огромную начитанность и склонность к исторической постановке вопроса. Такова была его работа на тему: «Откуда составилось у евреев понятие о Мессии, как о царе чувственном». Чернышевский об'ясняет это явление историческими причинами. Пламенные мечты евреев о земном пришествии Мессии он ставит в связь с их стремлением к политическому освобождению, развившимся под влиянием иноземного гнета и воспоминаний о былой славе. «Мессия должен был возвратить им свободу и самостоятельность и из рабов сделать их владыками вселенной». В другой работе Чернышевский доказывал, что судьба человечества зависит от распространения научных знаний. Юношеским энтузиазмом дышат слова молодого автора о значении науки. «Знание,—пишет он,—это неиссякаемый рудник, который доставляет владетелям своим тем большие сокровища, чем глубже будет разработан». Сочинение заключается горячим призывом к молодому поколению: «Подумаем только — ход образования целого человечества зависит от нашей деятельности!»

Под непосредственным влиянием Николи Чернышевского рос и развивался его двоюродный брат Саша Пыпин, бывший всего на 5 лет моложе его. С раннего детства Николя был его старшим товарищем и руководителем. «Не родной брат, но ближе, чем родной»,—писал о нем впоследствии Александр Николаевич Пыпин. Во время детских игр Николя следил, чтобы мальчик не упал, не ушибся, защищал его от обидчиков. Ставши юношей, 16-летний Николя заражал 11-летнего Сашу своей жаждой знания, своими благородными, возвышенными стремлениями. Он нередко читал мальчику Шиллера, Жуковского, Пушкина и при этом обращал его

внимание не только на красоту языка и художественных образов, но также и на те идейные богатства, которые щедро рассыпаны в произведениях великих поэтов.

Юный Чернышевский скоро стал тяготиться семинарской учебой. Его не могла удовлетворять эта духовная пища. Мысль его жадно рвалась из тесных стен семинарии на вольный простор, к более глубоким источникам знания. Тихий и сдержанный, он редко делился с товарищами своими надеждами и стремлениями. Но наедине с собой, во время своих прогулок по живописным берегам Волги, он мечтал, восторженно мечтал... Вот расступаются перед ним берега родимой реки и уходят куда-то в синюю даль. Перед ним расстилается вся необозримая Русь, «от финских хладных скал до пламенной Колхиды». В громадных культурных центрах кипит жизнь, кипит живая научная работа; и всюду, где бьется пульс творческой мысли, с благодарностью повторяется имя Николая Чернышевского... Наш герой уносится на крыльях фантазии далеко-далеко от родного гнезда. Он видит себя в огромном зале, залитом ярким светом. Тысячи молодых глаз устремлены на него с восторженным благоговением. Он говорит, и каждое его слово будит мысль, ударяет по сердцам «с неведомою силой». Вместе с потоком его речей, мощной струей льются в юные души идеи добра, правды и красоты. И имя Чернышевского гремит от моря до моря... Слава, слава грезится ему. Но то не суетная слава, дразнящая самолюбие, ослепляющая мишурой юношеское воображение. Это слава человека науки и великого русского просветителя...

Мечты эти глубоко волновали нашего юношу. В самых случайных пожеланиях, незначительных встречах, он находит отклик своему душевному настроению. Один знакомый пожелал ему «стать профессором, великим мужем». И Чернышевский отмечает на листке для памяти: «Как душа моя вдруг тронулась этим! Как приятно видеть человека, который скажет то, что сам думаешь, пожелает тебе того, чего ты жаждешь».

Чем дальше, тем все больше рвался Николя из стен саратовской семинарии. Большинство юношей его звания

было обречено тянуть семинарскую лямку долгие годы. Но юный Чернышевский был в более благоприятном положении. Умный отец все чаще стал задумываться над необходимостью определить сына в гражданскую школу. Случайная ссора с саратовским духовным начальством окончательно утвердила его в этом решении. И наконец, 18 февраля 1846 года, ровно через два года по поступлении Чернышевского в семинарию, к неописанной радости юноши, ему было дано увольнительное свидетельство. На семейном совете решено было, что он поступит в петербургский университет.

Через несколько дней после этого мать Чернышевского встретилась с инспектором семинарии. «Очень жаль, Евгения Егоровна,—сказал он,—что вы отнимаете у нас вашего сына. Он был бы великим светильником в православном духовенстве».

Но иная судьба ждала нашего героя. Не светильником церкви станет он, а ярким светочем науки, творцом социалистической мысли и учителем целого ряда поколений русских революционеров, отдавших все свои силы за лучшее будущее родной страны.

ГЛАВА III

Поездка в Петербург.—Дорожные приключения.—Письма с дороги сестрам и Пыпину.—Петербургские впечатления.— Поступление в университет.—На пороге храма науки.

В Петербург! Учиться! Все ликовало в Чернышевском, когда 18 мая 1846 г. он усаживался в дорожный тарантас, напутствуемый благословениями отца и слезами двоюродных сестер. Евгения Егоровна не решилась отпустить одного своего Николю. Она провожала его до самого Петербурга, вместе с родственницей, молодой, но весьма рассудительной особой. Поездка «на долгих» от Саратова до Петербурга в те времена продолжалась 5 недель. В течение всего этого длинного пути Чернышевский аккуратно писал домой. В его письмах живо отражались картины дореформенного путешествия, со всеми его прелестями и неудобствами, с его поэзией и томительной скукой. Чернышевский умел придать оттенок юмора всякому дорожному приключению. Он подтрунивал над лошадьми, у которых «дух бодр, а плоть немощна».—«Милый друг и брат мой Саша,—пишет он двоюродному брату,—как ты находишь, поверят ли англичане, так тщеславящиеся своими скаковыми лошадьми, что у нас в России простые извозчичьи лошади, пара с 15 пудами клади, могут нестись с быстротою трех с двумя третями верст в час? А это факт, брат: именно с такой быстротой несемся мы... А знаешь ли, ведь года через три будет железная дорога из Петербурга в Саратов; не подождать ли уж ее? А то что тянуться с такой скоростью: ведь не раньше же дотянемся, а только бока натрудишь!»... Впрочем, нет худа без добра. Оказывается, что и тряский, медлительный тарантас не лишен своего очарования: «В комнате чуть

захочешь прилечь—сейчас назовут лежебоком. А здесь я пользуюсь беспрекословно правом лежать 14 часов в сутки в повозке, а остальные 10 на лавке в избе—прелесть! Читать можно совершенно свободно».

Вот приехали в Аткарск. Чернышевский восхищается его бесчисленными лужами, напоминающими лагуны Венеции. «Саша скажет вам, что лужа и лагуна происходят от одного корня и значат одно и то же». Провизии запасливая Евгения Егоровна взяла с собой в предостаточном количестве. «Провизии, которую мы с собой набрали, достало бы не только до Воронежа, но и в оба конца, туда и оттуда в Петербург. Впрочем, мы ею не беспокоимся: переклали ее на козлы кучеру». Такое обилие с'естных припасов вызывает порой забавные недоразумения; одно из них живо изображает Чернышевский. Обоз с нашими путешественниками медленно двигается по улицам Аткарска. Когда повозки останавливаются вблизи больницы, больные, высунувшись из окна, любопытствуют, кто это приехал. «Сестра Александры Егоровны», — отвечают извозчики. — «Что же, это ее, что ли, товары-то? На базар, видно, их привезла?»— «Да», — отвечают извозчики, несколько смущенные такой догадливостью и проницательностью.

Веселые шутки, юмористические описания дорожных сценок отражали жизнерадостное настроение Николи Чернышевского. Но они касались только внешней стороны путешествия и совершенно не затрагивали его интимных переживаний. Замкнутый и застенчивый по натуре, юноша был весьма скуп на лирические излияния. В письмах к отцу и сестрам он ни словом не упоминает о тех думах и чувствах, которые волновали его, когда мысль его летела навстречу цели путешествия, далеко опережая медленно ползущий тарантас. Только в письмах к Саше Пыпину прорываются интимные нотки. Одно из них, от 1-го июня, было поистине замечательно. Письмо это, проникнутое сердечной теплотой и нежной заботливостью о брате, красноречиво свидетельствует о том влиянии, которое имел Чернышевский на подрастающего мальчика. Ласково пеняя «милому другу Сашеньке» за то, что тот редко пишет,

говоря в свое оправдание, что «нечего писать»,—Чернышевский восклицает:

«Нечего писать! Да возможно ли только сказать это? Неужели ты всю эту неделю не думал ни о чем, не делал ничего, ни одна новая мысль не пришла тебе в голову? Нет новостей внешней жизни! Да кто ж и требует от тебя таких новостей? Если уж требует, то наверное не я. Посмотри на дерево летом: есть ли хоть одна минута, в которую не произошло бы в нем перемены к лучшему или худшему? Останавливается ли хоть на миг его развитие?

«Так и душа человеческая, особенно в наших с тобою летах. Не проходит дня, чтобы не развивалась на сколько-нибудь наша душа. С каждым новым днем, в наши лета, или начинаешь понимать и постигать что-нибудь, что прежде было для тебя непостижимо, или начинаешь не понимать того, что казалось простым до того, что не над чем и голову ломать. Умственные очи наши теперь ежедневно постепенно делаются сильнее и зорче, все равно, как изощрялось бы зрение, если бы стал смотреть в зрительные трубы и микроскопы, выбирая друг за другом их все лучше и лучше. Смотришь простым глазом: движется что-то, а что—решить невозможно. Берешь порядочную трубу: человек; еще получше: вот на нем такое-то и такое-то платье; еще лучшую—это вот тот-то твой знакомец; еще лучшую—и различаешь каждую порошинку на его платье, каждый его волосок. Так с каждым днем теперь, при развитии души нашей, становится понятнее, ближе то, что прежде было непонятно; прежде ты смотрел, конечно, хладнокровно на эту точку, а теперь ты, узнавши в ней своего приятеля, интересуешься им, смотришь с участием: так знание возбуждает любовь; чем больше знакомишься с наукой, тем больше любишь ее. Теперь наоборот. Смотришь на каплю воды, на листок зелени простым глазом: над чем тут задуматься? Без цвета, без вкуса, без запаху; берешь микроскоп, и эта капля бесцветная, мертвая оживает под ним: в ней видишь целый мир, миллионы существ, наслаждающихся и дорожащих бытием своим, защищающих и сохраняющих его. Что тебе прежде было в этой капле? Капля, так капля и есть, что в

ней толку, интересу? А теперь, как она интересна для тебя! Что было в ней непонятного, занимательного? А теперь, сколько вопросов об этих существах у тебя в голове! Сколько трудных вопросов, сколько в ней темного почти всегда. И это интересует тебя, представляя тебе загадки и вопросы. Так ясное, и потому не интересовавшее нас прежде, становится темным и по тому самому интересным для нас, при развитии сил души нашей»...

12-го июня путешественники добрались до Москвы. В письме к «милым сестрицам» Чернышевский, по обыкновению, в шутливой форме, делится с ними впечатлениями. «Ходил по знаменитому Кузнецкому мосту—моста не видал. Магазины снаружи великолепны, а внутри не был. Студенты университета составляют, кажется, половину народонаселения: до того часто мелькают их голубые воротники. Не пройдешь 20 сажен, не увидевши хоть одного—и это еще большая половина раз'ехалась»...

Наш будущий студент не хочет задерживаться в Москве. Его путеводная звезда зовет его на север. Вперед! В Петербург! Он горит нетерпением увидеть храм науки. Медленность передвижения начинает казаться ему невыносимой. Но всему на свете бывает конец: 19 июня в 8 часов утра тяжелый тарантас с нашими путешественниками и их с'естными припасами в'езжает в стены Петербурга. Весь путь продолжался больше месяца и обошелся около 500 руб. ассигнациями [1]).

В Петербурге Чернышевские прежде всего разыскали своего земляка, студента А. Ф. Раева, весьма практического молодого человека, с которым должен был поселиться Николай Гаврилович. Новая обстановка произвела сильное впечатление на наших провинциалов. Евгению Егоровну особенно поражало уличное движение и сутолока большого города. «Что это у вас в Петербурге все куда-то торопятся и бегут с вытаращенными глазами?» Она поглощена забо-

---

[1]) Ассигнации — бумажные деньги, введенные в России Екатериной II. В 1839 году курс ассигнаций был установлен в размере 3 руб. 50 коп. за серебряный рубль.

тами о квартире и устройстве сына. Последний, наоборот, весьма беспечно относится к этой стороне жизни. В письмах к отцу он посмеивается над убожеством своей обстановки. «Стол наш, исправляющий должность письменного, немного стеня и трясыйся».—Жизнерадостное настроение его не покидает. «Петербург с одной стороны устроен для моциона,—пишет он сестрам,—но если приходится подчас делать в день верст по 15 по неровно набитым камням мостовой, то это уже пожалуй слишком много. Из прелестных вещей (для меня—книг, для вас—платьев, шляпок и проч.) купить почти ни одной не хватает денег». Но тем, что больше всего говорит его сердцу и уму, Чернышевский, по обыкновению, делится только с Сашей Пыпиным. «На Невском проспекте,—пишет он,—кажется, в каждом доме по книжному магазину: серьезно, я не проходил и третью часть его, а видел, по крайней мере, 20-30 их, да сколько еще пропустил мимо глаз!» Чуть не с первого дня он начинает изучать петербургские библиотеки, и при этом обнаруживает необыкновенную для юноши его возраста начитанность. Так, о «Библиотеке для чтения» он пишет отцу: «Библиотека для чтения» не стоит того, чтобы подписываться—одни повести, романы, путешествия и театральные пьесы. Серьезных книг очень немного: нет ни Герена, ни Шеллинга, ни Гегеля, ни Нибура, ни Раумера, нет ничего,—о существовании их Библиотека и не предчувствует. Только решительно и нашел я из истории и философии, что несколько сочинений Гердера и автобиографию Стефенса» [1]).

Заботливая мать, опасаясь, что ее Николенька не будет принят в университет, как не окончивший курса семинарии, сочла нужным итти к профессорам с просьбой о покровительстве для сына. Чернышевский горячо протестует в письме к отцу против такого намерения, унизительного для его человеческого достоинства. «Невольно заставишь смотреть на себя, как на умственно нищего, идя рассказы-

---

[1]) Шеллинг, Гегель — знаменитые немецкие философы XIX века, Нибур, Раумер — немецкие историки. Герен — французский естествоиспытатель. Стефенс—немецкий философ и естествоиспытатель. Гердер—знаменитый немецкий писатель.

вать, как ехали мы 1500 верст при недостаточном состоянии и проч. Как ни думай, а какое тут можно произвести впечатление, кроме худого. Да едва ли и выпросишь этим снисхождение к своим слабостям. Ну, положим, хоть и убедишь Христа ради принять себя: да вопрос еще, нужна ли будет эта милостыня. Ну—а если не нужна? Если дело могло бы и без нее обойтись? А ведь как угодно, нужна ли она или нет, а прося ее, конечно, заставляешь думать, что нужна. Так и пойдешь на все четыре года с титулом: «Дурак, да 1500 верст ехал: нельзя же!»

К счастью, сыну удалось убедить Евгению Егоровну отказаться от своей затеи. 2 августа начались вступительные экзамены на историко-филологический факультет. Чернышевский блестяще сдал их, без всякого покровительства, и 14 августа Евгения Егоровна дрожащею от волнения рукою писала мужу в Саратов: «Поздравляю, мой родной, с сыном студентом». Вскоре, счастливая и успокоенная, она двинулась в обратный путь, оставив своего Николеньку на попечение Раева. В первый раз в жизни она расставалась с сыном, и не мало слез было пролито при прощании. Грустен был и юный студент. Но скоро петербургские впечатления рассеяли его грусть. Книги, лекции, новые товарищи, профессора, студенческий быт—все это целиком захватило его. Река жизни быстро увлекла его в своем мощном и победном течении. Прошлое подернулось дымкой: оно осталось далеко позади. Милое детство, родные лица, тихие волжские берега—все потонуло в счастливых невозвратных воспоминаниях. Перед ним алели новые горизонты. Его расцветавшую юность манило и влекло заповедное царство, где самоцветными каменьями сверкают сокровища мысли и знания. На пороге царства мысли стояла величественная фигура Науки и ласковым жестом звала его вступить под своды своего храма...

ГЛАВА IV

Чернышевский—студент. — Житейские заботы. — Страсть к науке.—Знакомство с М. И. Михайловым.—Переписка с А. Н. Пыпиным.—Любовь к человечеству и любовь к отечеству.—Внутренняя и внешняя жизнь.

Юный Чернышевский зажил самостоятельной жизнью. Он поселился с Раевым. За 15 руб. серебром молодые люди нашли две отдельные комнаты на Малой Садовой[1]. Наш студент жил чрезвычайно скромно и бережливо, не позволяя себе ни малейшего развлечения. На все расходы—за стол, квартиру, мыло, свечи, бумагу, перья и т. д. у него уходило около 20 руб. серебром в месяц. Эта сумма представлялась ему огромной. Николая Гавриловича удручала мысль, что его содержание слишком дорого обходится родителям, что они, быть может, стеснены в средствах из-за него. Эта мысль проходит красной нитью в его переписке с родными. «Милая тетенька,—пишет он А. Е. Пыпиной,—сделайте милость, напишите мне правду, не обременительно ли для наших содержать меня, не стесняются ли они от этого в чем-нибудь таком, в чем прежде не нужно им было стесняться; им уже поздно отказывать себе и подвергаться лишениям. Ведь мне так много приходится проживать здесь—бездна какая этот Петербург! Непостижимо, как это выходит столько денег в нем!» Получив от Пыпиных ответ с уверением, что родители ни в чем не нуждаются, Чернышевский несколько успокаивается. Но он попрежнему продолжает вести строгий, трудовой образ жизни. Скромные привычки и здоровые нравственные устои, заложенные семейным воспитанием, предохраняют его от столичных соблазнов.

---

[1]) Ныне Екатерининская ул.

Страсть к науке, которой отдался молодой Чернышевский со всей цельностью, присущей его натуре, не оставляла ему ни времени, ни охоты для обычных студенческих развлечений. Но порой, среди самых усиленных университетских занятий, в его душу прокрадывалась тоска одиночества. Детство его и ранняя юность прошли в тесном семейном кругу. Теперь он очутился один на чужбине, без единой близкой души. С сожителем, Александром Федоровичем Раевым, у него не могло быть душевной близости. То был благоразумный, практический молодой человек, чрезвычайно сухой и мелкий по натуре. Весь душевный склад его был чужд Чернышевскому. Между ними с самого начала установились чисто внешние отношения. С другими студентами Чернышевского сближала любовь к науке и литературе. Среди них у него было много товарищей, но не было близкого человека. Так продолжалось до встречи с вольнослушателем петербургского университета Михаилом Илларионовичем Михайловым, в котором Чернышевский нашел задушевного друга.

Это был богато одаренный юноша, с яркой и своеобразной индивидуальностью. Михайлов был демократ по происхождению и воспитанию. Его предки были крепостными крестьянами. Дед Михайлова был дворовым человеком Аксаковых. В «Семейной Хронике» одного из виднейших русских писателей, С. Т. Аксакова, описано, как этот человек умер под розгами, защищая свою волю от посягательств надменных бар. Рассказы об этом случае и другие семейные предания о кровавой расправе с крепостными еще в детстве производили глубокое впечатление на маленького Михайлова. С годами в нем росло страстное стремление отдать свои силы на освобождение народа от его цепей. Этому стремлению Михайлов остался верен до конца. Одна из самых светлых личностей русского освободительного движения, Михайлов был не только революционер, но и широко образованный литератор, талантливый романист и поэт, переводчик многих европейских писателей, особенно Гейне.

Чернышевский познакомился с Михайловым в 1846 г.

Спустя год Михайлов оставил университет и уехал из Петербурга: ему не хватало выдержки для систематических научных занятий, его увлекала литературная и общественная деятельность. Но дружеская связь не порвалась с от'ездом Михайлова. Она сохранилась до самой его смерти в 1865 г.

Таков был ближайший из университетских товарищей Чернышевского. Последний питал к нему самое теплое дружеское расположение. Но всю силу чувства, на которую был способен Чернышевский, он по-прежнему отдавал «милому другу Саше»—А. Н. Пыпину. Ни в чем так не проявлялась глубина натуры Чернышевского, как в его отношениях к другу детства. Этот сдержанный и замкнутый, холодный с виду юноша, таил в себе сокровища любви и нежности. Он не перестает думать о Саше Пыпине, трогательно заботиться о его судьбе. Родители Саши подумывали о том, чтобы отдать его на казенное содержание в закрытое учебное заведение. В этом случае судьба мальчика была предрешена. Перед ним закрывалось широкое поприще научной и общественной деятельности, так как начальство могло распоряжаться им по своему усмотрению. Такая возможность кажется Чернышевскому чудовищной, совершенно недопустимой. Он умоляет отца повлиять на родителей Саши, чтобы те отказались от своего намерения. Глубокое, сердечное волнение сквозит в этих строках.

«Папенька! Вы отчасти видели по опыту, каков казенный хлеб, что стоит для нравственности жизнь на казенном! Но поверьте, что бурса и грязные ее комнаты, и дурная провонялая пища—рай в сравнении с казенным учебным заведением!

«Сделайте милость, не советуйте отдавать Сашу; через это можно погубить всю его будущность и карьеру, и сердце его... Сделайте милость!».

Узнав, что родители Саши раздумали отдавать мальчика в интернат, Чернышевский осыпает отца выражениями горячей благодарности: тяжелый камень свалился с его души!

С самим А. Н. Пыпиным молодой Чернышевский нахо-

дился в деятельной переписке. В своих письмах он внушал «милому Саше» те возвышенные мысли и стремления, которыми была полна его собственная душа. Высший смысл жизни он сводит неизменно к двум принципам: любви к человечеству и любви к науке. Всякий кто работает для процветания отечества, тем самым служит человечеству. Разумеется, «отечество» Чернышевский понимал совсем не в том смысле, в каком часто толковалось это понятие в его время. Для него «отечество» не было хранителем священных заветов «самодержавия, православия и народности»—как провозглашали официальные сферы. В его глазах отечество отнюдь не было избранной страной, обителью народов, благоденствующих под сенью двуглавого орла,—как понимали это узкие националисты. Молодому Чернышевскому отечество представлялось частью всего человечества, одной из наиболее отсталых, которая особенно нуждается в приобщении к европейской культуре. Он хотел пробудить в юном Пыпине сознание умственной отсталости своей родины и необходимости вывести ее на широкую дорогу европейского просвещения и общечеловеческих интересов.

«Что до сих пор внесли русские своего в науку? Увы, ничего. Что внесла наука в жизнь русских? Тоже ничего, она еще молода-с, всего полтора века-с. Да ведь в XVIII веке жили уже Декарт, Ньютон и Лейбниц, а это тоже было через полтора же века по восстановлении наук (в начале XVI века). А? А мы то что?

«Неужели наше призвание ограничивается тем, что мы имеем 1.500.000 войска и можем, как гунны, как монголы, завоевать Европу, если захотим? Жалко или нет бытие подобных народов? Прошли как буря, все разорили, сожгли, полонили, разграбили—и только. Таково ли и наше назначение? Быть всемогущим в политическом и военном отношении, и ничтожным по другим, высшим элементам жизни народной?...

«Решимся же твердо, всею силою души, содействовать тому, чтобы прекратилась эта эпоха, в которую наука была чужда нашей жизни духовной... Пусть и Россия внесет

то, что должна внести в жизнь духовного мира, как внесла и вносит в жизнь политическую... И да свершится через нас, хоть частью это великое событие. И тогда не даром проживем мы на свете»...

Жизнь показала, что семена любви к науке и родине, брошенные Чернышевским в душу юного Пыпина, не пропали даром. Под его благотворным влиянием из «милого друга Саши» впоследствии вырос крупный ученый и общественный деятель.

Еще ярче отражалось душевное горение Чернышевского и глубина его любви к брату в письме от 27 сентября 1847 года.

«Ты не пишешь, значит не любишь.

«Ты говоришь, что тебе нечего писать ко мне. Вот это, к несчастью, и доказывает мне, что ты не любишь меня. Не думай, что я пишу это так: нет, это глубоко огорчает меня; ты не воображаешь, как глубоко...

«Разумеется, в твоей жизни внешней, так же как и в моей, нет ничего замечательного, никакого разнообразия. О ней нельзя написать ничего, это точно.

«Но разве это жизнь в существенности? Конечно, есть такие несчастные люди, для которых внешняя жизнь составляет *всю* жизнь—я знаю, что ты не можешь принадлежать к числу этих жалких созданий.

«Есть жизнь другая, жизнь внутренняя, душевная. Эта-то и есть истинная жизнь. В ком есть она, тот занимается внешней жизнью и заботится о ней лишь постольку, чтобы она не мешала внутренней жизни. Так все заботятся о здоровьи только настолько, чтобы его состояние не мешало нам наслаждаться жизнью. Кто им не дорожит? Кто захочет расстроить его? Но кто же и поставляет все свое счастье в нем?

«Одним словом, жизнь внутренняя—это главное, единственное, можно сказать. Вот эта-то внутренняя жизнь и занимает тех, кто нас любит, и ею-то мы делимся с теми, кого любим. Не может быть, чтобы она не кипела в тебе. И есть потребность делиться ею с кем-нибудь, со всяким, кого любишь... Можешь ли ты предполагать, что я не пойму

тебя? Нет, потому, что мое положение слишком сходно с твоим. Думы твои—все перебывали в голове у меня; желания твои, чувства твои—я их знаю: они или теперь еще во мне, или были во мне и оставили следы, и не только возможность понять, но даже невозможность не понять их и не сочувствовать им в другом...

«Что же может тебе мешать в этом естественном стремлении делиться, рассказывать мне твою жизнь? Конечно, одно из двух. Или ты не любишь меня. Или думаешь, что я не люблю тебя. Напиши же хоть это, которое же именно, первое или второе... Прощай, целую тебя».

Противопоставление внешней и внутренней жизни, постоянное подчеркиванье второй и пренебрежение к первой чрезвычайно характерны для Чернышевского. Мы увидим далее, как небогата внешними событиями его многострадальная жизнь. Ничего яркого, красочного, никаких эффектов... Тихое, однобразное течение... Но какое неисчерпаемое богатство внутренних переживаний! Какая мощь и глубина мысли, какая сила чувства, постоянно находящие в себе все новые и новые родники! Жизнь Чернышевского с внешней стороны—это убогий сельский ландшафт. Ржаное поле... Зеленый луг, покрытый чахлой травкой... Кое-где пасется тощая крестьянская скотина... Вдали виднеется тихая речушка, с берегами, поросшими осокой... Вот и все... Внутренняя жизнь Чернышевского—это «Неопалимая Купина», огненный куст горящий и несгорающий. Жарко пламенеет он в ночном небе, далеко-далеко в глубь грядущего разбрасывая ослепительные огненные искры, зажигающие мысль, льющие потоки света и тепла в душу...

ГЛАВА V

Университетские занятия.—Николаевский режим на университетской кафедре.—Разочарование в университетской науке. — Кружок Введенского. — Самостоятельные занятия.

Чернышевский вступил в стены петербургского университета в самом восторженном настроении, полный веры во всемогущество университетской науки. Он ждал от нее разрешения всех своих запросов, философских и общественных—о смысле бытия, о судьбах человечества и т. д. Для него университет был поистине universitas [1])—всеоб'емлющее целое, источник всезнания. В первых своих письмах домой он с благоговением говорит о профессорах и лекциях. Но уже через несколько недель в его отзывы об университеских занятиях прокрадывается нотка разочарования.

В глухую пору постучался в дверь университета наш юный искатель знания. То была эпоха николаевского режима. Общественное движение последних десятилетий было сломлено. Екатерина II сумела подавить как широкое революционное движение в народе, известное под именем пугачевщины, так и протестующий голос первого русского республиканца А. Н. Радищева, осмелившегося писать, что «самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние». Любимый внук Екатерины Александр I, прозванный льстецами «благословенным», поставил во главе России жестокого солдата Аракчеева. Этот «бес, лести

---

[1]) Universitas — по латыни означает: всеобщность, всеоб'емлющее целое.

преданный» [1]) прославился своими усмирениями крестьян, которых засекал на смерть целыми тысячами. Военный заговор революционного авангарда дворянства, возникший еще при Александре I, привел, вскоре после его смерти, к открытому вооруженному восстанию 14 декабря 1825 г. Восстание декабристов было подавлено с неслыханной жестокостью Николаем I. Теперь, после ряда блестящих побед над «внутренним врагом», самодержавие отдыхало на лаврах. Настало мрачное тридцатилетие 1825—1855 гг. Лозунги «самодержавие, православие, народность», брошенные из правительственных сфер и подхваченные бюрократией, были руководящими принципами во всех областях общественной жизни.

Этим реакционным лозунгам приносилась в жертву и научная мысль. Университетская наука муштровалась и туго затягивалась в мундир казенного образца. Она могла шествовать «стопою благородной» лишь по узким колеям, предначертанным свыше. Свобода научного изыскания преследовалась, как опасное вольнодумство. «Долой Вольтэров! Фельдфебеля в Вольтэры» [2]) раздавался властный окрик, когда с университетской кафедры звучало живое слово. И на преступной кафедре водворялся порядок—как это было в тридцатых годах в Харькове, когда профессором философии был назначен пристав. По красочному выражению знаменитого писателя и революционера А. И. Герцена, министерство народного просвещения напоминало пожарное

---

[1]) Аракчеев подписывался в письме к Александру I «без лести преданный». Слегка изменив эту характеристику, современники прозвали его «бес, лести преданный».

[2]) «Фельдфебеля в Вольтэры»—слова полковника Скалозуба из «Горе от ума» Репетилову, восхваляющему ученость «князя-Григория»:

«Ученостью меня не обморочишь;
Скликай других; а если хочешь
Я князь-Григорию и вам
Фельдфебеля в Вольтэры дам:
Он в три шеренги вас построит,
А пикнете—так мигом успокоит».

(Действие 4-ое, явл. 5-ое).

дело, постоянно тушившее знание из боязни, чтобы от его искр не воспламенилось слишком много умов.

Молодой Чернышевский вначале с жаром набросился на университетские занятия. Самыми выдающимися профессорами его были: И. Срезневский, преподававший историю русского языка и славянских наречий, П. А. Плетнев, читавший русскую литературу, историк М. Куторга, профессор эстетики и истории литературы А. Никитенко и профессор философии и психологии А. Фишер. Всем этим предметам Чернышевский отдавал много труда и времени. Но вскоре он отрезвился от своего преклонения перед университетской наукой. Критическая мысль заработала. Юный студент видел, как на лекциях Куторги, считавшегося либералом, просиживал целыми часами попечитель учебного округа Мусин-Пушкин. «Он иногда вставал и, опершись сбоку на кафедру, смотрел в упор на профессора, которого такой надзор, конечно, не мог не раздражать»—писал домой Чернышевский. Он читал философские статьи Фишера, в которых последний пытался возвести общественное неравенство между людьми в непреложный закон, имеющий божественное происхождение. «Неравенство между людьми и, вместе с тем, зависимость одних от других, введено первоначально не человеческим произволом, но независимо от него, имеет высшее божеское происхождение» — писал маститый профессор. «Это неравенство, как нечто первоначальное, пребывающее и неизменное, одним словом, как *начало общественной жизни,* проходит через все времена истории человечества — это может отрицать только тот, кто вообще не захотел бы признавать ничего высшего в сравнении с человеческим разумом, и был бы готов отвергать самые очевидные факты, лишь бы остаться верным своему предубеждению касательно равенства отвлеченной разумности во всех людях»...

Все эти наблюдения приводили нашего студента к печальному выводу. Ореол, которым он окружал вначале университет и профессоров, значительно потускнел. Он убедился, что при известных условиях «храм науки» должен стать не рассадником просвещения, а гасителем живой

мысли. И отношение его к университетским занятиям меняется в корне. По-прежнему аккуратно посещая лекции, он однако, центр тяжести своих занятий переносит в свою скромную студенческую комнатку и в библиотеку. «Читать самому гораздо полезнее, нежели слушать лекции,—пишет Чернышевский домой 13 декабря 1846 года.—Если бы я знал, не поехал бы сюда. И из-за чего весь этот огромный расход? Из-за вздора! Выписавши на сто руб. серебром книг в Саратов, можно было бы приобрести гораздо более познаний». Еще откровеннее делится он своим разочарованием в письме к «сестрице Любиньке» Котляревской:

«Вообще, нашим знаменитостям плохо удаются экзамены, или, как говорит один наш знакомый, «они не в дружбе с правительством».—Да, вот Плещеев—вышел в поэты и вышел из университета. Белинский не выдержал экзамена в университет московский, впрочем поступил в вольнослушатели, и все-таки не прослушал до степени. Искандеру тоже помешало что-то окончить курс».

Замечание Чернышевского по поводу Искандера (псевдоним Грецена) было неточно: Герцену удалось кончить курс московского университета. Источником ошибки Чернышевского были дошедшие до него слухи о частых недоразумениях Герцена с университетским начальством. Любопытно отметить разницу в отношениях Герцена и Чернышевского к результатам занятий в университете. Герцен, как и Чернышевский, был недоволен университетской наукой. Тем не менее, университет дал ему очень много. Но в этом отношении Герцен был обязан не столько лекциям, сколько студенческим кружкам: Герцен и другие даровитые юноши 30-х годов принимали самое деятельное участие в кружках самообразования, где вырабатывалось их миросозерцание. Почему же Чернышевский не вращался в таких кружках? Это об'ясняется отчасти замкнутостью его натуры, а отчасти тем обстоятельством, что вообще петербургский университет в 40-х годах не выдвинул кружков, подобных знаменитым московским кружкам 30-х годов. Единственным кружком, где группировалась передовая студенческая молодежь, был кружок земляка Чернышевского Иринарха

Ивановича Введенского. Это был идеалист в лучшем смысле слова, преданный освободительным идеям, горячий поклонник «властителя дум» тогдашней молодежи—великого критика Белинского. Чернышевский изредка бывал на литературных вечерах Введенского и, несомненно, находился под его влиянием. Но его миросозерцание складывалось, главным образом, не в пылу споров, как у Герцена, а в тиши библиотечных зал и маленькой студенческой комнатки. Здесь наш юный студент углублялся в изучение передовых мыслителей своего времени. Вынесенное еще из родного гнезда основательное знание новых языков оказало ему огромную услугу. Благодаря этому знанию, он мог теперь ознакомиться в подлиннике с выдающимися произведениями французской и немецкой литературы, содержавшими цвет философской и общественной мысли 40-х годов. Это были сочинения французских социалистов-утопистов и труды виднейших представителей немецкой философии.

ГЛАВА VI

Влияние социалистов-утопистов.—Жизнь и идеи Фурье.— Критика буржуазного строя.—Возражения против мальтузианства.—Социальная гармония, основанная на ассоциации.—Фаланги.—Фаланстеры.—Чернышевский-фурьерист.

В университетские годы Чернышевского русская интеллигенция находилась под сильнейшим идейным влиянием иностранной, особенно французской, социалистической литературы. Передовые круги студенческой молодежи жадно искали ответов на свои запросы в произведениях Сэн-Симона, Фурье, Роберта Оуэна, Кабэ, Пьера Леру и других *социалистов-утопистов*. Эти благородные мыслители подвергали жесточайшей критике отрицательные стороны буржуазного строя. Они доказывали, что блистательные обещания Великой Французской революции не оправдались, что прекрасные лозунги «свобода, равенство, братство» остались в области пышных фраз и не нашли воплощения в жизни; что эксплоатация человека человеком не исчезла, а лишь приняла новые формы; что на развалинах старого порядка, черпавшего жизненные соки в крепостном труде, родилось новое рабство, основанное на труде наемном. Французские утописты рисовали яркие картины будущего общества, когда человечество, сбросившее с себя цепи, заживет счастливой, свободной жизнью. Тогда оно сумеет дать полный простор своим творческим силам. Когда же пробьет час освобождения, когда наступит желанный день? Это в значительной степени зависит от случайности, отвечали утописты. Разумность и красота нового строя так очевидны, что число сторонников его должно расти с каждым днем; достаточно понять его выгоду для человечества двум-трем миллиардерам, чтобы сразу явилась возможность его осу-

ществления. В противоположность позднейшей школе научного социализма, французские утописты не подвергали исследованию основ капиталистического общества, не пытались вскрыть те законы общественного развития, которые с логической необходимостью ведут к исчезновению капитализма и замене его другим общественным строем. Сэн-Симон, Фурье, Кабэ и их соратники были детьми своей эпохи, не созревшей для научной постановки волновавших их вопросов. Эти энтузиасты и пророки социализма, эти поэты грядущего общества, были полны веры в близкое торжество разума и справедливости. Достаточно просветить людей, чтобы настало царство социальной гармонии. Улетая на крыльях своей богатой фантазии, утописты не замечали, как грезы их были оторваны от реальной действительности. Они ждали пришествия своего добродетельного капиталиста, как древние евреи ждали пришествия Мессии [1].

Светлая вера социалистов-утопистов, их пламенная преданность идее заразительно действовала на молодые умы. Как сильно было влияние на молодежь французской литературы, видно из воспоминаний знаменитого сатирика, одного из крупнейших русских писателей 60—70-х годов М. Е. Салтыкова-Щедрина:

«С представлением о Франции и Париже, — говорит Щедрин,—для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, т.-е. о 40-х годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах

---

[1]) Вера в силу просвещения и в благодетельную роль просвещенных капиталистов составляет главное отличие утопического социализма от современного нам научного социализма (К. Маркс, Ф. Энгельс), который считает, что освобождение трудящихся может быть только делом самих трудящихся. Этот социализм называется научным потому, что свои выводы он основывает на данных науки. Утопический социализм получил свое название от слова утопия. «Остров Утопия» — название фантастического романа английского писателя XVI века Томаса Мора, где он описывает счастливую братскую жизнь людей на чудесном острове Утопии. Греческое слово «утопия» означает «несуществующее место». С тех пор утопией стали называть фантастический план, неосуществимую мечту.

заключается нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь в известном смысле, даже определяло ее содержание. Я в то время только что оставил школьную скамью и инстинктивно прилепился к Франции, — разумеется не к Франции Луи Филиппа и Гизо [1]), а к Франции Сэн-Симона, Фурье, Луи-Блана, и в особенности, Жорж-Занд [2]). Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла нам уверенность, что золотой век находится не позади, а впереди нас... Словом сказать, всё доброе, все желанное и любвеобильное шло оттуда»...

Благородная натура Чернышевского, его живой ум не могли не отозваться на идеи апостолов утопического социализма. Он с жаром и с присущей ему основательностью принимается за изучение *Фурье,* произведения которого были особенно распространены среди передовой молодежи.

Сын богатого провинциального купца, Шарль Фурье должен был, по желанию отца, заняться торговлей. С шестилетнего возраста он исполнял обязанности приказчика в лавке отца. Однажды покупатель спросил маленького Шарля о качестве товара. Мальчик простодушно ответил, что товар никуда не годится. По уходе посетителя он получил от отца звонкую пощечину, которая впервые навела его на печальные размышления о том, что вокруг не все обстоит благополучно. Отвращение его к торговле, основанной на обмане, все росло. Созрев, мысль Шарля Фурье от гнилого товара перешла к гнилой морали и другим устоям буржуазного общества. Он начал заниматься общественными вопросами. В молодости Фурье вращался в коммерческих кругах. Он много путешествовал по поручению хозяев и наблюдал современную жизнь в разных странах, что чрез-

---

[1]) Гизо — министр французского буржуазного короля, Луи-Филиппа Орлеанского.

[2]) Жорж-Занд (1804—1876) — знаменитая французская писательница, пользовавшаяся огромным влиянием во всей Европе в 40—50-х годах. В романах Жорж-Занд идеи женской эмансипации, свободы любви, права на личное счастье переплетаются с социалистическими, несколько туманными, стремлениями, в духе утопического социализма.

вычайно обогатило его кругозор. Наконец, получив наследство по смерти отца, Фурье всецело отдался изучению социальных вопросов и литературы и создал стройную систему, которую изложил в своих книгах. Фурье израсходовал все свое состояние на издание своих сочинений и умер в нищете. Но и на смертном одре его не покидала гордая вера в огромное значение своей деятельности для счастья человечества. Незадолго до смерти он писал: «Я один заклеймил 20 веков политического безумства, и одному мне обязаны все настоящие и будущие поколения началом их бесконечного счастья... Обладатель книги судеб, я поспешил рассеять политические и нравственные потемки и на развалинах неверных знаний водрузить учение о всеоб'емлющей гармонии».

Во времена Фурье была очень распространена теория английского экономиста *Мальтуса*. Основные положения этой теории таковы. Население земного шара растет гораздо быстрее, чем средства существования. Население нашей планеты растет в геометрической прогрессии, т.-е. соответственно числам 1, 2, 4, 8, 16, 32 и т. д. Между тем, средства пропитания возрастают в арифметической прогрессии, т.-е. как числа 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т. д. Поэтому, на жизненном пиру не для всех уготовано место: много званых, но мало избранных. И поскольку в природе и человеческом обществе нет и не может быть гармонии, поскольку потребности человека превышают отпущенные ему природой средства пропитания, люди должны насильственно ограничить число рождений. Бедняк не имеет права плодить нищих. «Народ должен винить, главным образом, самого себя в своих собственных страданиях—писал Мальтус в своей книге «Опыт о принципе народонаселения».—Человек, пришедший в занятый уже мир, если он не имеет средств существования от своих родителей, и если общество не нуждается в его работе, не имеет ни малейшего права требовать себе пропитания. Он лишний на земле... На великом жизненном пиру ему нет места, и природа приглашает его удалиться»...

Отсюда ясно, что всякое явление, увеличивающее смертность и, стало быть, освобождающее известное число при-

боров на «великом жизненном пиру», надо приветствовать. С этой точки зрения война, голод, эпидемии, непосильный физический труд, жестокие законы являются как нельзя более желательными...

Теория Мальтуса пришлась весьма по вкусу богатым классам общества. Отныне они могли ссылаться на авторитет науки. Нищета и обездоленность трудящихся масс является результатом их чрезмерной плодовитости. Никакое законодательство, никакие социальные меры тут не помогут. Несчастья народа вытекают из незыблемых законов природы, установленных самим богом. Беднякам остается безропотно переносить свою долю, утешаясь тем, что «не в деньгах счастье», «и сквозь золото слезы льются», «с милым рай и в шалаше», и т. д. и т. д. в том же роде.

Фурье и другие социалисты-утописты—особенно Роберт Оуэн—обрушились на теорию Мальтуса со всей силой своего ума и красноречия.

Нет, говорил Фурье, дело не в законах природы, а в несовершенном устройстве общества. «Приборов» хватит на всех—надо только распределить их по справедливости. Беднякам не хватает необходимого, потому что паразиты и тунеядцы захватили львиную долю. Корень зла — *в неорганизованности труда,* при которой «бедность порождается самим избытком», т.-е. избыток для одних порождает нищету для других. Благодаря своей неорганизованности, труд в буржуазном обществе является проклятием. Между тем в будущем социалистическом строе он будет не ярмом, не проклятием, а наслаждением. «При новом строе люди будут жить свободно, как птицы небесные, беззаботно и весело, в сладостной гармонии проходить свой жизненный путь. Социализм любит жизнь и хочет возможно полнее наслаждаться ею».

Человек рожден с разнообразными страстями и потребностями. Их надо не подавлять, а направлять. Тогда общественная польза совпадает с индивидуальным счастьем. Социализм должен найти такую форму общежития, которая соединит высшую социальную гармонию с полным расцветом личности, всех ее стремлений и страстей. Такая форма общежития должна быть построена на чисто экономиче-

ской основе *ассоциации* производства и потребления, вполне отвечающей природе страстей человека. Подобный союз или ассоциацию Фурье называет *фалангой,* т.-е. тесно сомкнутым строем, а общежитие для членов фаланги — *фаланстером.* Фаланга представляет собой одновременно и производительную ассоциацию—трудовую артель—и потребительную—огромный кооператив. Фаланстеры—это прекрасные дворцы, где люди наслаждаются счастливой жизнью. Фаланстер окружен садами, полями и огородами; при нем находятся обширные мастерские, где, благодаря разумной организации труда, каждый работает по мере сил и способностей, в полном соответствии со своими наклонностями.

Идеи Фурье дали богатые всходы в душе молодого Чернышевского. Он становится горячим и убежденным сторонником великого французского утописта. Под его влиянием наш студент начинает мечтать о постройке perpetuum mobile — вечного двигателя, который облагодетельствует род человеческий. Он готов отдать жизнь за торжество своих идей. В мае 1848 года юный студент пишет в своем дневнике:

«Я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения нищеты и порока. Если бы только был уверен, что восторжествуют мои убеждения, то даже не пожалел бы, что не увижу дня торжества и царства их. И сладко будет умереть, а не горько»...

ГЛАВА VII

Материалистическая философия Фейербаха.—Влияние ее на Чернышевского.—Миросозерцание Чернышевского как синтез (слияние) утопического социализма Фурье и материализма Фейербаха.—Кружок петрашевцев.—Деятельность его.

При всем своем обаянии, учение Фурье не было воспринято без критики молодым Чернышевским. Последний совершенно не разделял надежд своего учителя на прекраснодушного миллионера, который придет и облагодетельствует мир. Положительный склад ума юного студента решительно протестовал против этих фантастических мечтаний. Вырабатывая свое миросозерцание, Чернышевский брал у великого французского утописта его беспощадную критику буржуазного строя, его глубокие, проникновенные мысли о будущем свободном обществе, его горячую веру в силу разума и могущество просвещения, его убеждение в конечном торжестве социалистического идеала. Но взгляды Фурье и других утопистов на роль просвещенных капиталистов в замене буржуазного строя социалистическим—были глубоко чужды Чернышевскому. Он искал других путей, которые могли бы больше удовлетворить его пытливый ум. В этих поисках ему помогло изучение немецкой философии, особенно *Людвига Фейербаха.*

Философия Фейербаха была *материалистической.* Материализмом называется философское направление, которое об'ясняет все существующее теми или иными свойствами *материи.* Противоположное ему направление *идеалистическое,* наоборот, считает основой всего существующего *дух.* До Фейербаха в Германии господствовала идеалистическая философия. Величайший ее представитель Гегель определял всю мировую историю, как «разумное, необходимое раз-

витие мирового духа». Таким образом, у Гегеля, как и у других идеалистов, «началом всех начал» является дух, материя же есть продукт духа. Напротив того, у Фейербаха, и у материалистов вообще, дух есть не что иное, как продукт материи. Материя, основа всего сущего, порождает весь мир духовных явлений. Духа независимо от материи не существует. Самые тонкие и сложные *духовные* явления вытекают из свойств высоко организованной *материи*. Всегда и всюду материя является первичным, основным, дух—производным. То же и в области человеческой истории. По Гегелю, вся история, вся материальная культура человечества есть последовательное, разумное развитие мирового духа, *мировой идеи*. По Фейербаху, наоборот, развитие идей определяется изменениями материальных условий существования человека. Мир идей человека, его *сознание* определяется и направляется условиями его материального *бытия*. Ученики и последователи Фейербаха выразили эту основную мысль материалистической философии в краткой формуле: *не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание*.

В сочинениях Фейербаха было рассыпано множество мыслей строго материалистического характера. «Человек есть то, что он ест».—«Во дворцах мыслят иначе, чем в хижинах».—«Если у тебя от голода и бедности нет питательных веществ в теле, то и в голове твоей, в твоих чувствах и в твоем сердце нет материала для нравственности».— «Люди только тогда люди, когда в их интересах быть людьми, или когда у них нет интереса быть не людьми. А там, где они могут быть людьми лишь в противоречии со своей пользой, они скорее становятся зверями». — «Только «голыши» — революционеры. Это естественно: с тяжелым денежным мешком на спине трудно прыгнуть высоко».

Наталкиваясь на эти блестящие и глубокие замечания, юный Чернышевский подолгу размышлял над ними. Если бытие определяет собой сознание, то не напрасны ли упования социалистов-утопистов на добродетельного миллионера. Его «бытие» подсказывает его «сознанию» убеждение в важности и необходимости капиталистического строя. Бытие же пролетария революционизирует его сознание. По-

этому, освобождение бедняков от цепей нищеты и эксплоатации не придет к ним свыше, от Мессии-миллионера. Оно явится результатом борьбы самих заинтересованных лиц, самих угнетенных и эксплоатируемых. Другими словами, освобождение трудящихся — дело рук самих трудящихся. Перед Чернышевским открывался путь *социальной революции,* которая создаст новое свободное общество. Главная движущая сила на пути к социальной революции—это просвещение. Просвещение трудящихся масс, просвещение всего общества — такова основная задача всякого сознательного социалиста. Когда все трудящиеся поймут преимущества социалистического строя, пробьет час социальной революции—без всякого содействия просвещенных и иных капиталистов, и даже—несмотря на их противодействие.

Так выковывал свое миросозерцание молодой Чернышевский, об'единяя в одно целое социалистические теории Фурье с материалистическими взглядами Фейербаха. Глубоко усвоив идеи обоих мыслителей, Чернышевский оставался верен им всю жизнь: мы увидим, как эти идеи проходили красной нитью через всю его последующую деятельность.

По привычке замыкаться в себя, молодой Чернышевский хранил свои мысли и чувства в глубине души и не искал сближения с людьми, переживающими родственные ему настроения. А такие люди среди окружавшей его молодежи были. Среди товарищей Чернышевского было немало фурьеристов. Они группировались, главным образом, вокруг даровитого вольнослушателя петербургского университета Михаила Васильевича *Петрашевского.*

С ранних лет познакомившись с учением Фурье, Петрашевский стал горячим и убежденным сторонником великого французского утописта и решил посвятить свою жизнь пропаганде его идей. В 1845 г. он занялся изданием «карманного словаря иностранных слов». Под этим скромным названием скрывалась от бдительного ока цензуры пропаганда «разрушительных идей». В «словаре» излагалось ученье Фурье, Оуэна и других утопистов, пропагандировалось уничтожение частной собственности, горячо облича-

лось крепостное рабство, высказывалось сочувствие федеративно-республиканскому политическому строю, отрицательное отношение к религии и т. д. С того же 1845 г. Петрашевский стал устраивать у себя по пятницам собрания, на которых читались произведения Фурье и велись вокруг них страстные споры. Здесь же нередко затрагивались и больные вопросы русской жизни, вырабатывались различные проекты крестьянской и судебной реформы, читалось знаменитое письмо Белинского к Гоголю, содержавшее ярый протест против крепостничества. В кружке Петрашевского принимали активное участие талантливые писатели, как Достоевский, Салтыков-Щедрин, поэт Плещеев; здесь выступали знатоки фурьеризма—студенты Ханыков, Данилевский и др. Чернышевский глубоко сочувствовал петрашевцам, но членом их кружка не был. Собрания фурьеристов происходили также в кружке Иринарха Введенского, где нередко бывал Чернышевский.

В течение трех лет, от 1845 по 1848 год, петрашевцы довольно успешно распространяли среди интеллигенции свои идеи, не только в столице, но и в провинции. Они уже думали приступить к печатанию своей литературы за границей. Но их планы скоро были разрушены правительством. С самого зарождения кружка Петрашевского, правительство косо посматривало на его деятельность. Особенно внимательное наблюдение за «пятницами» Петрашевского было установлено с 1848 года. Блюстители «самодержавия, православия и народности» опасались—и не без основания—заноса революционных идей с Запада на русскую почву.

ГЛАВА VIII

Революционное движение 1848 года в Европе. — Разгром петрашевцев. — Окончание университетского курса. — Возвращение на родину.

В 1848 году политическая атмосфера Западной Европы была заряжена электричеством. Революционные взрывы то и дело потрясали ее территорию. Роль застрельщика в этом движении сыграла *Франция*. В феврале 1848 года была свергнута буржуазная монархия Луи-Филиппа Орлеанского, и революционное временное правительство провозгласило республику. Февральская революция во Франции отдалась громовыми раскатами по всей Европе.

В марте вспыхивает революция в *Германии*. Франкфурт, Баден, Берлин покрываются баррикадами. На улицах происходят бои между правительственными войсками и гражданами. Всюду выставляются требования свержения монархии и созыва учредительного собрания для выработки конституции. Победа на стороне восставших.

В *Австрии* правительство падает с головокружительной быстротой. Законодатель Европы, знаменитый дипломат Меттерних вынужден бежать в Англию. Вена в руках восставшего населения. Будапешт во власти мадьярских революционеров, с Кошутом во главе; Прага в руках чехов.

В *Италии* бурное революционное движение, под предводительством национальных героев Мадзини, Гарибальди и Манина. Революционеры требуют свержения австрийского ига и провозглашения республики [1]).

---

[1]) Первая вспышка революции в Италии произошла в январе 1848 г., в Палермо. Но революционное движение широко разлилось по всей стране лишь после февральских событий в Париже.

Вся Европа превратилась в кипящий котел. События развиваются с лихорадочной быстротой [1]).

Чем больше развертывалась сверкающая нить событий «безумного года», тем подозрительнее и строже следила русская полиция за кружком Петрашевского. Правительство видело в нем главный очаг революционных идей в России... Над головами петрашевцев все более сгущались тучи. Наконец, грянула гроза.

В ночь с 22 на 23 апреля 1849 г. были арестованы наиболее видные члены кружка Петрашевского. Все арестованные были преданы военному суду. 21 человек приговорены к расстрелу. 22 декабря осужденные—в том числе и знамени-

---

[1]) Париж дал сигнал не только к началу великого революционного движения 1848 г., но и к его подавлению. Февральская республика, победившая, главным образом, героическими усилиями рабочих, так же обманула их надежды, как и революция 1789 года. Февральская революция об'единила большинство французского населения против господства финансового капитала, управлявшего при Орлеанской монархии. Верная своему лозунгу—«обогащайтесь», брошенному с высоты трона банкирам и крупным промышленникам, Орлеанская монархия восстановила против себя не только рабочих, но и широкие слои средней и мелкой буржуазии. Во временном правительстве были представители всех этих классов. Французские рабочие в то время были малосознательны и неорганизованы. Опьяненные своей победой на февральских баррикадах, рабочие выставили лозунг «социальной республики» и требовали от временного правительства «организации труда», «права на труд», «уничтожения эксплоатации человека человеком» — требования, неосуществимые в рамках буржуазного общества. Но скоро настало жестокое разочарование. Рабочие убедились, что Февральская революция, в которой руководящую роль играла буржуазия, вместо хлеба, дала им камень. Доведенные до отчаяния нуждой и безработицей, парижские рабочие в июне 1848 г. снова подняли знамя восстания. После 5-дневных кровавых боев на баррикадах, восстание их было подавлено с величайшей жестокостью. Рабочее движение на время было загнано в подполье.

Поражение парижского пролетариата в июне 1848 года послужило сигналом к общеевропейской реакции. Реакционные силы Европы, при ближайшем участии русского самодержца Николая I, об'единились против «красного призрака». Революционное движение 1848 — 1849 гг. закончилось восстановлением «старого порядка».

тый впоследствии русский писатель Ф. М. Достоевский — были приведены на Семеновскую площадь. Им об'явлен смертный приговор. Трое уже привязаны к столбам для расстрела... Но в последнюю минуту им об'является «царская милость»: смертная казнь заменена каторжными работами и арестантскими ротами на долгие сроки [1]).

---

[1]) Впоследствии Достоевский изобразил свои переживания в художественной форме, в одном из лучших своих романов «Идиот». Герой романа, князь Мышкин, говорит об этих переживаниях в третьем лице.

«Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование, и назначена другая степень наказания; но однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или, по крайней мере, четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет... Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенной ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек. Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белый длинный балахон), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало-быть, ему приходилось итти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: расчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так расчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый, и сильный. Прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он

Сам Петрашевский был осужден на бессрочную каторгу. Таков был конец «заговора идей», как метко названо было А. И. Герценом дело Петрашевского [1]).

Революционное движение 1848 года в Европе и разгром петрашевцев произвели сильнейшее впечатление на молодого Чернышевского. Эти переживания окончательно довершили перелом, давно назревавший в душе нашего студента. Он вынес из домашней обстановки немало семейных традиций и религиозных предрассудков. Еще в первый год студенчества Николай Гаврилович был религиозным; но под влиянием работы критической мысли, изучения лучших представителей западно-европейского социализма и философии, пережитки прошлого мало-по-малу растаяли как дым. Он мог сказать, подобно своему учителю Фейербаху: «Бог был моею первой мыслью, разум—второю, человек—третьей и последнею». Бог наивно верующего детства утратил всякую

будет думать; ему все хотелось представить себе, как можно скорее и ярче, что вот, как же это так: он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то — так кто же? Где же? Все это он думал в эти две минуты решить. Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченной крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей: ему казалось, что эти лучи — его новая природа, что он через три минуты как-нибудь сольется с ними.. Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорил, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: «Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял; каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!». Он говорил, что эта мысль у него, наконец, в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили»...

(Соч. Достоевского, т. 7-ой, СПБ 1904. Стр. 61—63).

[1]) Петрашевский умер в Сибири ссыльно-поселенцем в 1866 г., в то время, когда все его товарищи по делу были уже помилованы. До конца жизни он остался революционером и непримиримым протестантом против всякого произвола и насилия. А. И. Герцен, характеризуя Петрашевского, говорит, что его «можно без всякого преувеличения считать святым».

власть над Чернышевским. Теперь у него не было другого бога, кроме того, чей величавый образ вставал перед ним из слов Фейербаха: «Человек человеку—бог!»

К концу университетского курса старые взгляды отошли далеко в прошлое. На место их сложилась стройная система социалистических и материалистических убеждений. Политическим революциям Чернышевский, по примеру Фейербаха, не придавал большого значения. Кипевшая перед ним борьба классов и партий оценивалась им лишь с одной точки зрения: поскольку она приближала или отдаляла достижение конечной цели. Эта прекрасная цель—свободный социалистический строй, который так увлекательно рисовал Фурье в своих произведениях. Только такой строй даст возможность обездоленным массам пользоваться теми материальными благами, котрые прежде были доступны лишь немногим. А на материальной основе вырастет и колоссальная духовная культура. Только тогда, когда снимется с человека древнее проклятие: «в поте лица твоего ешь хлеб твой»,—человечество достигнет высшего умственного и нравственного расцвета.

Время шло своим чередом. В трудах и мечтах о будущей деятельности незаметно промелькнули 4 года. В 1850 году Чернышевский окончил курс в петербургском университете. Радостный, веселый, поспешил он на родину. Старики-родители приняли его с восторгом. Они едва дождались своего Николи. Он и сам был рад увидеться с ними. Но каким маленьким казался ему родной город, какой убогой представлялась ему саратовская жизнь после петербургской. Бродя по улицам Саратова, он мысленно повторял стихи местного сатирика:

Хорош Саратов — загляденье!
В'езжай в него и осмотрись:
На улицах, между строений,
Репьи кустами разрослись...

Уж если грязь, так грязь такая,
Что люди вязнут с головой,
Но, мать-природу обожая,
Знать не хотят о мостовой...

Есть и театр, он с виду страшен
И мохом древности оброс,
От сотворенья не был крашен,
И ветер ходит в нем насквозь...

В Саратове Чернышевский познакомился и сблизился с сосланным туда историком Н. И. Костомаровым и охотно беседовал с ним на разные темы. В Саратове так трудно было встретить образованного человека! Одно обстоятельство нарушало и портило их дружеские отношения: Костомаров был религиозен и с неудовольствием прислушивался к остроумным выпадам Чернышевского против религии. Так, однажды в обществе зашла речь о творческой премудрости: «Да, да, что и говорить,—заметил Чернышевский.— Кажись, и я распорядился бы умнее в устройстве мира. Вот, примерно, Алтайский хребет я кинул бы на берега Ледовитого океана. Тогда и северная, и средняя Азия были бы обитаемы: северная была бы теплее, не скована в своих льдах, а средняя холоднее—не потонула бы в своих песках» [1]).

Такое вольнодумство весьма неприятно действовало на Костомарова...

К концу 1850-го года в саратовской гимназии освободилось место старшего учителя русской словесности. Чернышевский занял эту должность и зимой 1851 года приступил к исполнению своих обязанностей.

[1]) В. Чешихин-Ветринский. «Н. Г. Чернышевский», Петроград, 1923 г. Стр. 86.

ГЛАВА IX

Чернышевский - учитель. Нравы саратовской гимназии 50-х годов.—Педагоги «доброго старого времени».—Классные и внеклассные занятия Чернышевского.—Отношения с учениками.—Значение деятельности Чернышевского в саратовской гимназии.

— Семенов! Опять, болван, не знаешь склонений! — раздался хриплый бас учителя русского языка Андреева, по прозвищу «Митька-сайга» [1]). Дело происходило в 3-м классе саратовской гимназии, в феврале 1851 года. В классе было душно и грязно. Выбеленные когда-то стены были испещрены всевозможными надписями нелестного для педагогов свойства. Рядом с изорванной географической картой на стене красовалась выведенная углем кривляющаяся рожа с надписью «Живодер». За низкими партами, исчерченными перочинным ножом и покрытыми чернильными кляксами, сидело десятка четыре мальчиков, в возрасте от 11 до 14 лет, в черных сюртучках с красными воротниками и белыми металлическими пуговицами, украшенными гербом Саратовской губернии.

Тучный педагог, с заспанными глазами и красным носом, струившимся табачной влагой, нетвердыми шагами перешел через класс и схватил за ухо бойкого мальчика, сидевшего на одной из задних парт. Затем он медленно повлек виновного на площадку впереди парт и поставил его на колени.

— В Сибири ездят на оленях, а ты стой на коленях, — поучительно заметил педагог, издавая при каждом слове запах винного перегара.

---

[1]) Намек на сходство с диким животным сайгак.

Среди учеников поднялось волнение. «Дмитрий Андреевич, прости-и-те!» — протяжно запел весь класс, на манер церковной песни «Исаия, ликуй!»

— Молчать, щенки! Падежей башкой не одолели: видно, порки захотели! — грозно прохрипел педагог.

В классе поднялся невообразимый шум. Одни свистали, другие мяукали, третьи швыряли в кафедру всевозможными предметами. Большой ком жеваной бумаги, смоченный чернилами, ловко пущенный с задней парты, пролетел через весь класс и шлепнулся на кафедру перед самым носом учителя. Но тот, казалось, ничего не замечал. Весь во власти своей мании, он то и дело вытаскивал за ухо то того, то другого малыша и ставил его на колени, не забывая напутствовать стихотворными прибаутками.

— Эй ты, Петров, не знаешь падеж именительный, ну, так выходи и будь почтительный!

— Иванов, осел, колени преклони, да собой таких же дураков не заслони!

Скоро вся площадка была заполнена коленопреклоненными учениками. Некоторые располагались на четвереньках или в лежачем положении. Шум все усиливался. Класс превратился в какой-то Бедлам [1]).

Входная дверь полуоткрылась, в ней показалась остренькая мордочка пуделя [2]) и тотчас же бесшумно скрылась.

В это время раздался звонок. Андреев, покачиваясь на ногах, направился к выходу из класса. В догонку ему неслось хоровое пение: «Выйди вон, выйди вон ты из класса кувырком!» Ученики, видимо, усвоили стихотворный метод учителя.

— Видел пуделя?—спросил, выходя из класса, бледный, высокий мальчик маленького стриженого гимназистика,

---

[1]) Бедлам — дом для умалишенных в Лондоне, название которого стало нарицательным для всех подобных заведений. Слово «Бедлам» — испорченное «Вифлеем», так как лондонский дом для душевно-больных когда-то был общежитием братства «господа нашего из Вифлеема».

[2]) Классные надзиратели, которым в старину поручался надзор за поведением учеников. Гимназисты называли их «пуделями».

своего закадычного друга. — Побежал докладывать живодеру, — будет теперь порка!

«Живодером» гимназисты прозвали инспектора Ангермана.

— Нужто, Вася? — спросил малыш, тревожно заглядывая в глаза приятелю.

— Обязательно будет, Павлуша. На прошлой неделе живодер сам высек Мишу Левитина. Позеленел весь от злости, сек до крови, да еще приговаривал: «Вот тебе белые воротнички, вот тебе белые воротнички!» Он встретил Мишу на улице одетым не по форме, в расстегнутом сюртуке, с выпущенным воротничком.

Павлуша весь дрожал, слушая рассказ своего приятеля. Его маленькое круглое личико беспомощно подергивалось, детские глаза наполнились слезами.

— Вася, я боюсь... Я не могу, если порка... Меня дома никогда не секут...

— Ничего, брат, потерпишь, — философски заметил Вася.—Не век нам терпеть, скоро живодеру будет такой же конец, как Левандовскому, что был до него.

— А что было с Левандовским? Расскажи!

— Этот был не лучше живодера. Раз как-то, в двенадцатом часу ночи, встретил он на улице семиклассника Моисеенко. Веселый был, бойкий парень. «Ты откуда?»— спрашивает инспектор. «Из театра». Тот ничего, посмотрел только ехидно. На утро зовет он Моисеенко к себе в кабинет. «Ты что это, мерзавец, шляться по театрам вздумал без разрешения начальства?» Да как треснет Моисеенко по лицу! Тот, не долго думая, закатил инспектору такую пощечину, что Левандовский не устоял на ногах, свалился. Еле водой отпоили. Полетели телеграммы к начальству. Через неделю от попечителя приказ: Моисеенко сослать рядовым на Кавказ, а Левандовскому строгий выговор и увольнение со службы.

— Живодера не выгонят, — со вздохом сказал Павлуша. — Очень уж ловко он подмазывается к попечителю.

— Да попечитель и сам недолго продержится. Дурак набитый. Слышал, какую штуку он отмочил в универси-

тете? Мне старший брат рассказывал. Входит он в одну залу университетскую, где шел ремонт. Рабочие как раз закрепляли крюк для лампы посреди потолка. Шахматов наш поглядел, поглядел, да и спрашивает: — А видно, знаток мастер, если сумел найти средину потолка? Ему говорят: это дело простое. Надо только протянуть из угла в угол диагонали. Где пересекутся, там и средина. Тот остолбенел от удивления.—А что такое диагонали?—спрашивает мастера. Вот тебе и попечитель. Это всякий третьеклассник знает!

— Ах, Вася, какие мы несчастные!—жалобно протянул Павлуша.—Хоть бы вырасти поскорей да перейти в пятый класс! Там по русскому языку Николай Гаврилович. У меня брат там, про него рассказывал. Не нахвалится! Уж такой умный, такой добрый! Ученики за ним следом ходят, в рот ему глядят. Никогда не было такого в гимназии...

— Поживем, увидим,—флегматически произнес Вася. — А пока пойдем, брат, повторять латинскую грамматику. Ты знаешь, Бауэру нужно все на зубок. Чуть не так—единица и на колени. У меня списано с доски, давай подзубрим!

Все имена мужей, рек, всякого народа,
Ветров и месяцев—суть мужеского рода,
Деревьев, жен и городов, равно земель и островов,
Суть женского из всех родов.
То ж, чего нельзя склонять —
Средним должно называть.

Как на *а*, равно на *ае*,
Женского суть рода все;
А на es или на as,
В мужеский все идут класс.

Маленький Павлуша, забыв свои горести, громко жужжал в перегонку с Васей, стараясь зазубрить латинскую премудрость.

Кто же этот Николай Гаврилович, кумир пятиклассников, о котором с таким восхищением говорил Павлуша? Это наш старый знакомый, Николай Гаврилович Чернышевский, который, окончив в 22 года петербургский университет кандидатом филологических наук, поступил учителем словесности в саратовскую гимназию.

Среди педагогов «доброго старого времени», подобных описанным выше, молодой Чернышевский был чем-то вроде белой вороны. Он выделялся не только глубиною своего образования, широтой и просвещенностью своих педагогических взглядов, но и благородством своего характера. Зубрежка была совершенно изгнана из уроков русского языка. О каких бы то ни было телесных наказаниях, разумеется, не было и речи. Кроме классных занятий, Чернышевским были введены внеклассные литературные беседы, на которые собирались ученики старших классов. Здесь читались их письменные работы; затем, под руководством учителя, обсуждались достоинства и недостатки данной работы, выяснялось значение писателя, о котором в ней шла речь, приемы его литературного творчества и т. п. Чернышевский старался не только давать знания своим ученикам, но и содействовать их умственному и нравственному развитию. Его уроки и беседы были настоящим праздником для мальчиков, выделялись освежающим оазисом на фоне сухой, мертвящей гимназической учебы, приправленной свистом педагогической лозы. Гуманность взглядов молодого учителя, мягкий, приятный голос, деликатность манер — все действовало на учеников самым благотворным образом. На уроках Чернышевского господствовала полнейшая тишина. Самые шаловливые и ленивые мальчики напрягали слух, чтобы не проронить ни слова. Уроки рассказывались с такой ясностью, что каждый мог повторить их, не прочитывая по книге.

Обаяние Чернышевского усиливалось необычайной простотой его обращения с учениками. Возвращаясь после классов домой, он был окружен целой толпой гимназистов, с которыми дружески беседовал, расспрашивал о семейных делах, шутил и смеялся, как равный, и на прощанье пожимал им руки. Летом, по вечерам, Чернышевский часто выходил на прогулку и, заметив, что в каком-нибудь дворе собрались гимназисты для игры, присоединялся к ним и принимал живое участие в их забавах. Мальчики обожали молодого учителя и питали к нему величайшее уважение.

Деятельность Чернышевского в саратовской гимназии

оставила глубокие следы. В памяти многих его питомцев она навсегда осталась светлой полосой их жизни. Вот как вспоминает о ней на склоне лет один из его воспитанников:

«Этот педагог был первой восходящей звездой в сумерках, царивших в педагогическом персонале саратовской гимназии. С его приездом началось веяние нового духа. Старики-педагоги, окостеневшие в невежественном понимании образовательного и воспитательного значения юношества, стали мало-по-малу замещаться достойною, знающею и образованной молодежью, вполне способной исполнять тяжелую миссию просвещать молодое поколение. Да, Чернышевский был истинным светочем, память о котором не изгладится у всех, знавших его по педагогическим и литературным трудам, и у всех тех, кто был счастлив знать его лично» [1]).

---

[1]) И. Воронов. «Воспоминания. Саратовская гимназия в 50-е годы». «Русская Старина». 1909. № 8.

ГЛАВА X

Знакомство с Ольгой Сократовной. — Любовь. — Сомнения и колебания. — Смерть матери. — Женитьба. — От'езд в Петербург.

«Где найти такую девушку? Такую чистую, такую благородную? Такую умную, такую красавицу?.. Она царствует над всеми, она душа всех и всего, все смотрят на нее, все хотят говорить с ней, все думают о ней...»

Так писал в своем дневнике молодой Чернышевский в ноябре 1852 года, вернувшись с семейной вечеринки у саратовского врача Сократа Евгеньевича Васильева. Эти восторженные похвалы относились к дочери Васильева, Ольге Сократовне, с которой недавно познакомился Чернышевский. Красота и грация молодой девушки, живость ее характера, ее ум и энергия очаровали Чернышевского с первой встречи. Чем больше знакомился он с Ольгой Сократовной, тем больше видел в ней воплощение идеала, который уже несколько лет носился перед ним в смутных грезах. Чистый, целомудренный, замкнутый в себе, скупой на излияния, молодой Чернышевский втайне мечтал об единой великой любви, которая озарит всю его жизнь.

«Я хочу любить только одну во всю жизнь... Я хочу, чтобы мое сердце не принадлежало никому, кроме той, которая будет моей женой»,—писал он в своем дневнике. И вот перед ним любовь, в образе прекрасной девушки. «Я не могу вообразить себе ничего лучше, выше ее», — с восхищением пишет он. Ольга Сократовна видимо питает к нему склонность. Казалось бы — протяни руку и возьми счастье!

Но привычка к размышлению и анализу своих душев-

ных движений и поступков вступает в свои права. На сцену являются сомнения, колебания. Да полно, любит ли его Ольга Сократовна? Может быть, она только хватается за него, как утопающий за соломинку, чтобы избавиться от гнетущей семейной обстановки. Ведь положение ее в семье очень тяжелое: мать за что-то не взлюбила Ольгу Сократовну и притесняет ее на каждом шагу. Нет! Тут не одно стремление уйти из дому, тут и сердечная склонность: об этом говорит приветливый взгляд и ласковая улыбка любимой девушки...

Но вправе ли он жениться? При его социалистических убеждениях, при его твердой решимости посвятить свою жизнь делу освобождения народа, его рано или поздно ждет арест, может быть, жестокая расправа... Что будет тогда с Ольгой Сократовной? Не придется ли ей горько пожалеть о том, что связала свою судьбу с судьбой обреченного? И молодой Чернышевский, затаив глубокую душевную боль, заявляет своей невесте:

«Я не могу жениться уже по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться».

Тяжело Чернышевскому говорить таким языком со своей невестой. Но счастье любимой женщины для него дороже всего. У него является еще одно мучительное сомнение. «Будешь ли ты счастлива со мною? Что я буду счастлив с тобою, об этом нечего и толковать, как нечего толковать о том, что днем на небе бывает солнышко». Но что я могу дать ей? Что, если придет другой, более достойный? Что, если в ее жизни явится серьезная страсть? И удивительный жених принимает на этот случай свое решение. «Я буду счастлив твоим счастьем, хотя бы и с другим... Даже покинутый тобой, я буду рад за тебя, если предметом

этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением»...

К счастью, в такой жертве нет надобности. Глубокая, самоотверженная любовь Чернышевского нашла отклик в сердце Ольги Сократовны. Она отдает ему свою руку. Родители из'являют согласие. Дневник нашего юного ученого искрится молодым счастьем, звучит восторженным гимном в честь любимой.

«О милая моя, о самое светлое, самое благословенное явление моей жизни! Да будешь ты счастлива, давшая мне столько счастья! Я не знаю равной тебе... Да будет у меня одно счастье в жизни — счастье тем, что ты счастлива!.. О моя милая невеста... Источник моего счастья! Ты будешь правительницей нашей жизни, и моя жизнь будет счастлива, потому что будет посвящена тебе!

Как весна, хороша
Ты, невеста моя! [1])

«И да будет вся жизнь твоя светлым днем весны!..»

Как ни горит любовью молодой Чернышевский, он не растворяется целиком в этом чувстве. Благородный юноша остается верен себе. Мечты о личном счастьи сливаются у него с мечтами о счастьи человечества. Описывая в дневнике свое восторженное состояние после решительного об'яснения с невестой, он говорит о нем:

«Это восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей — спокойный, сильный, никогда не ослабевающий восторг. Это не блеск молнии, это равно не волнующее сияние солнца. Это не знойный июльский день в Саратове, это вечная сладостная весна Хиоса» [2]).

Будущая жизнь с женой представляется Чернышевскому полной разумного труда. В марте 1853 года он пишет в своем дневнике:

---

[1]) Из Кольцова.

[2]) Один из островов Архипелага (Эгейского моря), с чрезвычайно мягким, теплым климатом.

«Сколько я буду работать для своих ученых целей? Часа три в день, не более, потому что я теперь никогда почти не работаю по стольку, и все-таки у меня столько познаний, как у немногих. А писать для получения денег? Может быть, более 3-х часов в день... Я буду ее учителем, я буду излагать ей свои понятия, я буду преподавать ей энциклопедию цивилизации... Мы будем, наконец, вместе читать. Я сам для этого преподавания повторю многое, приобрету познания во многом, чего теперь не знаю. Так мы будем учиться вместе...»

В апреле 1853 г. Чернышевского постиг тяжелый удар: он схоронил свою любимую мать. Через 2 недели после этого он подал в гимназию прошение об отставке. Затхлая атмосфера провинциального города не удовлетворяла молодого ученого. Чувствуя в себе огромный запас умственных сил, сознавая, что «большому кораблю большое и плавание», Чернышевский решил переехать в Петербург. 29 апреля 1853 г. он обвенчался с Ольгой Сократовной и вскоре затем, в начале мая, тепло простившись со стариком-отцом, двинулся с молодой женой в столицу. Перед Чернышевским открылось новое широкое поле деятельности.

ГЛАВА XI

Диссертация «Эстетические отношения искусства к действительности». — «Разрушение эстетики». — Материалистический взгляд на искусство. — «Прекрасное есть жизнь». — Спор о «чистом искусстве». — Задачи искусства по Чернышевскому. — Впечатление от диссертации. — Диссертация Чернышевского, как литературный манифест разночинцев.

В Петербурге Чернышевский был назначен преподавателем словесности во 2-ом кадетском корпусе. Однако, здесь он пробыл не более года. Военная дисциплина пришлась ему не по плечу. Однажды, когда дежурный офицер хотел войти в его класс для водворения порядка, Чернышевский не позволил ему войти. Офицер оскорбился и потребовал извинения, Чернышевский наотрез отказался и подал в отставку.

С выходом из корпуса, Николай Гаврилович закончил свою педагогическую деятельность и всецело отдался литературной работе, к которой его давно влекло призвание. Он начал сотрудничать в журнале «Отечественные Записки», помещая там критические статьи и переводы, и в то же время готовил большую научную работу. Это была его диссертация [1]) на степень магистра словесности, вышедшая в 1855 году под названием «Эстетические отношения искусства к действительности». Молодой ученый писал свою диссертацию с величайшим увлечением, прямо набело. В письме к отцу от 3 мая 1855 г. он отмечает:

[1]) Научная работа, представляемая в высшее учебное заведение для получения какой-либо ученой степени: доктора, магистра и т. д.

«Во внешнем отношении моя диссертация имеет ту особенность, что в ней нет *ни одной цитаты,* наперекор общей замашке шарлатанить этой дешевой ученостью. К числу особенностей принадлежит и то, что она написана мною прямо набело — случай едва ли бывавший с кем-нибудь».

Диссертация молодого Чернышевского сыграла громадную роль в истории развития русской общественной мысли. Поэтому мы остановимся на ней несколько подробнее.

Вряд ли какое-нибудь литературное произведение в России, до появления работы нашего молодого ученого было предметом стольких страстных споров, ожесточенных нападок и восторженных похвал.

За автором надолго укрепилась репутация «разрушителя эстетики». Эту славу распространяли о нем и враги и друзья. Впоследствии, талантливый писатель 60-х годов и горячий поклонник Чернышевского, Д. И. Писарев уверял, что Николай Гаврилович «взялся за свою диссертацию с коварной целью погубить эстетику, разбить всю ее на мелкие кусочки, потом все эти кусочки превратить в порошок и развеять этот порошок на все 4 стороны». В глазах Писарева это было большой заслугой, так как он считал занятие эстетикой, и вообще искусством, совершенно бесполезной тратой времени и видел все спасение России в развитии естественных наук. С другой стороны, известный поэт Алексей Николаевич Толстой писал своему другу, поэту Полонскому:

«Искусство не умрет и не может умереть, как бы там ни старались разные Чернышевские и Писаревы... Убить искусство так же легко, как отнять дыхание у человека под тем предлогом, что оно роскошь и отнимает время даром, не вертит мельничных колес и не раздувает мехов».

И Писарев, и Толстой неправильно поняли Чернышевского: они напрасно приписывали ему злокозненные разрушительные замыслы против эстетики. Чернышевский не хотел разрушать эстетику, он хотел лишь поставить ее на новую *материалистическую* основу, следуя заветам своего учителя, великого немецкого философа Фейербаха. Диссер-

тация Чернышевского была первым опытом применения фейербаховского материализма к области искусства. Чернышевский явился в ней застрельщиком литературной молодежи, выступившей с проповедью *материализма*. В этом состояло революционное значение его диссертации. Материалистическое учение призывало спуститься с туманных высот идеалистической философии на землю, оно звало устроить земную жизнь, познать ее радости. Область искусства есть область прекрасного,—говорили идеалисты. Нет,— отвечали материалисты устами Чернышевского, — область искусства гораздо шире. Искусство воспроизводит всю *жизнь*, все, что есть интересного для человека в жизни. Искусство черпает свой смысл, свое содержание в самой жизни. Жизнь выше искусства, как действительность выше мечты. Суть своей диссертации Чернышевский выразил сам в ее заключительных словах: «Апология [1]) действительности сравнительно с фантазией, стремление доказать, что произведения искусства решительно не могут выдержать сравнения с живой действительностью, — вот сущность этого рассуждения».

Нам уже ясно, что Чернышевский и не думал «разрушать эстетику»: раз область искусства—все, что интересует человека в жизни, то совершенно очевидно, что искусство не перестанет существовать до тех пор, пока жизнь будет интересовать человека. А, стало быть, «погубить» эстетику, т.-е. теорию искусства, совершенно невозможно.

— Что такое прекрасное? — спрашивает Чернышевский. — На этот вопрос он отвечает так:

«Прекрасное есть жизнь». Свою мысль он поясняет следующим образом:

«Ощущение, производимое в человеке прекрасным,— это светлая радость, похожая на ту, которою наполняет нас присутствие милого для нас существа. Самое общее из того, что мило человеку, и самое милое ему на свете — *жизнь*; ближайшим образом, такая жизнь, какую хотелось бы ему вести, какую любит он; потом и всякая жизнь, потому что

---

[1]) Защита, оправдание.



все-таки лучше жить, чем не жить, все живое уже по самой природе своей ужасается погибели, небытия и любит жизнь. И кажется, что определение: «прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором мы видим жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам жизнь», — кажется, что это определение удовлетворительно об'ясняет все случаи, возбуждающие в нас чувство прекрасного».

Итак, «прекрасное есть жизнь, какова она должна быть по нашим понятиям». Но наши понятия о «хорошей жизни» различны, в зависимости от того, к какой общественной группе мы принадлежим. Соответственно этому меняются и понятия о красоте. Понятие о красоте не носит неизменного, *абсолютного* характера, как утверждают идеалисты. Оно также относительно и изменчиво, как и другие человеческие понятия. Материалистическое учение, устами Чернышевского, вскрывает *социальную подоплеку* этого понятия. Мы приведем целиком это замечательное место из диссертации Чернышевского.

«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе и спать вдоволь. Но вместе с тем у крестьянина с понятием «жизнь» всегда соединяется понятие о работе: жить без работы нельзя, да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве, при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого крестьянина или деревенской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты, по простонародным понятиям. Работая много и будучи поэтому крепка сложением, крестьянская девушка при сытной пище будет довольно плотна — это также необходимое условие красоты по деревенским понятиям: светская «полувоздушная» красавица кажется крестьянину решительно невзрачной и даже производит на него неприятное впечатление, потому что он привык считать худобу результатом болезненности или «горькой доли». Но работа не дает разжиреть: если сельская девушка толста, это род болезненно-

сти, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У деревенской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает—и действительно, в народных песнях не упоминается об этих принадлежностях красоты. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, обычного следствия жизни в довольстве при постоянной и нешуточной, но не чрезмерной работе.

«Совершенно другое дело светская красавица. Уже несколько поколений предки ее жили без физического труда. При бездейственном образе жизни, крови приливает к конечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше. Необходимым следствием всего этого являются маленькие ручки и ножки: они — признак такой жизни, которая одна только и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физического труда. Если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она происходит не из старинного рода. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, «интересная» болезнь, и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражена от всеобщего ослабления организма; неизбежное следствие всего того — продолжительные головные боли и различные нервные расстройства. Но ничего не поделаешь: раз болезнь является результатом того образа жизни, который кажется для данной социальной группы идеальным, то она представляется интересной и чуть ли не завидной. Правда, здоровье никогда не может потерять цены в глазах человека, так как и в довольстве, и в роскоши без здоровья приходится плохо; поэтому румянец на щеках и цветущая свежесть не перестают быть привлекательными и для светских людей. Но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в их глазах достоинство красоты, коль скоро они представляются резуль-

татом роскошно-бездейственного образа жизни. Кроме того, бледность, томность и болезненность для светских людей имеют еще и другое значение: если трудящийся человек ищет отдыха, спокойствия, то люди высших классов, не знающие материальной нужды и физической усталости, но зато часто скучающие от безделия и отсутствия материальных забот ищут «сильных ощущений», волнений, страстей, которые придают разнообразие и увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей, — человек скоро изнашивается; как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила!»

Таким образом, различные классы, различные общественные группы вкладывают в понятие о красоте свое собственное социальное содержание. В эстетике, как и в других областях, не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. С разных точек зрения, с разными мерилами, можно подходить также к более широкому понятию—искусство. Здесь Чернышевский высказывает свое отношение к спору между сторонниками и противниками так называемого «чистого искусства». Первые пишут на своем знамени: «искусство для искусства». Искусство должно быть свободно от каких бы то ни было целей, лишено общественного содержания; ему нет никакого дела до злобы дня. Наиболее яркое выражение этого взгляда дал Пушкин в своем известном стихотворении «Поэт и чернь».

Не для житейского волненья,
Не для корысти, не для битв,
Мы рождены для вдохновенья,
Для звуков сладких и молитв...

Противники «чистого искусства», наоборот, с жаром утверждали, что искусство не должно быть оторвано от живой жизни, что оно должно отражать борьбу общественных интересов, должно ставить себе те или иные общественные задачи. Это направление требовало от поэта, художника, прежде всего — гражданских чувств.

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан,

возвещало оно впоследствии устами известного поэта Н. А. Некрасова. В поэзии того же Некрасова оно обрушивается горьким упреком на сторонников «чистого искусства».

Грешно в годину горя
Красу небес, цветов и моря
И ласку милой воспевать...

В этом споре Чернышевский решительно становится на сторону противников «чистого искусства».

«Искусство для искусства», — говорит наш материалист, — мысль такая же странная в наше время, как «богатство для богатства», «наука для науки». Все человеческие дела должны быть на пользу человеку, если не хотят быть пустыми и праздными занятиями».

Здесь молодой ученый идет по стопам великого русского критика и мыслителя В. Г. Белинского, который еще в 40-х годах доказывал, что «чистого, абсолютного искусства никогда и нигде не было».

«Поэт прежде всего человек, член своего общества, сын своего времени», — писал Белинский. Ту же мысль подробно развивал Чернышевский в своей диссертации. Он доказывал, что поэт, как член общества, в своей литературной деятельности является выразителем интересов той или иной общественной группы. «Литература не *может не быть* сторонницей того или другого направления идей», — говорит Чернышевский. — «А разглагольствования о чистом искусстве всегда служили только прикрытием для борьбы против не понравившихся этим людям направлений литературы, с целью сделать ее служительницей другого направления, которое более приходилось им по вкусу».

Им не надобно звона гуслярного,
Подавай им товара базарного!

с негодованием писал впоследствии уже упомянутый нами Алексей Толстой, по адресу противников «чистого искусства».

С точки зрения Чернышевского, «звон гуслярный» защитников «чистого искусства» нередко имел целью заглушить шум от вторжения в литературу мужика и городской бедноты, которые были в их глазах «товаром базарным».

Если «чистого искусства» не существует, если искусство всегда преследует определенные цели, то какова цель искусства? Ответ на этот вопрос Чернышевский дает в следующих словах:

«Существенное значение искусства — *воспроизведение* всего, что интересно для человека в *жизни;* очень часто, особенно в произведениях поэзии, выступает также на первый план *об'яснение жизни,* приговор о явлениях ее».

В другом месте диссертации та же мысль выражается иначе: «Искусство должно быть *учебником жизни*». Быть учебником жизни, об'яснять жизнь, значит содействовать умственному развитию общества. Это должно быть главной целью искусства, литературы, науки. Высказывая такой взгляд, Чернышевский являлся истинным *просветителем*. Так рассуждали передовые люди всех стран в так называемые «эпохи просвещения». Необходимо просветить людей, искоренить их предрассудки, и тогда они построят жизнь согласно требованиям разума, — писали великие французские просветители — Вольтэр, Дидро, Гольбах, Гельвеций и др. во вторую половину XVIII века. Так же рассуждали немецкие просветители—Берне, Гейне и др. в первую половину XIX века. Русское общество, всегда отстававшее от западных соседей, переживало этот период значительно позже. «Эпоха просвещения» в России совпала со второй половиной 50-х годов и первой—60-х годов. Диссертация Чернышевского была первой ласточкой этого весеннего расцвета русской общественной мысли, рвавшейся на простор из душного каземата николаевского режима. За первой ласточкой последовали и другие. Но об этом после.

Итак, своей проповедью материалистических взглядов Чернышевский стремился к просвещению общества. В своей диссертации он говорит об искусстве, что, содействуя распространению образованности, оно приносит сперва умственную, а затем и материальную пользу людям. Это также

типичный взгляд просветителя. Враги материалистического учения нередко приписывают материалистам своекорыстие, склонность к низменным наслаждениям и вообще тяготение к «грубой материи»: материалист якобы вечно «норовит в карман», он только и заботится об интересах желудка. Мы видели, как неправильно это вульгарное толкование материализма. «Сперва умственная польза, а потом уже, как результат ее, выгода материальная», так рассуждали французские материалисты XVIII столетия, так писал и Чернышевский.

Диссертация Чернышевского произвела огромное впечатление в литературных кругах. Публичная защита ее в петербургском университете 10 мая 1855 г. прошла при переполненном зале. Учащаяся молодежь горячо приветствовала молодого ученого, который защищал свои взгляды с обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. Один из современников, выдающийся публицист 60-х годов Н. В. Шелгунов, через 30 лет писал о диссертации в своих «воспоминаниях»:

«Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям, и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они являлись 30 лет назад. Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство» [1]).

Диссертация Чернышевского привела в восторг русское передовое общество. Совершенно иначе отнеслись к ней официальные сферы. После публичного диспута, на котором Чернышевский одержал блестящую победу, профессор Плетнев обратился к нему с замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не то!» Диссертация не была утверждена министром народного просвещения, и Чернышевский не получил звания магистра.

Резко-враждебное отношение к выступлению Чернышевского со стороны правительственных кругов было вполне

---

1) Н. В. Шелгунов. Сочинения. Изд. Поповой. СПБ. Том III, стр. 687.

понятно. Плетнев был прав: он читал на своих лекциях «совсем не то». Работа молодого автора произвела впечатление взорвавшейся бомбы. Это был манифест новой общественной группы *разночинной интеллигенции,* впервые выступавшей на историческую сцену [1]). Под сдержанной академической формой, в каждой строке работы Чернышевского бурлит жажда жизни и борьбы. «Жизнь прекрасна, мы тоже имеем право на жизнь и земное счастье,—провозглашали разночинцы устами Чернышевского.—Долой устарелое миросозерцание, долой обветшавшую мораль, служившую, под покровом идеализма, интересам барской культуры! Мы, вышедшие из низов семинаристы и мещане, тоже хотим жить!» Высоко поднимая знамя материализма, молодой Чернышевский был революционером мысли и выразителем лучших надежд нового поколения.

---

[1]) Разночинцами назывались лица недворянского происхождения, в большинстве случаев выходцы из мелкой буржуазии, как-то: дети попов и дьяконов, ремесленники, мещане, мелкие торговцы и чиновники и т. под. Впервые этот новый общественный слой выступил в деле Петрашевского, где, согласно официальному донесению, среди арестованных преобладали «некончившие курс студенты, мелкие художники, купцы, мещане, даже лавочники, торгующие табаком».

ГЛАВА XII

Петербургская жизнь Чернышевского в период 1853—1857 гг.—Первые годы сотрудничества в «Современнике».— Литературно-критические статьи. — «Очерки гоголевского периода русской литературы». — Статьи о Пушкине и о Л. Толстом.—«Лессинг и его время».

Несмотря на блестящую защиту диссертации, Чернышевский не получил степени магистра. Этому воспротивился министр народного просвещения Норов, которому пришлись не по вкусу «кощунственные» мысли молодого автора. Зато замечательная работа Чернышевского доставила начинающему писателю широкую известность в передовых кругах русского общества. Вскоре он был приглашен в качестве сотрудника в лучший журнал того времени «Современник». Этот журнал, основанный еще А. С. Пушкиным, издавался поэтом Н. А. Некрасовым. Некрасов обладал тонким литературным чутьем. Быстро распознав, что в лице молодого писателя он имеет дело с огромным талантом, Некрасов, не колеблясь, передал в руки Чернышевского весь критический и политический отдел журнала. Новый сотрудник скоро становится душою «Современника».

То была эпоха расцвета русской журналистики. При полном отсутствии гласности, при невозможности политической борьбы, при отсутствии широкого общественного движения в николаевское царствование, журналистика была единственной отдушиной, через которую проникали в общество передовые идеи. Печатное *слово* было большим общественным *делом*. У Чернышевского были все данные, чтобы занять первое место в рядах деятелей русской передовой печати. Вооруженный огромными разносторонними знаниями, блестящим талантом и благородными стремлениями,



Чернышевский, как отважный пловец, ринулся в море журналистики. Он весь отдается журнальной работе, в которой находит полное удовлетворение. С 1855 года личная жизнь Чернышевского тесно переплетается с историей «Современника». Его горе и радости, его удачи и неудачи неразрывно связаны с успехами и злоключениями его любимого детища и «властителя дум»—«Современника».

Но у нашего молодого писателя есть еще и «властительница дум», привезенная им из родного Саратова. Молодая чета поселилась в небольшой квартирке. Ольга Сократовна сама ведет несложное хозяйство. Впрочем, правильнее сказать, что несложное хозяйство идет само собою: у Ольги Сократовны весьма мало хозяйственных наклонностей. Для этого она слишком молода и хороша собою. Она любит танцы, веселье, общество. У Чернышевских часто бывает Саша Пыпин—теперь студент петербургского университета. «Сашенька» однолеток Ольги Сократовны. Но он не любит принимать участие в ее развлечениях. Это серьезный юноша и такой же книгоед, как Николай Гаврилович. Всему на свете он предпочитает книгу и беседу с «Николей». Саша скоро кончает курс. Он уже пробует силы в литературе и мечтает о большой работе в «Современнике», рука об руку с Николаем Гавриловичем.

По субботам у Ольги Сократовны собирается молодежь. Скромная квартирка наполняется веселым смехом, музыкой, звуками танцев. Ольга Сократовна—царица бала. Все восхищаются ее красотой, все отдают дань ее уму, грации, светским талантам. В хоре восторженных поклонников и старый приятель Николая Гавриловича по университету, поэт Михайлов, снова появившийся в Петербурге и ставший сотрудником «Современника». Он воспевает красоту Ольги Сократовны в звучных стихах:

У нее, как у гитаны [1]),
Взор как молния, блестит,
Как у резвой польской панны,
Голос ласково звучит;

[1]) Испанская цыганка.

Как у юноши от раны,
Томен цвет ее ланит...
Есть возможность не влюбиться
В красоту ее очей,
Есть возможность не смутиться
От приветливых речей—
Но других любить решиться,
Нет возможности при ней...

Николай Гаврилович сидит в своем кабинете за рабочим столом. Лампа под зеленым абажуром освещает кипы бумаг и книг и склоненное над ним бледное лицо с тонкими чертами и рыжеватыми, волнистыми волосами. Чернышевский лихорадочно работает. Мысль его кипит, перо быстро бегает по бумаге. До него доносится веселый шум из маленькой гостиной Ольги Сократовны; но шум не мешает ему работать. Он пишет всю ночь напролет, под звуки мазурки и вальса. Лишь изредка, когда раскатистым эхом пронесется громкий взрыв хохота или аплодисментов, его перо останавливается. Он на минуту прислушивается, и счастливая улыбка озаряет усталое лицо. «Веселись и радуйся, любимая, будь счастлива, ты, давшая мне столько счастья!» Как хороша и полна жизнь! Любимая женщина, любимая работа наполняют ее до краев, сливаются в одно ощущение тихой, безмятежной радости...

С жаром отдаваясь работе в «Современнике», Чернышевский чутко прислушивался к запросам читающей публики. Как истый «просветитель», он всегда писал о том, что особенно волновало и интересовало общество. В то время в русском обществе литературные интересы преобладали над политическими. В период от 1854—56 гг. Николай Гаврилович поместил в «Современнике» целый ряд блестящих статей о Гоголе, Пушкине, Льве Толстом, Щедрине и других выдающихся русских писателях, а также большую статью «Лессинг и его время», посвященную литературной деятельности знаменитого немецкого писателя Лессинга. Наиболее замечательной из этих критических работ, несомненно, является ряд статей, напечатанных под общим заглавием «Очерки гоголевского периода русской литературы».

В первой же статье Чернышевский возводит на небывалую высоту значение литературы вообще и особенно деятельности Гоголя для России.

«Как ни высоко ценим мы значение литературы, но все еще не ценим его достаточно: она неизмеримо важнее почти всего, что ставится выше ее. Байрон в истории человечества лицо едва ли не более важное, нежели Наполеон, а влияние Байрона на развитие человечества еще далеко не так велико, как влияние многих других писателей, и давно уже не было в мире писателя, который был бы так важен для своего народа, как Гоголь для России».

Чернышевский так высоко ценил Гоголя не только потому, что последний был творцом русской прозы, но особенно потому, что Гоголь был писателем-гражданином, обличавшим старые крепостнические порядки и тем будившим самосознание русского общества. Беспощадно бичуя все пошлое и низкое, пригвождая к позорному столбу старую приказно-помещичью Русь, Гоголь тем самым проповедовал любовь к социальной правде и истинно-человеческие отношения. Гоголь был подлинным учителем жизни. Он имел столько же страстных почитателей, как и ярых врагов. И это вполне естественно. «Кто гладит по шерсти всех и все, тот кроме себя не любит никого и ничего; кем довольны все, тот не делает ничего доброго, потому что *добро невозможно без оскорбления зла*. Кого никто не ненавидит, тому никто ничем не обязан!»

Мы видим, что Чернышевский отдавал должное Гоголю. Однако, главным героем его «Очерков» является не Гоголь, а знаменитый критик 40-х годов Белинский. Основной задачей работы Чернышевского было восстановить исчезавшую память о Белинском, который после 1848 года считался запрещенным писателем. Цензура не разрешала даже называть его имя: в первых 4-х главах Чернышевский осторожно говорит о «критике гоголевского периода», предоставляя читателю догадываться, о ком идет речь, и только в 5-ой главе прямо называет Белинского. Фигура «неистового Виссариона», как называли Белинского друзья, живо встает перед читателями при чтении «Очерков». В общем Черны-

шевский дает яркую картину умственного движения 40-х годов и показывает, что лучшим идейным выразителем его и борцом во имя общественных идеалов был Белинский. «Очерки» выясняют также значение Белинского, как отца «реалистической» критики, т.-е. такой критики, которая разбирает не только самое литературное произведение, но и те общественные явления, которые так или иначе в нем отражаются.

В статьях о Пушкине Чернышевский превозносит великого поэта за то, что последний способствовал распространению образования в самых широких кругах общества. Другую заслугу поэта Чернышевский видит в том, что Пушкин первый внедрил в сознание общества огромное образовательное и воспитательное значение поэзии. До него не только читающая публика, но и сами поэты смотрели на поэзию, как на предмет забавы, развлечения.

Поэзия всем нам любезна,
Приятна, сладостна, полезна,
Как летом вкусный лимонад,

писал знаменитый поэт времен Екатерины II — Державин.

Пушкин первый возвел поэзию на подобающее ей высокое место. Свою статью о Пушкине Чернышевский заканчивает восторженным призывом:

«Будем же читать и перечитывать творения великого поэта, и с признательностью думая о значении их для русской образованности, повторять вслед за ним: «Да здравствуют Музы, да здравствует Разум!» И да будет бессмертна память людей, служивших Музам и Разуму, как служил Пушкин!»

Нужны ли еще доказательства, как неправы были критики, впоследствии об'явившие Чернышевского гонителем поэзии и «разрушителем эстетики».

Чернышевский обладал тонким критическим чутьем. Как велика была его проницательность, лучше всего видно из позднейшего его отзыва о Льве Толстом, тогда еще начинающем писателе, выступившем в 1855 — 56 г. с рядом «Военных рассказов» и большой повестью «Детство и отро-

чество». Отмечая в молодом писателе две черты — знание человеческого сердца и силу нравственного чувства, Чернышевский заключает свою статью о Толстом пророческими словами:

«Этот талант принадлежит человеку молодому, со свежими жизненными силами, имеющему перед собой еще долгий путь... Многое новое встретится ему на этом пути, много новых чувств будет еще волновать его грудь, многими новыми вопросами займется его мысль, — какая прекрасная надежда для нашей литературы, какие богатые, новые материалы жизнь даст его поэзии. Мы предсказываем, что все, данное доныне графом Толстым нашей литературе, только залоги того, что совершит он впоследствии, но как богаты и прекрасны эти залоги!»

После «Очерков гоголевского периода» самой значительной из литературно-критических работ Чернышевского был большой труд «Лессинг, его время, жизнь и деятельность». Здесь Чернышевский давал очерк жизни и литературной деятельности знаменитого немецкого писателя XVIII века Эфраима Лессинга. То был истый просветитель, в лучшем смысле этого слова. В своих многочисленных, прекрасных по форме и богатых по содержанию статьях и драмах, он неизменно стремился способствовать умственному развитию своего народа, воспитывать в нем общественные идеалы. Лучшая из драм Лессинга, «Натан Мудрый», была поэтической проповедью широкой гуманности и веротерпимости. Лессинг был особенно дорог и близок Чернышевскому, как родственная натура. В отзывах Чернышевского о Лессинге мы читаем отголосок его собственных переживаний. Слова нашего автора о немецком просветителе раскрывают нам побудительные мотивы его собственной деятельности. Почему Чернышевский, так щедро одаренный для научной работы, еще на студенческой скамье мечтавший об ученой карьере, отказался от этой мечты для журнальной работы? Об'яснение этому мы читаем в следующих его строках о Лессинге:

«К каким бы отраслям умственной деятельности ни влекли его собственные наклонности, но говорил и писал он

только о том, к чему была устремлена или готова была устремиться умственная жизнь его народа. Все, что не могло иметь современного значения для народа, как бы ни было интересно для него самого, не было предметом ни сочинений, ни разговоров его... Для натур, подобных Лессингу, существует служение более милое, чем служение любимой науке, — это служение развитию своего народа...»

Наш молодой автор сам был натурой, подобной Лессингу. Вот почему для него ничего не было милее, чем служение развитию своего родного народа.

ГЛАВА XIII

Знакомство и сближение с Добролюбовым. — Внутренняя политика Николая I. — «Самодержавие, православие, народность». — Начало разложения николаевской системы. — Крымская кампания и военные неудачи. — Смерть Николая I. — Севастопольский разгром. — Пробуждение общества. —Начало «эпохи великих реформ».

В июне 1856 года в редакцию «Современника» явился юноша лет 20, скромного, застенчивого вида. Юноша был бедно одет. Его бледное одухотворенное лицо казалось болезненным. Близорукие глаза, глядевшие через очки, светились умом. Это был сын нижегородского священника Николай Александрович Добролюбов, окончивший семинарию в своем родном городе и теперь учившийся в педагогическом институте в Петербурге. Добролюбов принес для журнала рецензию на недавно вышедшую книгу. Прочитав статью, Чернышевский пришел в восторг. В статье юного автора его поразил не только литературный блеск, но и редкая вдумчивость, глубокий анализ социальных корней данного литературного явления. Это был блестящий образец той «реалистической критики», которую так высоко ценил Чернышевский в произведениях Белинского. С обычной своей проницательностью Чернышевский распознал в начинающем писателе крупную литературную силу и пригласил его постоянно сотрудничать в журнале. Этот день был знаменательным и для «Современника» и для самого Николая Гавриловича: первый приобрел высокодаровитого сотрудника, а второй — близкого друга и единомышленника, с которым работал рука об руку до самого конца его недолгой жизни.

Добролюбов был богато одаренной натурой. Светлый ум

и изумительная для его возраста начитанность соединялись в нем с горячим сердцем, чутко отзывавшимся на все наболевшие вопросы общественной жизни. Человек страстного, боевого темперамента, Добролюбов писал «кровью своего сердца и соком своих нервов», по выражению немецкого писателя Людвига Берне. Но при этом он никогда не терял логической способности, ко всякому явлению подходил во всеоружии острой критической мысли. Совершенно чуждый мелкого самолюбия, благородный по натуре, Чернышевский с радостью следил за литературными успехами Добролюбова. Более зрелый годами и опытом, более разносторонне образованный, он оказывал громадное идейное влияние на своего молодого друга. Талант Добролюбова быстро рос и развивался под этим благотворным влиянием. Найдя в лице Добролюбова достойного преемника себе для работы в критическом отделе, Чернышевский, уже через год после вступления Добролюбова в «Современник», передал ему полностью заведывание этим отделом, а сам с головой ушел в другую, более обширную область, куда властно звали его назревшие вопросы современности.

Чернышевский выступил на литературное поприще в конце царствования Николая I. Это царствование было одной из самых мрачных эпох в истории России. Суть правительственной системы сводилась к полному подавлению общественной деятельности, к властной, гнетущей опеке над малейшим проявлением общественной мысли. Граждан в николаевской России не существовало, а обыватель всецело зависел от соизволения начальства.

«Начальство сделалось все в стране, — писал один из современников. — В начальстве совмещались закон, правда, милость и кара. Купец торговал потому, что была на то милость начальства; обыватель ходил по улице, спал после обеда в силу начальнического позволения; приказный пил водку, женился, плодил детей, брал взятки—по милости начальнического снисхождения. Воздухом дышали потому, что начальство, снисходя к слабости нашей, отпускало в атмосферу достаточное количество кислорода. Рыба плавала в воде, птицы пели в лесу, потому что так разрешено

было начальством... Телесные наказания считались главным орудием дисциплины и основой общественного воспитания. От учения требовали только практической пригодности, наука была в подозрении. С 1848 года преследование независимости во всех ее формах приняло мрачный характер» [1].

Созданный неусыпным попечением начальства самодержавный «порядок» тщательно охранялся от злонамеренных посягательств. Особенно на дурном счету у начальства были наука и литература. Если наука находилась в «подозрении», то литература была в прямой опале. В «шестой державе»— печати — николаевский режим чуял громадную назревшую опасность. По словам того же современника, «цензура преследовала вольный дух даже в поваренных книгах». В литературе разрешалось проводить лишь так называемые «исконные русские начала — самодержавие, православие, народность». Эта формула была выработана одним из верных слуг Николая I, министром народного просвещения графом Уваровым, впоследствии прозванным «архицербером старого режима». В декабре 1832 года Уваров, командированный для осмотра московского университета, представил царю докладную записку, в которой писал о необходимости удержать молодых людей «в желательном равновесии между понятиями, желательными для умов недозрелых и, к несчастью Европы, овладевшими ею, и теми твердыми началами, на коих основано не только настоящее, но и будущее благосостояние отечества». Далее автор доклада указывает эти «истинно-русские охранительные начала *православия, самодержавия и народности,* составляющие последний якорь нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего отечества».

Таким образом впервые были формулированы основные начала внутренней политики Николая I. Сущность «православия» сводилась к жестоким гонениям на иноверцев и инородцев, особенно евреев, а также на старообрядцев — православных людей, молившихся по-старине. Под «народностью» разумелось крепостное право, изображавшееся в

[1]) Н. Любимов. «М. Н. Катков и его историческая заслуга».

виде сердечной родительской опеки отцов-помещиков над неразумными детьми — крестьянами. Еще в 1798 году писатель Н. М. Карамзин, который, как остроумно заметил А. С. Пушкин, своей изящной прозой доказывал «необходимость самовластья и прелести кнута», в одном из своих произведений выводил хор земледельцев, поющий:

Как не петь нам! Мы щастливы[1]),
Славим барина-отца,
Наши речи некрасивы,
Но чувствительны сердца.
Горожане нас умнее,
Их искусство—говорить.
Что ж умеем мы? сильнее
Благодетелей любить![2]).

В таком именно идиллическом духе рисовали отношения между помещиками и крестьянами представители официальной народности.

Однако, как ни обрушился всей своей тяжестью николаевский режим на русскую передовую мысль, он не мог задушить ее. Она лишь притаилась, выжидая благоприятного момента, чтобы прорваться наружу. Но и притаившись, она делала свое дело. Еще в эпоху расцвета николаевской системы, в студенческие годы Чернышевского, лучшие писатели того времени, Белинский, Герцен и другие, умели проводить в литературе освободительные идеи, усыпляя бдительность цензуры туманной, иносказательной формой, хорошо понятной читателю. В 1854 — 55 г., когда в литературе выступил Чернышевский, николаевский режим уже не так твердо держался на своих трех китах. В воздухе повеяло чем-то новым. Замечались признаки разложения старой системы. Ненависть Николая I к Западной Европе, зараженной республиканским и демократическим духом, побудила его в 1848 году послать свои войска для усмирения революционной Венгрии. В 1854 году та же ненависть толкнула его на ненужную и бессмысленную войну с Анг-

---

[1]) Сохраняем правописание Карамзина.

[2]) Куплеты из одной сельской комедии.

лией и Францией. Правительство тщетно пыталось поддержать патриотический дух в обществе: его нигде не замечалось. Войной были недовольны не только либеральные, но и самые умеренные круги. Началось неудовольствие, брожение в обществе.

После об'явления войны всю Россию обошло в рукописных списках стихотворение известного писателя А. С. Хомякова «Россия». Оно начиналось в патриотическом духе:

Вставай, страна моя родная!..

Говоря затем об испытаниях, грозящих родине, поэт призывал ее очиститься от грехов, которые он изображал в следующих сильных строках:

В судах черна неправдой черной,
И игом рабства клеймена;
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной,
И всякой мерзости полна...

Стихотворение Хомякова было принято враждебно в официальных сферах. От автора потребовали об'яснений. Правительство не хотело слышать ни о каких язвах старой России. Но было уже поздно: критическая мысль в обществе проснулась. Достаточно было внешнего толчка, чтобы обнаружить всю непригодность старого, прогнившего механизма. Такими толчками были: смерть Николая I и севастопольский разгром.

Русское правительство вступало в войну с англичанами и французами в надменном сознании своей силы. Чиновники всех ведомств хвастливо заявляли, что все готово к войне, что мы неприятеля шапками закидаем. Однако, с наступлением военных действий весьма скоро обнаружилось, что Россия готова к войне только на бумаге. Пушки оказались плохими, флот — гнилым, военное начальство — бездарным. Благодаря страшным хищениям в интендантстве, армия снабжалась из рук вон плохо: солдатские шинели поставлялись из гнилого сукна, сапоги оказывались на картонной подошве, продовольствие было скудным. Медицинская часть находилась в самом плачевном состоянии. Лекарств не было,

операции делались тупыми инструментами. Знаменитый хирург и педагог Пирогов писал в своем дневнике, что огромное большинство солдат погибло не от ран, а от эпидемических болезней, вследствие отсутствия необходимых гигиенических мер.

При таких условиях неудивительно, что неприятель одерживал победу за победой. Поражения, которые терпела армия, открыли глаза даже наиболее отсталым слоям русского общества. Все поняли, что причина неудачи в николаевском режиме. Административная опека обнаружила свою несостоятельность. Все громче и громче стали раздаваться голоса о необходимости коренных перемен в правительственной системе. В некоторых передовых кружках смотрели на войну англо-французов с Россией, как на войну цивилизации с варварством, и желали победы союзникам.

Правительство, поглощенное войной, стало меньше заниматься внутренними делами. Недреманное око цензуры ослабило свой надзор. Прогрессивная печать начала открыто обсуждать маленькие и большие недостатки правительственного механизма, устарелость всей системы и необходимость коренных реформ.

Между тем, союзники наносили удар за ударом. 18 февраля 1855 г. Россию облетела весть о смерти Николая I. Предвидя исход войны и с ним позорное крушение всей своей системы, Николай I отравился. Все вздохнули свободнее. Тридцатилетняя ночь николаевского царствования, наконец, изжита. Забрезжил рассвет... «Длинная и безотрадная страница в истории русского царства дописана до конца» [1]).

Не успело ослабеть впечатление от первого удара, как грянул второй: 27 августа 1855 года пал Севастополь. Вместе с ним окончательно рухнул колосс на глиняных ногах. Настала новая эра [2]). На престол вступил сын Николая, Александр II, воспитанник поэта Жуковского.

---

[1]) А. Никитенко. «Записки и дневник», том I, стр. 449, изд. Пирожкова.

[2]) Насколько отрезвилось к тому времени от патриотического угара русское офицерство, показывает известная «севастопольская

Да на стезе высокой не забудет
Святейшего из званий—человек,—

писал Жуковский, напутствуя молодого царя. И русское общество верило, что Александр II не забудет «святейшего» звания — человеческого и выведет страну на новый путь. В воздухе веяло весной. Все с верой и надеждой смотрели вперед. Для общественной самодеятельности, казалось, от-

---

песня», которая ходила по рукам в тысячах экземпляров и распевалась по всей России. Песня эта была сложена после поражения на Черной Речке 4-го августа 1855 года группой молодых офицеров, в числе которых был знаменитый впоследствии писатель Л. Н. Толстой.

Как четвертого числа
Нас нелегкая несла
Горы отбирать (bis).
Барон Вревский генерал
К Горчакову приставал,
Когда под шафе (bis).
Князь, возьми ты эту гору,
Не входи со мною в ссору,
Не то донесу.
Собирались на советы
Все большие эполеты
Даже плац-Бекок.
Долго думали-гадали,
Топографы все писали
На большом листу!
Гладко писано в бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить!
Выезжали князья-графы,
А за ними топографы
На большой редут!
Князь сказал: «Ступай, Липранди!»
А Липранди: «Нет-с, атанде,
Молвил — не пойду.
Туда умного не надо,
Ты пошли туда Реада,
А я посмотрю!»
Глядь—Реад возьми да спросту
И повел нас прямо к мосту,
Ну-ка, на ура!
Мартенау умолял,

крывался широкий простор. Правительство призывало общественные силы притти ему на помощь. Оно возвещало «эпоху великих реформ».

С чего же начать, куда прежде всего направить боевую энергию? На этот счет не могло быть никаких сомнений. Военный разгром ярко осветил темные стороны русского общественного строя. И самым вопиющим, самым коренным из этих зол, на котором покоилась вся сложная надстройка николаевского режима, была старая язва русской жизни: крепостное право. В этом сходились передовые люди всех направлений. Итак, прежде всего — долой крепостное право! Таков был боевой клич поколения, выступившего на арену общественной деятельности во вторую половину 50-х годов. Лучшим выразителем и передовым бойцом этого поколения был Николай Гаврилович Чернышевский.

Чтоб лезертов*) подождал:
Нет уж, пусть идут!
На ура мы зашумели,
Да лезерты не поспели,
Кто-то переврал!
А Белевцев-генерал
Крепко знамя потрясал:
Вовсе не к лицу!
На Федюхины высоты
Нас пришли всего три роты,
А пошли полки.
Наше войско небольшое,
А француза было втрое,
И секурсу тьма.
Ждали, выйдет с гарнизона
Нам на выручку колонна,
Подали сигнал!..
А там Сакен генерал
Все акафисты читал
Богородице,
И пришлось нам отступать...,
и т. д.

---

*) Солдатское произношение слова «резервы».

ГЛАВА XIV

Чернышевский и крестьянская реформа. — Статьи 1857 года. — Надежды на освобождение крестьян с землею. — Планы выкупных операций за счет государства. — Вопрос о поземельной общине. — «Критика философских предубеждений против общинного землевладения». — Крушение иллюзий об общине. — Разочарование в крестьянской реформе. — Недоверие к правительству и либералам. — Взгляд на крестьянскую реформу в романе «Пролог пролога».

С 1857 года Чернышевский с жаром принимается за разработку крестьянской реформы. Радужные надежды, связанные со вступлением на престол Александра II, захватили и нашего писателя. При всей трезвости своего ума, он восторженно приветствует нового царя, заявляет, что на его долю выпало редкое счастье — одному начать и совершить освобождение своих подданных. Полный горячей веры в успех крестьянской реформы и благие намерения правительства, Чернышевский пишет одну за другой ряд статей, в которых отстаивает определенный план освобождения крестьян: наделение их всей землей, находившейся в их владении, с выкупом за счет государства. При этом он доказывает, что последнее могло бы произвести такой выкуп не только без труда, но даже с выгодой для государственного казначейства. В статье «Труден ли выкуп земли» Чернышевский пишет:

«Каким образом выкуп земли может быть в самом деле затруднителен? Это противоречит основным понятиям народного хозяйства. Политическая экономия прямо говорит, что все те материальные капиталы, какие достаются известному поколению от предшествовавших поколений, составляют ценность не очень значительную, по сравнению с тою

массой ценностей, какая производится трудом этого поколения. Например, вся земля, принадлежащая французскому народу, со всеми зданиями и всем находящимся в них имуществом, всеми кораблями и грузами, всем скотом, всеми деньгами и всеми другими богатствами, принадлежащими этой стране, едва ли представляет стоимость в сто миллиардов франков. А труд французского народа ежегодно производит ценность в 15 или более миллиардов франков, т.-е. не более как в 7 лет французский народ производит массу ценностей, равную ценности целой Франции, как она есть, от Ламанша до Пиренеев. Стало быть, если бы французам нужно было выкупить у кого-нибудь всю Францию, они могли бы сделать это в продолжение одного поколения, употребляя на выкуп только одну пятую часть своих доходов. А у нас о чем идет дело? Разве целую Россию должны мы выкупать со всеми ее богатствами? Нет, только одну землю. И разве всю русскую землю? Нет, выкуп относится только к тем губерниям одной Европейской России, в которых укоренилось крепостное состояние».

Далее наш автор показывает, что земли, подлежащие выкупу, составляют не более шестой части всего пространства Европейской России и предлагает целых 8 планов выкупной операции, с весьма тщательными, подробно разработанными вычислениями.

Вопрос об освобождении крестьян, так волновавший умы в описываемую эпоху, был тесно связан с вопросом о поземельной общине.

Миллионы крестьян получат свободу. На каких началах они устроятся? Здесь выступал на сцену вопрос о крестьянской общине, в которой многие представители передовой интеллигенции видели залог будущего народного благосостояния. Среди русской интеллигенции пользовались большим влиянием *славянофилы*, полагавшие, в отличие от *западников,* что России нечему учиться у западных соседей, что ее историческое развитие пойдет своим особым, самобытным путем. Убеждение в национальной самобытности России у славянофилов соединялось с верой во всемирную историческую роль русского народа. Свои взгляды славянофилы не

могли обосновать научно. Эти взгляды были для них своего рода символом веры.

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать:
В Россию можно только *верить!*

писал известный поэт и славянофил Ф. И. Тютчев [1]).

Общинное владение землей, сохранившееся в русском быту, как и во многих отсталых странах, славянофилы идеализировали, видя в нем предохранительный клапан для России от бедствий капитализма, постигшего Западную Европу. Этот взгляд заимствовали у славянофилов и некоторые представители русской социалистической мысли. В 1856—57 г. Чернышевский не избегнул общего увлечения общиной. В статье «Славянофилы и вопрос об общине» в 1857 г. он пишет: «В настоящее время мы владеем спасительным учреждением, в осуществлении которого западные племена начинают видеть избавление своих земледельческих классов от бедности и бездомности». В другом месте той же статьи он подробнее развивает эту мысль:

«Экономическое движение в Западной Европе породило страдания пролетариата. Мы нимало не сомневаемся в том, что эти страдания будут исцелены, что эта болезнь «не к смерти, а здоровью», но переносить настоящие свои страдания для Западной Европы все-таки тяжело, и врачевание этих страданий требует долгого времени и великих усилий. У нас сохранилось противоядие от болезни... Это такое благо, которому могут позавидовать и опередившие нас в развитии народы: оно в наших руках и может в будущем предохранить от язвы пролетариата многие миллионы русских людей...»

Итак, на заре «эпохи великих реформ» Чернышевский видел в поземельной общине противоядие против капита-

---

[1]) Русское славянофильство процветало особенно в 40—50-е годы. Главными представителями этого направления были А. С. Хомяков, К. и И. Аксаковы, братья Киреевские и др.

лизма. Он смотрел на общину, как на почку, из которой может развиться будущее социалистическое общество. При всей своей отсталости, Россия в некоторых отношениях может опередить западных соседей. «История, как бабушка, любит младших внучат», — пишет Чернышевский. Минуя «язву капитализма», Россия может, через посредство своей поземельной общины, прямо перейти в высшую социалистическую форму общежития.

Однако, уже в следующем 1858 г. взгляд Чернышевского на общину становится более реалистическим. Он рассматривает вопрос о возможности перехода общины в высшую форму уже не *отвлеченно*, а ставит его в зависимость от *конкретных условий*. В своей знаменитой статье: «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» он приходит к заключению, что русская поземельная община может перейти прямо в высшую, т.-е. социалистическую форму *не безусловно*, но лишь при известных благоприятных условиях, а именно: если где-нибудь в другом месте, в передовой стране, она уже достигла этой ступени. А так как ни в одной из передовых стран ничего подобного не наблюдается, то вывод ясен: в данный момент скачок от общины к социализму для России невозможен.

Какой *практический* интерес имеет вопрос о поземельной общине при освобождении крестьян? Чернышевский пишет по этому поводу в той же статье:

«Как ни важен вопрос о сохранении общинного землевладения, но он все-таки составляет только одну сторону дела, к которому принадлежит. Как высшая гарантия благосостояния людей, до которых относится, этот принцип получает смысл только тогда, когда уже даны другие, низшие гарантии благосостояния, нужные для доставления его действию простора. Такими гарантиями должны считаться два условия: во-первых, принадлежность ренты [1]) тем самым лицам, которые участвуют в общинном владении. Но этого еще мало. Надобно также заметить, что рента только тогда заслуживает своего имени, когда лицо, ее получающее, не

[1]) Доход от земли.

обременено кредитными обязательствами, вытекающими из самого ее получения... Когда человек уже не так счастлив, чтобы получить ренту чистую от всяких обязательств, то, по крайней мере, предполагается, что уплата по этим обязательствам не очень велика, по сравнению с рентой. Только при соблюдении этого второго условия, люди, интересующиеся его благосостоянием, могут желать ему получения ренты».

Были ли налицо указанные Чернышевским условия? Трезвое и внимательное наблюдение над русской действительностью подсказывало нашему автору отрицательный ответ. Правительство быстрыми шагами шло по пути реакции. Скоро стало ясно, что вместо «гарантии благосостояния» освобожденное крестьянство получит камень на шею, в виде высоких выкупных платежей. А при таких условиях вопрос об общинном землевладении терял в глазах Чернышевского практическое значение.

Николай Гаврилович быстро отрезвился от надежд на благие намерения правительства. Последнее меньше всего пеклось о нуждах крестьянства. Оно заботилось лишь о выгодах казны, а также об интересах «первенствующего сословия» — дворян-помещиков, служивших опорой престола. Уже делая первый шаг к отмене крепостного права, правительство открывало свои карты. В рескрипте Александра II на имя виленского генерал-губернатора Назимова, от 20/XI 1857 г., прямо заявлялось: «Помещики сохраняют право собственности на землю». С 1858 года для Чернышевского стало очевидно, что земельные наделы будут даны крестьянам лишь под условием высоких выкупных платежей, которые им будут не под силу. В статье по крестьянскому вопросу, помещенной в «Современнике» за 1858 год, он с горечью говорит, прибегая к своему любимому приему, аллегории:

«Предположим, что я был заинтересован принятием средств для сохранения провизии, из запаса которой составляется ваш обед. Само собой разумеется, что если я это делал собственно из расположения к вам, то моя ревность основывалась на предположении, что провизия принадлежит

вам, и что приготовляемый из нее обед здоров и выгоден для вас. Представьте же себе мои чувства, когда я узнаю, что провизия вовсе не принадлежит вам, и что за каждый обед, приготовленный из нее, берутся с вас деньги, которых не только не стоит самый обед, но которых вы вообще не можете платить без крайнего стеснения. Какие мысли приходят мне в голову при этих столь странных открытиях! Как я был глуп, что хлопотал о деле, для полезности которого не обеспечены условия! Кто, кроме глупца, может хлопотать о сохранении собственности в известных руках, не удостоверившись прежде, что собственность достанется в эти руки и достанется на выгодных условиях?.. Лучше пропадай вся эта провизия, которая приносит только вред любимому мною человеку! Лучше пропадай все дело, которое приносит вам только разорение! Досада за вас, стыд за свою глупость — вот мои чувства!»

Таким образом, почти за 3 года до знаменитого манифеста 19 февраля 1861 года, Чернышевский понимал, что широковещательные речи правительства и либеральных чиновников об освобождении крестьян — не более как мыльный пузырь. Мало того. Наш автор прекрасно сознавал причину, благодаря которой крестьянская реформа была обречена на неудачу. Для его проницательного взора было ясно отсутствие в России общественных сил, способных взять на себя такое дело. Народная масса была слишком темна и политически неразвита, чтобы на нее можно было возлагать какие бы то ни было надежды. Под «народом» передовые люди 50 — 60-х годов подразумевали исключительно крестьянство. Благодаря отсталости России и слабому развитию промышленности, рабочий класс тогда был еще в зародыше. К «просвещенному», либерально-настроенному обществу Чернышевский относился с язвительной насмешкой. Бессилие и беспомощность либералов, их заигрывание с правительством и трусливые отступления при малейшем окрике сверху, вызывали в нем самое презрительное отношение. Единственная прогрессивная сила, которую видел Чернышевский в современной ему России, — была социалистическая, вышедшая из низов, *разночинная интеллигенция*.

Но она — увы! была слишком малочисленна. Белинские и Добролюбовы были единицами. Эти ласточки не делали весны...

Много лет спустя в автобиографическом романе «Пролог пролога», в котором изображалась картина общественной жизни конца 50-х годов, Чернышевский восклицал, устами своего героя Волгина:

«Толкуют: освободить крестьян. Где силы на такое дело? Еще нет сил. Нелепо приниматься за дело, когда нет сил на него. А видите, к чему идет: станут освобождать. Что выйдет? Сами судите, что выходит, когда берешься за дело, которого не может сделать... Испортишь дело, выйдет мерзость. Ах, наши господа эмансипаторы [1]), все эти ваши Рязанцевы с компанией [2]), вот хвастуны-то! Вот болтуны-то! Вот дурачье-то!»

Роман «Пролог пролога», в котором Чернышевский выводит себя под именем Волгина, Добролюбова, в лице Левицкого, и других своих современников, чрезвычайно важен для характеристики его отношения к крестьянской реформе. Мы приведем из него еще одну выписку.

«Пусть дело освобождения крестьян и будет передано в руки помещичьей партии. Разница не велика», говорит Волгин.

На замечание его собеседника, что, напротив, разница колоссальная, так как помещики против наделения крестьян землей, Волгин решительно возражает:

«Нет, не колоссальная, а ничтожная. Была бы колоссальная, если бы крестьяне получили землю без выкупа. Взять у человека вещь или оставить ее человеку—разница, но взять плату за нее—все равно. План помещичьей партии разнится от плана прогрессистов только тем, что проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек — вероятно, меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги—тот купит себе землю. У кого нет—тех

[1]) Освободители.

[2]) Под именем Рязанцева Чернышевский, повидимому, выводил известного либерала эпохи освобождения крестьян Кавелина, друга И. С. Тургенева.

нечего и обязывать покупать ее. Это будет только разорять их. Выкуп — та же покупка. Если сказать правду — лучше пусть будут освобождены без земли. Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их, либералы или помещики. По-моему, все равно. Или помещики даже лучше».

Мы видим, как далеко заходил Чернышевский в своем отрицательном отношении к «великой» реформе, над которой умилялись либералы. Разочаровавшись в общине, зная цену «монаршим милостям» и либеральным речам, он считал бесполезным защищать не только общинное землевладение, но и самое наделение крестьян землей. Была еще одна причина, в силу которой он в конце концов пришел к выводу, что для крестьян лучше освобождение без земли. Об этой причине он не мог упоминать в своем романе по цензурным условиям. По его мнению, «освобождение» без земли было единственным средством расшевелить инертную крестьянскую массу и поднять ее на восстание. Это, по-видимому, хорошо понимало и само правительство. Наделяя крестьян землею, хотя бы и на драконовских условиях, оно руководилось, разумеется, не «сердечным попечением», а тем соображением, что «освобождение» без земли привело бы к образованию в России больших кадров безземельного пролетариата. «Совершенно лишать крестьян земли—значит итти на явную опасность»—писал в докладной записке правительству один из заведомых крепостников.

Как бы там ни было, к концу 50-х годов Чернышевский сознавал, что нельзя ждать ничего хорошего от «великих реформ», с такой помпой возвещенных правительством Александра II. Много горечи доставляло ему это безотрадное сознание.

Порвалась цепь великая,
Порвалась, расскочилася:
Одним концом—по барину,
Другим—по мужику...

писал впоследствии поэт Некрасов об освобождении крестьян.

«Другой конец» цепи, ударившей по мужику, в то же время больно ударил по сердцам благородных печальников народного горя, страстно защищавших его интересы на страницах передовой печати. Николай Гаврилович был самым стойким и мужественным из этих защитников.

ГЛАВА XV

Чернышевский и политическая экономия. — Примечания к «Основаниям политической экономии» Милля. — Критика буржуазной политической экономии. — Доказательства разумности и справедливости социалистического строя. — Чернышевский как утопист. — Утопический социализм и научный социализм. — Точки соприкосновения и расхождения Чернышевского с социалистами-утопистами.

В литературной деятельности Чернышевского огромное место занимали вопросы *политической экономии*. Политическая экономия, т.-е. наука о законах экономического развития общества, не могла не интересовать нашего писателя, как социалиста с научным складом мышления. Он внимательно изучал труды величайших представителей буржуазной политической экономии—Адама Смита, Рикардо, Мальтуса, Милля. В результате этой долгой и тщательной работы у Чернышевского возник широкий план — познакомить невежественную в этой области русскую публику с основными данными политической экономии, и в то же время, излагая и дополняя учение творцов буржуазной экономии, сделать из него социалистические выводы. Осуществлением этого плана были появившиеся в 1860—61 г. замечательные труды Чернышевского: перевод первой книги «Оснований политической экономии» Милля, снабженный обширными примечаниями нашего автора, и «Очерки политической экономии», представлявшие собой критическое изложение остальных книг того же Милля.

В этих трудах Чернышевский знакомит читателя со взглядами Милля на труд, капитал, ценность и другие основ-

ные экономические категории. Особенно подробно он останавливается на «трехчленной» системе деления продукта в буржуазном обществе. В производстве различаются три главные элемента — капитал, земля и труд. Соответственно этому, буржуазные экономисты признают законным разделение общества на три класса, которые делят между собой продукт: класс капиталистов получает прибыль, класс землевладельцев — ренту (доход за право пользования землей), наконец, рабочий класс — заработную плату. Однако, такое деление ведет к постоянному столкновению интересов: интересы прибыли сталкиваются с интересами заработной платы, а интересы ренты противоположны как интересам прибыли, так и интересам заработной платы. Такое постоянное столкновение интересов крайне вредно отражается на всем обществе в целом. Поэтому, с точки зрения разумной экономической теории, трехчленную систему, господствующую в буржуазном обществе, надо признать несостоятельной. Для общества гораздо *выгоднее и целесообразнее* сочетание всех трех элементов в одних и тех же руках. Такое сочетание будет достигнуто при коллективной организации производства, когда земля и капитал будут собственностью самих трудящихся. Только при таком условии возможна будет планомерная организация труда, соответственно потребностям всего общества. Тогда не будет ни кризисов, ни конкуренции, не будет купли-продажи, труд перестанет быть товаром, исчезнут уродливые формы разделения труда, калечащие человека и превращающие его в машину, — словом, новый социалистический строй оздоровит общественный организм, из'еденный язвами капитализма.

Таким образом, «здоровая экономическая теория», т.-е. социализм, диктуется соображениями *расчета,* целесообразности, совпадающими в данном случае с требованиями *справедливости.* Капитализм должен уступить место социализму, потому что последний выгоднее и справедливее. Рассуждая таким образом, Чернышевский обеими ногами стоял на почве *утопического социализма.* Он оставался верным учеником Фурье. Социалисты-утописты держались *идеалистического* взгляда на историю. Они полагали, что «миром пра-

вят мнения», т.-е. понятия, чувства людей. Долговременное господство капиталистического строя об'ясняется, с этой точки зрения, ложными понятиями людей, недостатком у них здравого экономического расчета. Достаточно *осветить* их, внушить им правильные понятия—и мир будет перестроен заново. Таковы исторические взгляды социалистов-утопистов. Совершенно иначе смотрит на историю сменившая утопистов школа *научного социализма,* основателями которой были Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Не идеи, не мнения являются движущей силой истории человечества. Наоборот, они сами обусловливаются *материальными условиями* существования людей. Не сознание определяет бытие, а бытие определяет сознание. Поэтому для того, чтобы повлиять на ход общественного развития, недостаточно внушить людям те или иные понятия и идеалы. Для этого надо, прежде всего, *изучить* существующие в данном обществе экономические отношения, которые, совершенно независимо от доброй или злой воли людей, в силу внутренних законов своего развития, изменяют общественный строй в том или ином определенном направлении. Частная собственность, принцип наследования и другие основы капиталистической системы об'ясняются не злой волей, не ложными понятиями людей, а *экономической необходимостью.* Такой же экономической необходимостью, на известной ступени развития общества, будет и социализм.

Итак, утопический социализм, в своем взгляде на историю, проникнут *идеализмом,* научный социализм построен на *материалистическом* понимании истории. Утопист *верит* в конечное торжество социалистического идеала; научный социалист *знает,* что торжество это неизбежно. В глазах утописта ручательством за осуществление социалистического строя служит его *разумность и справедливость.* Социалист научного склада черпает свою уверенность в неизбежности социализма — в изучении *экономической действительности.* Согласно утопистам, просвещенная интеллигенция — «соль соли земли», додумалась до социалистического идеала. Как некогда Афина-Паллада вышла во всеоружии из головы Зевса, так социали-

стический идеал возник в глубине извилин мозга лучших представителей образованного общества. Отсталая народная масса, в конце концов, догонит их, и тогда настанет торжество разума [1]). Наступление социализма может быть значительно ускорено в зависимости от *случайностей*. Так рассуждают утописты. Напротив того, в научном социализме случайность не играет никакой роли. Как анатом рассекает тело животного с целью его детального изучения, так и представитель научного социализма разлагает социальный организм. Изучая структуру общества, он ищет те *общественные силы*, которые самой логикой своего развития толкаются на путь социализма. Экономические условия, на основе которых развиваются те или иные общественные силы, служат надежной гарантией от случайности и ручательством за то, что историческое развитие пойдет именно в том, а не в другом направлении. Залогом торжества социалистического идеала для него служит не экономический *расчет*, на который уповал Чернышевский, вместе с социалистами-утопистами, а *экономическая действительность*.

Мы видим, что несмотря на свое материалистическое мировоззрение, заимствованное им у Фейербаха, Чернышевский, в пору зрелости своего таланта, отчасти оставался на почве утопического социализма. Последовательный материалист в своем понимании природы, он был идеалистом в области истории. Это неудивительно: Чернышевский был совершенно незнаком с произведениями творцов научного социализма. Главные их труды появились в печати тогда, когда литературная деятельность Чернышевского была уже прервана насильственным образом. Если Маркс и Энгельс, также ученики Фейербаха, сумели сделать из философии своего учителя логические выводы, до которых не дошел Чернышевский, то это об'ясняется отнюдь не их умственным превосходством — наш мыслитель едва ли уступал им силою ума — а тем, что

---

[1]) «La raison finira par avoir raison» — «разум в конце концов восторжествует», — говорили великие французские «просветители» XVIII века, — Вольтэр, Дидро и другие, которые в об'яснении истории были такими же идеалистами, как и социалисты-утописты.

они жили и работали при несравненно более благоприятных условиях [1]).

Однако, несмотря на свои точки соприкосновения с социалистами-утопистами, Чернышевский во многих отношениях расходился с ними. Социалисты-утописты со своими планами социальных преобразований обращались к господствовавшим классам, как к наиболее образованным и богатым. Чернышевский, напротив того, отнюдь не был склонен расчитывать на добродетельных миллионеров, которые из гуманности захотят подрубить сук, на котором сами сидят. Он не взывал ни к сердцу, ни к кошельку капиталистов. Чернышевский обращался преимущественно к «лучшим людям», к разночинной, вышедшей из низов социалистической интеллигенции. При ее помощи он надеялся пробудить сознание масс, произвести революцию в умах, которая приблизит момент социального переворота, подготовленного тяжелым экономическим положением и классовой борьбой трудящихся масс. Социалисты-утописты совершенно отвергали революционную и политическую борьбу. Чернышевский же хотя и полагал, что «исторический прогресс совершается медленно и тяжело», но, по его мнению, в истории каждого народа бывают «благодетельные скачки», которые далеко подвигают вперед общественное развитие. Под этими «благодетельными скачками», которые совершаются «редко, да метко», Чернышевский, очевидно, подразумевал революции. Социальная революция, которая обновит коренным образом весь общественный строй, — вот основная цель всех стремлений нашего мыслителя. Одним из путей к достижению этой цели, наряду с пропагандой социалистических идей, он признает и политическую борьбу, сопровождающуюся рево-

---

[1]) Впоследствии Маркс отдал должное Чернышевскому, назвав его «великим русским ученым и критиком, мастерски обнаружившим банкротство буржуазной экономии». (См. предисловие ко 2-му изданию «Капитала»). Такой отзыв в устах строгого автора «Капитала, осыпавшего своими сарказмами крупнейших представителей европейского и русского социализма,—Маркс весьма насмешливо отзывался о Прудоне, Лассале, Герцене, Бакунине и других, — чрезвычайно знаменателен.

люционным насилием. В одной из своих статей, касаясь поступка еврейской героини Юдифи, казнившей врага своего народа, он говорит:

«Исторический путь — не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через поля, то пыльные, то грязные, то через болота, через дебри. Кто боится быть покрытым пылью и выпачкать сапоги, тот не принимайся за общественную деятельность: она занятие благородное для людей, когда вы думаете действительно о пользе людей, но занятие не совсем опрятное. Правда, впрочем, что нравственную чистоту можно понимать различно: иному, может быть, кажется, что, например, Юдифь не запятнала себя» [1]).

Эти строки дышат горячим сочувствием к революционной и политической борьбе. Они направлены против людей, упрекающих революционеров за то, что революция не делается в белых перчатках. Таким же революционным духом была проникнута и вся публицистическая деятельность Чернышевского в «Современнике». Несмотря на спокойный, уравновешенный тон, отсутствие крикливого задора и пафоса, бьющего на чувство, статьи его имели огромное влияние на русское передовое общество. За исключением работ первого кратковременного периода «доверия» к правительству Александра II, от которого Чернышевский быстро излечился, в его статьях чувствуется непримиримый революционер и враг старого порядка. Это было ясно не только для общества, но и для правительства. Последнее внимательно прислушивалось к спокойному, твердому голосу, звучавшему с передового поста русской журналистики. Оно слушало с возрастающей тревогой и ждало удобного момента, чтобы обезвредить опасного противника. Выбрать момент не представляло большого труда, а что касается средств «обезврежения» — то для благой цели все средства хороши...

---

[1]) «Современник» 1861 г. Январь. Отдел библиографии. Стр. 37—38.

ГЛАВА XVI

Эпоха 60-х годов. — Общественный под'ем. — Отрицание прошлого. — Требование общественного дела. — Воля к творчеству. — Вера в науку. — Эмансипация личности. — Выступление разночинной интеллигенции. — Назревшие реформы. — Роль передовой печати. — Значение «Современника», как боевого органа передовой публицистики. — Просветительная деятельность «Современника». — Чернышевский и Добролюбов, как руководители «Современника».

Николай Гаврилович Чернышевский был истым сыном своего времени, одной из центральных фигур эпохи, в которую протекали лучшие годы его жизни и деятельности. В нем, как в фокусе, концентрировались характерные черты этого славного пятилетия, вошедшего в историю под именем эпохи 60-х годов [1]. То было время небывалого общественного под'ема, период «бури и натиска» русской общественной мысли, только что вырвавшейся на простор из тесных оков николаевского режима.

Беспросветная ночь реакции долгие годы висела над страной.

Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя, —

писал Лермонтов в 30-е годы,

Лбом в полюс упершись
И пятками в Кавказ,
Спит беспробудным сном
Россия, мать святая, —

скорбно отмечал Тургенев в 40-е годы.

[1]) Название «60-е годы» не совсем точно хронологически. Под эпохой 60-х годов разумеют обыкновенно период 1857—1862 года. После 1862 г. наступила реакция.

Но сон оказался не беспробудным. Два громовых удара, один за другим, обрушились на сонного исполина: смерть Николая I 18 февраля 1855 года; падение Севастополя 27 августа того же года. Исполин воспрянул, очнулся от летаргического сна и — глубоко, облегченно вздохнул.

Стоячее болото всколыхнулось. Сонное царство точно вспрыснули живой водой. Все ожило, зашевелилось. Все чувствовали необходимость обновления жизни. В широких общественных слоях пробудился критический дух. Вчерашние подданные стали сознавать себя гражданами, жаждущими принять деятельное участие в решении судеб родины. Несмотря на военный разгром и вскрытые им язвы старого порядка, никто не унывал, все с верой и надеждой смотрели вперед и рвались к живому делу. Трепет и радость жизни носились в воздухе. На смену серым будням настало весеннее ликование. Все бродит, кипит, волнуется еще неясными порывами. Важные политические известия, непроверенные слухи, придворные новости — все сливается в один разноголосый ликующий хор.

«На обеде в дворянском собрании был провозглашен тост за общественное мнение!».

«Скоро будет дан рескрипт об освобождении крестьян!».

«Молодой государь на вопрос о русском платье и бороде ответил: «А мне какое дело — пусть одеваются, как хотят!».

«Прекращено преследование раскольников».

«Императрица подарила Тютчевой Маколея» [1]).

Все вызывало восторг, все давало пищу смелой и яркой мечте.

Мало-по-малу смутное брожение стихает. Весенний разлив жизни вступает в берега. Возбужденная общественная мысль принимает более определенное направление, облекается в конкретные формы. Все хотят думать, учиться, жить. А для того, чтобы жить, надо, прежде всего, сбросить цепи прошлого. Отсюда — полное отрицание всех устоев, на которых держалась старая, дворянская, самодержавно-крепостническая Русь. Долой мрачное прошлое, и да здравствует

---

[1]) Маколей — английский либеральный историк XIX века. Сочинения Маколея были в опале при николаевской цензуре.

светлое, разумное будущее! Каждый человек только тогда достоин этого названия, когда он являет в себе гражданина, общественно-полезного работника. Мы, 60 миллионов русских людей, бедны, потому что мы глупы. Нам надо прежде всего поумнеть, просветиться. Отсюда — горячая вера в знание, в науку, в спасительную силу просвещенного человеческого разума, который должен обновить и устроить жизнь. Воля к жизни есть воля к творчеству, активное устремление к живому делу. Все должны трудиться. Но труд — не ярмо, труд должен быть радостью, наслаждением. 60-е годы не требуют самоотречения, отказа от личной жизни во имя общественной деятельности. Напротив, каждый человек имеет право на счастье, на радости жизни. Надо освободить от цепей не только *общество, но и личность*. Маленькое, звучащее для нас старомодно словечко *эмансипация* [1])—вот ключ к пониманию эпохи. Эмансипация крестьянина от помещика, обывателя от самодержавно-бюрократической опеки, женщины от семейной кабалы, детей от самодурства отцов, мысли от традиций и пережитков прошлого. Это действенное стремление к творчеству жизни, этот боевой порыв, вместе с лихорадкой мысли, придают особый блеск и красоту эпохе 60 годов. Страстное отрицание прошлого, воля к творчеству, требование большого общественного дела, вера в науку, провозглашение достоинства человеческой личности и права на личное счастье — вот наиболее выпуклые черты этой замечательной эпохи.

Внимательно вглядываясь в даль этого незабываемого прошлого, мы видим в нем две движущие силы: общественное мнение и печать.

Молодое общественное мнение, родившееся под гром севастопольских пушек, создавалось передовыми слоями общества и, прежде всего, *разночинцами*. Разночинец, ютившийся где-то на задворках, всюду стушевывавшийся перед дворянином, теперь гордо выступил вперед и заявил о своем праве на жизнь и участие в судьбах родины. Периодическая печать, университеты, различные комитеты, где обсуждались назревшие реформы, наводнились семинаристами, сыновьями

[1]) Освобождение.

попов, дьяконов, мелких чиновников и другими выходцами из мелко-буржуазных низов. Их голоса звучали все громче и смелее. Лохматые, неотесанные, они с сознанием своей силы, порой с дерзкой насмешкой, смотрели на культурного, холеного либерального барина, до сих пор игравшего первую скрипку на всех поприщах общественной деятельности — и мало-по-малу оттесняли его на задний план. Они давали тон и окраску общественному мнению. Общественное мнение, бессознательно отражавшее потребности экономического развития страны, требовало реформ. Оправиться от последствий севастопольского разгрома Россия могла только путем развития своей промышленности. Нарождающаяся капиталистическая промышленность требовала свободных рабочих рук, улучшения средств сообщения и т. д. Освобождение крестьян — в известных пределах — было такой же экономической необходимостью, как постройка железных дорог и смягчение бюрократической опеки в городском хозяйстве. Крестьянская реформа, в общем и целом, была даже в интересах самих помещиков. Правительство пошло навстречу общественному мнению. Устами Александра II оно заявило, что лучше дать реформы сверху, чем дождаться, пока они будут проведены снизу. Самой насущной и неотложной реформой было освобождение крестьян. За ним на очереди стоял целый ряд других: гласные суды, земство, городское самоуправление, всеобщая воинская повинность, отмена телесных наказаний, цензурная реформа, новый университетский устав. Дела было много. Его хватало на всех желающих. Правительство призывало общественные силы притти ему на помощь. В многочисленных комитетах кипела работа по составлению проектов и обсуждению реформ. Во главе руководящего органа по проведению крестьянской реформы правительство поставило либерала Ростовцева [1]).

Истинной выразительницей надежд и чаяний лучшей части общества была печать. Никогда еще в России не было

---

[1]) Этот либеральный бюрократ начал свою карьеру с предательства. В молодости он служил в гвардии и знал о заговоре декабристов. Накануне 14 декабря 1825 г. он донес о заговоре Николаю I и, таким образом, оказал ему большую услугу в борьбе с крамолой.

такой массы газет и журналов, как в 1857—58 году. Одними об'явлениями об изданиях, по свидетельству одного из видных деятелей 60-х годов, уже упомянутого нами Н. В. Шелгунова, можно было оклеить московскую колокольню Ивана Великого. Главными очагами умственного кипения были Петербург и Москва. Москва занималась более теоретическими вопросами, забиралась в глубины русского духа. Здесь был центр славянофилов, отворачивавшихся от культуры «гнилого Запада» и видевших особую правду и красоту в русской народной жизни. В Москве издавались славянофильский «Парус» Ивана Аксакова, «День» и др. В противовес им, противники славянофилов основали «Русский Вестник», либеральный орган во вкусе западно-европейского умеренного либерализма. Но центр умственной жизни был не в сердце России, в Москве, а в мозгу ее — в Петербурге. Во главе петербургской печати в лучший период 60-х годов стоял знакомый нам «Современник», а затем на смену ему явились «Отечественные Записки» и «Русское Слово», с талантливыми публицистами Писаревым и Зайцевым во главе.

Кроме периодических изданий, стали выходить и книги по различным общественным вопросам и вопросам естествознания. Произведения популярных поэтов, особенно Некрасова и Плещеева, также пользовались большим успехом. В 1856 г. сочинения Некрасова за какие-нибудь две недели разошлись в двух тысячах экземпляров. Внимание передового общества привлекала и заграничная печать, где с небывалым блеском выступал высоко-талантливый писатель и революционер А. И. Герцен. Эмигрировав из России в 1847 году, он открыл первую русскую вольную типографию в Лондоне. С 1853 г. он, вместе со своим другом, поэтом Огаревым, стал издавать ежегодник «Полярную Звезду», а с 1857 г. — двухнедельный журнал «Колокол», распространявшийся в России в тысячах экземпляров. «Колокол» пользовался огромным влиянием, его читали «во дворцах и хижинах», его разоблачений боялись сановники, к его голосу прислушивался сам Александр II.

Вся эта масса печатных произведений жадно поглощалась радикально-настроенной интеллигенцией и студенче-

ской молодежью. В боевой публицистике «Современника», в заграничных изданиях Герцена, в поэзии Некрасова, разночинец видел отражение своей воли к жизни. Все звало жить.

«Все живое любит жизнь. Прекрасное есть жизнь» — писал Чернышевский в своей диссертации,

Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай, —

пела некрасовская муза.

«Vivos voco—зову живых!» [1])—звучал густой набат герценовского «Колокола».

И все живое откликалось на этот волнующий призыв. Полные веры в свои общественные идеалы, в силу знания, вставали борцы, принимались за работу.

Друзья, дадим друг другу руки
И смело двинемся вперед,
И пусть под *знаменем науки*
Союз наш крепнет и растет, —

писал поэт Плещеев.

Литературным авангардом этого поколения была революционная публицистика «Современника», а главными его знаменоносцами — руководители «Современника» — Николай Александрович Добролюбов и особенно Николай Гаврилович Чернышевский.

Ни в одном органе печати так не чувствовалась пульсация жизни, как в «Современнике». Все, что было даровито, шло в «Современник». Во главе его, с самого основания, стояли видные петербургские литераторы, поэт Н. А. Некрасов и И. И. Панаев. В числе сотрудников «Современника» была целая плеяда талантливых писателей. Здесь были беллетристы: Тургенев, Лев Толстой, Писемский, Григорович. Поэты: Некрасов, Плещеев, Майков, Фет, Полонский. Драматург Островский, сатирик Щедрин. Ученые, публицисты и критики: Чернышевский, Добролюбов, Шелгунов, Пыпин, Пекарский, Антонович, Елисеев. Душою «Современника» с 1855 г. был Чернышевский. В 1856 г. к нему присоединился Добролюбов.

---

[1]) Эпиграф герценовского «Колокола» — слова, помещенные в заголовке журнала и выражающие его основную идею.

«Современник» был одновременно и боевым органом, и рассадником просвещения. Россия того времени, по меткому выражению Шелгунова, походила на девяностолетнюю бабу, которая за всю жизнь ни разу не выходила за пределы своей деревни. Она была невеждой во всех областях, ее надо было просвещать, «обрабатывать» со всех сторон. «Современник» шел навстречу этим разносторонним потребностям. Он давал обширные статьи из самых разнообразных областей. Огромное большинство статей по вопросам истории, философии, политики, политической экономии, по крестьянскому вопросу принадлежало перу Чернышевского. Такие его работы, как перевод «Политической экономии» Милля, с примечаниями Чернышевского, «Капитал и труд», «Критика философских предубеждений против общинного землевладения» и другие статьи по крестьянскому вопросу, многочисленные очерки по истории Франции, Австрии, Англии, имели огромное образовательное значение для русского общества. Знаменитая статья Чернышевского «Антропологический принцип в философии» [1]), появившаяся в «Современнике» в 1860 г., знакомила читающую публику с основами материалистической философии Фейербаха. В ней автор проводил ту мысль, что человек является частицей природы. Его натура не двойственна, как утверждают идеалисты: физические и духовные явления представляют две стороны одной и той же сущности. Если наука еще не все об'яснила в области духовной жизни человека, то это лишь вопрос времени. Всякий психический процесс есть такое же *естественное* явление, как и физический. Поэтому для об'яснения его нет никакой нужды в *сверх'естественных* силах. Человек должен изгнать из своего мышления все сверх'естественное и обратиться к изучению окружающей его реальной действительности, с целью сознательного воздействия на нее для улучшения своей жизни.

---

[1]) Антропология — наука о человеке, от греческого слова anthropos — человек. Антропологический принцип — принимающий за исходную точку человека, исходящий из интересов человека.

Мы знаем, что Чернышевский написал для «Современника» такие замечательные работы по литературной критике, как «Очерки Гоголевского периода русской литературы» и «Лессинг и его время», а также ряд более мелких статей о Пушкине, Гоголе, Толстом, Григоровиче и других писателях. С появлением Добролюбова, Чернышевский быстро распознал его блестящее дарование и передал ему весь критический отдел. Статьи Добролюбова имели меньшее образовательное значение, чем литературная деятельность Чернышевского. Зато неизмеримо глубоко и благотворно было их влияние на общество в воспитательном смысле. Добролюбов писал не столько о самом произведении печати, сколько по поводу его. Такие статьи, как «Темное царство», «Луч света в темном царстве» (по поводу «Грозы» Островского), рисуя картину животной тупости и самодурства, губящего все светлые задатки, были ярким протестом против «патриархальной» дикости семейного уклада купеческой и мещанской Руси. Статья «Что такое обломовщина?», написанная по поводу романа Гончарова «Обломов», будила общественное самосознание, звала от мертвящего застоя к творческому труду. Не менее значительна статья «Когда же придет настоящий день?», написанная по поводу повести Тургенева «Накануне», и многие другие. После Чернышевского ни один писатель не пользовался таким огромным влиянием, как Добролюбов. Передовая молодежь признавала его одним из своих духовных вождей.

Между обоими руководителями «Современника» была теснейшая идейная связь. Добролюбовв относился к Чернышевскому с благоговейною любовью, был глубоко предан ему, как учителю, как духовному отцу, Чернышевский любил Добролюбова, как сына, ставил его талант гораздо выше своего собственного и говорил, что во всю жизнь он никогда не встречал человека, который бы так правильно понимал вещи, как Добролюбов. Никогда ни малейшая тень недоверия, личного самолюбия не омрачала чистый союз этих двух светлых людей, спаянных взаимным уважением и преданностью общему делу.

ГЛАВА XVII

Эпоха 60-х годов.—Политические идеи «Современника».— Либералы и демократы.—«Свисток».—Разрыв между старыми и новыми сотрудниками «Современника».—Рост влияния «Современника».—Поэзия Некрасова, как отражение идеологии образованного разночинца.

Значение «Современника» не исчерпывалось его широкой просветительной деятельностью. Он воспитывал ***политическую мысль*** общества, постоянно развивая и подталкивая ее в революционном направлении. Выдвигая боевые лозунги, как напр., освобождение крестьян с землею, обсуждая другие законодательные меры, стоявшие на очереди, «Современник» в то же время не давал обществу успокаиваться на реформах. Лишенный возможности, по цензурным условиям, касаться внутренней политики России, Чернышевский постоянно, на примерах западно-европейских стран, выяснял узость и половинчатость либеральных стремлений. Он всюду подчеркивал разницу между либералами, отстаивающими политическую свободу, хотя бы плодами ее могли воспользоваться только высшие классы, и демократами, защищающими интересы народных масс, стремящимися к радикальному улучшению жизни трудящихся. Под «радикалами» и «демократами» Чернышевский часто подразумевал социалистов, которых не мог прямо называть в силу тех же цензурных скорпионов. Так, в своей статье «Борьба партий во Франции» Чернышевский писал:

«У либералов и демократов существенно различны коренные желания, основные побуждения. Демократы имеют в виду по возможности уничтожить преобладание высших классов над низшими в государственном устройстве, с одной стороны, уменьшить силу и богатство высших сосло-

вий, с другой—дать более веса и благосостояния низшим сословиям. Каким путем изменить в этом смысле законы и поддержать новое устройство общества—для них почти все равно. Напротив того, либералы никак не согласятся предоставить перевес в обществе низшим сословиям, потому что эти сословия, по своей необразованности и материальной скудости, равнодушны к интересам, которые выше всего для либеральной партии, именно к праву свободной речи и конституционному устройству. Для демократа наша Сибирь, в которой простонародье пользуется благосостоянием, гораздо выше Англии, в которой большинство народа терпит сильную нужду».

Ту же цель — разоблачение узости либеральных взглядов, ограниченности кругозора «прогрессистов» и пренебрежения их к интересам трудовых масс —преследовала и сатира Добролюбова. При «Современнике» издавался сатирический листок, под названием «Свисток». В 4-м номере «Свистка» (за 1859 г.) Добролюбов поместил остроумную и злую пародию[1]) на знаменитое стихотворение Пушкина «Поэт и чернь».

Она начинается словами:

Прогресс стопою благородной
Шел тихо торною стезей...

Голодный народ ропщет, отказываясь итти за Прогрессом:

«Что даст он нам? Чему он служит?
Зачем мы с ним теперь идем?
И нынче всяк, как прежде, тужит,
И нынче с голоду мы мрем»—

Возмущенный Прогресс мечет громы и молнии:

«Молчи, безумная толпа!
Ты любишь наедаться сыто,
Но к высшей правде ты слепа,
Покамест брюхо не набито!

---

[1]) Пародия — вид поэтического творчества, который, заимствуя форму данного литературного произведения, иронически искажает его содержание.

Скажи какую хочешь речь
Тебе с парламентской трибуны,
Но хлеб тебе коль нечем печь,
То ты презришь ее перуны
И не поймешь ее красот!»

Но толпа стоит на своем:

«Нас натощак не убеждай,
Но обеспечь для нас работу
И честно плату выдавай;
Оценим мы твою заботу,
Пойдем в палату заседать—
И будем речи вдохновенной
О благоденствии вселенной
Светло и радостно внимать!»

Разгневанный такой отсталостью, таким упорным непониманием, Прогресс надменно бросает толпе:

«Подите прочь! Какое дело
Прогрессу мирному до вас!
Жужжанье ваше надоело:
Смирите ваш строптивый глас!
Прогресс—совсем не богадельня,
Он—служба будущим векам,
Не остановится бесцельно
Он для пособья беднякам...»

Беспощадные насмешки Чернышевского и Добролюбова над либералами отнюдь не означали их отрицательного отношения к политической борьбе. Они нападали на поклонников «прогресса» лишь за то, что те придавали самостоятельное, самодовлеющее значение политическим «свободам», выгодным, главным образом, для «просвещеннных классов», и совершенно пренебрегали интересами «простонародья», под которым Чернышевский разумел рабочих и крестьян. Вожди «Современника» не отрицали значения политической борьбы. Напротив, Чернышевский, в своих ежемесячных журнальных обозрениях, весьма много уделял внимания политическим событиям в Европе. Однако, они, несомненно, недооценивали значения «политики». Здесь в их стройном и последовательном миросозерцании была некоторая брешь. Эпохе 60-х годов не дано было разрешить того

противоречия между социализмом, с одной стороны, и политической борьбой, с другой, которое лишь значительно позже, в 80-е годы, получило блестящее разрешение в работах русских марксистов [1]. При всех своих огромных дарованиях и революционном чутье, ни Чернышевский, ни Добролюбов еще не пришли к сознанию, что борьба за политические права является могущественным средством к достижению цели—экономического освобождения масс.

Расхождение между либералами и «демократами» или «радикалами» 60-х годов проливает яркий свет на разрыв между старыми и новыми сотрудниками «Современника». Просвещенные либеральные писатели, игравшие руководящую роль в «Современнике» до прихода Чернышевского и Добролюбова, с неудовольствием смотрели на быстро растущее влияние новых сотрудников. Они отзывались о «семинаристах» с пренебрежением, уверяли, что их статьи навевают непроходимую скуку, что от них «мертвечиной несет». Особенно негодовал самый образованный из старых сотрудников «Современника» Тургенев, сознававший, что дерзкие «семинаристы» далеко затмевают его знанием иностранной литературы и с горечью видевший, как быстро отвоевывают они у него симпатии читающей публики. Один чуткий Некрасов постоянно защищал Чернышевского и Добролюбова. Еще в 1856 г. он писал Тургеневу: «Чернышевский просто молодец. Помяни мое слово, что это будущий русский журналист почище меня грешного». Через полтора года Некрасов пишет тому же Тургеневу: «Журнал наш идет отлично—во весь год подписка продолжалась, и мы теперь имеем 4.700 подписчиков. Думаю, что много в этом «Современник» обязан Чернышевскому». О Добролюбове Некрасов отзывался восторженно: «Это такая светлая личность, что, несмотря на его молодость, невольно проникаешься к нему уважением... Это самородок—можно подумать, что лучшие профессора руководили его воспитанием. Через 10 лет он будет иметь такое же влияние в русской литературе, как Белинский».

[1]) Особенно самого выдающегося из них, Г. В. Плеханова. (См. его «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия» и др.).

Но Тургенев, Панаев и другие заходящие светила «Современника» не сдавались. Им не нравился независимый образ мыслей «семинаристов». Они не переставали резко нападать на Чернышевского и Добролюбова за их материалистические и социалистические «разрушительные тенденции» и насмехаться над их плебейской внешностью.

«Однажды за обедом у Некрасова Тургенев сказал:

— Однако, «Современник» скоро сделается исключительно семинарским журналом: что ни статья, то семинарист оказывается автором!

— Не все ли равно, кто бы ни написал статью — раз она дельная, — возразил Некрасов.

— Уверяю вас, господа, что я даже в бане сейчас узнаю семинариста, — сказал один из присутствующих литераторов: — запах деревянного масла и копоти чувствуется в присутствии семинариста, лампы начинают тускло гореть от недостатка кислорода, и дышать становится тяжело.

— И откуда появились эти семинаристы? Как случилось, что они наводнили литературу? — спросил друг Тургенева Анненков.

— Дело в том, что теперь не то время, что раньше,—ответил Некрасов.—Теперь публика требует освещения общественных вопросов, какого мы ей дать не можем. Да и в других отношениях между ними и нами огромная разница, надо сознаться. Под их репутацию в частной жизни самый строгий нравственный судья не подпустит иголочки, а под нашу можно бревно подложить. Они в своих нравственных устоях тверды, как сталь, а мы—люди расшатанные» [1]).

В 1859 г. Тургенев, оскорбившись за резкий отзыв Чернышевского о «пряничных мужиках» Тургенева и Григоровича, в которых его критик не видел жизненной правды, порвал с «Современником» и перешел в либеральный «Русский Вестник» Каткова [2]). За ним ушли его друзья и едино-

---

[1]) А. Я. Головачева-Панаева. «Воспоминания». Автор «Воспоминаний»—жена одного из издателей «Современника»—И. Панаева и близкий друг Некрасова.

[2]) М. Н. Катков впоследствии прославился, как реакционный публицист, издатель черносотенных «Московских Ведомостей».

мышленники. «Современник» окончательно превратился в орган Чернышевского и Добролюбова[1]).

Влияние обоих писателей, особенно Чернышевского, было огромно. Если статьи Добролюбова читались и перечитывались с восторгом, то перед Чернышевским благоговели, его именем клялись, как правоверный магометанин клянется именем Аллаха. Работы Чернышевского поражали огромными и разносторонними знаниями, глубиной постановки вопросов. В статьях Добролюбова было больше литературного блеска. В полемике с противниками перо его становилось язвительным и беспощадным. Недаром Тургенев однажды сказал Чернышевскому: «Вы — просто ядовитая

[1]) Вражда между либералами и «радикалами» 60-х годов нашла характерное выражение в отношениях между Чернышевским и Герценом. Последний был представителем старшего поколения социалистической интеллигенции, которая в 60-е годы гораздо ближе стояла к либералам, чем к революционерам. Просвещенный выходец из дворянской среды Герцен органически не мог понять революционных стремлений разночинцев. В статье «Весьма опасно», напечатанной в № 44 «Колокола» за 1859 год, он резко нападал на Чернышевского и Добролюбова за насмешки над либералами и говорил, что они «своим тоном способны довести ангела до драки и святого до проклятья». В том же году Чернышевский ездил в Лондон для об'яснения с Герценом. Но свидание нисколько не смягчило разногласий между обоими писателями, являвшимися представителями двух различных поколений. Чернышевский нападал на Герцена за чисто обличительное направление его «Колокола», который, по словам Николая Гавриловича, мог принести только вред русскому освободительному движению. «Если бы наше правительство, говорил Герцену Чернышевский, было чуточку поумнее, оно благодарило бы вас за ваши обличения; эти обличения дают ему возможность держать своих агентов в узде, в несколько приличном виде, оставляя в то же время государственный строй неприкосновенным. А суть-то дела именно в строе—не в агентах. Вам следовало бы выставить определенную политическую программу—скажем, конституционную, или республиканскую, или социалистическую, и затем всякое обличение явилось бы подтверждением основных требований вашей программы; вы неустанно повторяли бы свое: «Карфаген должен быть разрушен». — С. Стахевич. «Материалы для биографии Н. Г. Чернышевского». Цитировано по М. Лемке—«Политические процессы Писарева, Михайлова и Чернышевского», СПБ, 1907, стр. 223. Уже из этого разговора видно, что Чернышевский не относился равнодушно к вопросам политики.

змея, а Добролюбов — змея очковая». Могучая, стихийная сила таилась в Добролюбове. Молодой писатель сам это сознавал.

В одном из номеров «Свистка» он писал:

Плясать бы заставил я дубы,
И жалких затворников высвистнул к воле,
Когда б на морозе не трескались губы,
И свист мой порою не стоил мне боли...

Журнальная деятельность обоих руководителей «Современника» протекала в тесном единении. Своим умом и талантом, своей горячей преданностью общему делу, они возвели значение «Современника» на небывалую высоту. Последний стал лучшим выразителем стремлений передовой части русской интеллигенции, образованных разночинцев. Его углубленная критика основ буржуазного общества, его резкие разоблачения консервативных и либеральных взглядов, его горячая проповедь материалистических и социалистических идей глубоко проникали в умы.

Если в публицистике лучшими идейными выразителями стремлений образованного разночинца были Чернышевский и Добролюбов, то в области поэзии его психология находила верное и исчерпывающее отражение в творчестве Некрасова. Поэзия Некрасова будила в нем гражданские струны, звала его к борьбе. С глубоким чувством читал и перечитывал разночинец волнующие призывы поэта в стихотворении «Поэт и гражданин»:

Не может сын глядеть спокойно,
На горе матери родной,
Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой,
Ему нет горше укоризны...
Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно;
Умрешь не даром: дело прочно,
Когда под ним струится кровь.

Некрасовская муза рисовала перед лучшими людьми 60-х годов два пути:

Средь мира дольнего,
Для сердца вольного
Есть два пути...
Взвесь силу гордую,
Взвесь волю твердую,
Каким итти...

Разночинец знал, какой путь ему избрать, «каким итти». Вместе с героем одной из лучших некрасовских поэм он готов был воскликнуть:

От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!..

(«Рыцарь на час»).

Он всем сердцем стремился к тем, для кого

Доля народа,
Счастье его,
Свет и свобода
Прежде всего...

(«Кому на Руси жить хорошо»).

Некрасовская муза мести и печали развертывала перед мыслящим сыном своей родины безконечные картины народного горя.

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песнью зовется,
То бурлаки идут бичевой...
Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля.
Где народ, там и стон...

(«Размышления у парадного под'езда»).

И любящий сын не мог «глядеть спокойно на горе матери родной». Он рвался на служение народу, рвался освободить его от цепей, наложенных на него крепостным порядком. Раскрепощение русского народа — такова первая и главнейшая задача, к которой призывала лучших людей 60-х годов поэзия Некрасова. Ее голос и голос передовой публицистики сливались в стройный, созвучный хор, находивший живой отклик в душе радикально настроенного разночинца.

ГЛАВА XVIII

Эпоха 60-х годов. — Идейное брожение в широких слоях общества.—Воскресные школы.—Либеральные профессора.— Появление женщин в университете. — Вопрос о женской эмансипации. — Борьба старых и новых веяний в семейном быту.—Отцы и дети.—«Нигилисты» и охранители.

Публицистика «Современника» не ограничивалась постановкой и разработкой ближайшей и неотложной задачи, которую указывала русскому обществу вся передовая печать,—раскрепощения крестьян. Вслед за этой задачей «Современник» выдвигал ряд других, более или менее отдаленных, но полных огромного значения: раскрепощение всей страны, раскрепощение личности, наконец, переустройство всего общества на социалистических началах. «Современник» не только учил, но и воспитывал. Он боролся с косностью, с инерцией общественной мысли. Ставя перед ней широкие задания, он, однако, не давал ей успокоиться на том, что задания эти в данный момент неосуществимы, что они являются «музыкой будущего», делом грядущих поколений. «Современник» в лице Чернышевского и Добролюбова требовал от общества немедленно приступить к работе, требовал от каждого члена его живого дела, по мере сил и способностей, во имя общественных идеалов. Эта пропаганда живого дела глубоко проникла в толщу общества. Идейное брожение, охватившее широкие общественные круги в 60-е годы, выливалось в разнообразные формы. Воскресные школы росли как грибы. Наряду с лохматыми разночинцами, в них преподавали светские дамы и блестящие офицеры. На университетской кафедре появились молодые профессора, которые заговорили неслыханным до того языком. Так, в 1866 г. кафедра истории в казанском уни-

верситете была занята молодым историком Щаповым. Свою вступительную лекцию новый профессор начал следующими словами:

«Не с мыслью о государственности, не с идеей централизации вступаю я на эту кафедру, а с идеей *народности и областности*». Эти слова не только привели в восторг присутствовавшую публику, но и облетели всю Россию. По словам Н. В. Шелгунова, первая лекция Щапова произвела в Казани целое землетрясение, колебания которого распространились по всей России.

Осенью 1859 года в петербургском университете впервые появились женщины. Вопрос о допущении женщин к высшему образованию вызывал страстные споры в печати и обществе. Правительство и официальные сферы относились к этому вопросу резко отрицательно. Это отношение выразилось в следующей формуле попечителя дерптского университета фон-Брадке:

«Женский пол, по особенностям его конструкции и умственных и душевных его способностей, неспособен к изучению многих наук, доступных мужчине».

Такой взгляд встречал сочувствие и поддержку на страницах не только консервативной, но порой и либеральной печати. Славянофильский «День» Ив. Аксакова, либеральный «Русский Вестник» Каткова помещали статьи против высшего образования женщин. Одна радикальная печать горячо приветствовала стремление женщин к образованию и независимости. «Женщине дорогу!»—провозглашали радикалы. Насколько трудно было женщине пробивать себе дорогу, насколько диковинным казался в то время каждый шаг ее на пути к разумному труду, видно из заметки, помещенной в 1862 году даже в таком серьезном органе, как «Современник». Сообщая читателям об открытии книжного магазина Серно-Соловьевича, один из издателей «Современника», Панаев, писал:

«Но, что всего замечательнее, в магазине г. Соловьевича текущими конторскими делами будет заниматься дама, принадлежащая к обществу, которая, отвергнув общественные предрассудки, решилась взять на себя эту обязанность

для того, чтобы быть полезной своему семейству. Эта новость—самая утешительная из наших новостей и имеющая большое значение».

Не смущаясь хором приветственных и враждебных голосов, женщина шла к своей цели. Скромно, но настойчиво она пробивала себе дорогу через все препятствия. В недалеком будущем своей энергичной неутомимой деятельностью на различных поприщах труда, особенно в медицине, она сумела доказать своим гонителям и клеветникам, насколько лживы были их уверения [1]).

Революционизирующее влияние передовых идей 60-х годов отразилось и на самой консервативной из всех сторон общественного уклада — на семейном быте. Идеи свободы, равенства, гуманности проникали в семью. Семейные отношения, в общем и целом, стали проще, чище, человечнее. Многие браки, державшиеся на традиции и лицемерии, распались. Общество стало более терпимо смотреть на разводы. Внебрачные дети перестали быть предметом жестоких преследований, перед ними уже не закрывалась дорога к образованию. Семейный деспотизм и самодурство стали встречать всеобщее осуждение. Воспоминания Н. В. Шелгунова рисуют ломку семейных отношений в его время в следующих строках: «Когда я был маленьким, нас учили говорить: «папенька» и «маменька», «вы». Потом: «папа», «мама», «вы», и наконец—«папа», «мама», «ты»—вот краткая и наглядная история вопроса об отцах и детях за 60-е годы» [2]).

Дело, разумеется, не обходилось без семейных драм. Из представителей старшего поколения влиянию новых идей

---

[1]) Первыми русскими женщинами, получившими звание врачей, были Руднева-Кашеварова, Суслова, Корсини и Бокова. Последняя послужила прообразом Веры Павловны в романе Чернышевского «Что делать», о котором речь ниже. Мария Александровна Бокова, разойдясь со своим мужем, доктором П. И. Боковым, стала женой его друга, известного физиолога И. М. Сеченова. Боков и Сеченов изображены в «Что делать» под именем Лопухова и Кирсанова.

[2]) Сочинения Н. В. Шелгунова, том 2, стр. 667 «Из прошлого и настоящего».

поддавались лишь наиболее чуткие и отзывчивые элементы. Другие — и их было большинство — выдвинули против опасных «новшеств» целый арсенал предвзятых мнений, отживших традиций, закоренелых предрассудков. Во многих семьях начался разлад между отцами и детьми. В начале 60-х годов появился роман И. С. Тургенева «Отцы и дети». В этом произведении изображалась борьба двух поколений. Вокруг романа популярного писателя разгорелись ожесточенные споры. Некоторая недоговоренность и противоречивость в изображении главного героя, Базарова, подавали повод к различным толкованиям. В лице Базарова многие видели одного из лучших представителей радикального направления. Но большинство молодежи усматривало в нем клевету на молодое поколение. Такому взгляду немало способствовало и проскользнувшее в роман неудачное словечко «нигилист» — так Тургенев назвал своего героя. Это словечко было подхвачено реакционерами и скоро стало нарицательным для обозначения «радикала» [1]). Противники новых веяний злорадно прислушивались ко всему, что говорилось и писалось против Базарова. Они об'явили роман Тургенева литературным манифестом против ненавистных «нигилистов». «Отцы и дети» были прочитаны людьми, никогда не бравшими книги в руки. «Какой-нибудь бравый генерал благосклонно хвалил автора: «Молодец сочинитель! Ловко ошельмовал этих лохматых господчиков и стриженых девок! Придумал кличку—нигилист—ведь это значит—глист! Ему бы за это надо чин дать» [2]).

[1]) Нигилист — происходит от латинского слова «nihil» — ничего, т.-е. ничего не признающий, все отрицающий. Слово «нигилист» впервые было пущено в ход еще публицистом 30-х годов Надеждиным и насмешливо подхвачено Добролюбовым. Брошенная радикалам и демократам 60-х годов кличка «нигилист» обличала их якобы в отрицании всяких авторитетов и в отсутствии всяких идеалов. Преклонение таких шестидесятников как, Чернышевский и Добролюбов, перед Фурье, Фейербахом и другими европейскими авторитетами, высокие общественные идеалы, которые они выдвигали перед радикальной интеллигенцией,—показывают, насколько название «нигилист» не соответствовало облику людей, к которым оно относилось.

[2]) А. Я. Головачева-Панаева—«Воспоминания».

Крылатое словечко «нигилист» стало настоящим жупелом. Для девушки достаточно было стриженых волос, барашковой шапки или отсутствия кринолина, чтобы заслужить репутацию «нигилистки». Подозрение в нигилизме падало на людей по самым разнообразным поводам — столь же неожиданным, сколь и невинным. В своих интересных воспоминаниях А. Я. Головачева-Панаева рассказывает о пожилой, добродетельной чиновнице, которая заподозрила своего старого мужа в нигилизме только потому, что он на Пасху отказался делать поздравительные визиты. «Стар стал, матушка, тяжело трепаться в мои годы», сказал он жене. Перепуганная толками о нигилистах, потрясенная «вольнодумством» мужа, бедная женщина так всполошилась, что выгнала из дому племянника, ни в чем неповинного студента.

Страх перед нигилистами приводил к курьезам. Избалованные барышни угрожали родителям, что убегут из дому и сделаются нигилистками, если им не сошьют нарядов.

Но порой были и серьезные трагедии. Молодая девушка, единственная дочь, хочет ехать учиться. Мать не пускает ее из боязни нигилистов. Происходит ссора; мать прогоняет дочь из дому. Девушка кое-как пробирается в Петербург. С полгода бьется она, как рыба об лед, бегая по урокам в пальтишке, подбитом ветром и дырявой обуви. Наконец, она сваливается в жестокой чахотке. Мать, узнав о тяжкой болезни дочери, прощает ее, берет к себе и начинает лечить. Но уже поздно: девушка скоро умирает. Потрясенная потерей любимой дочери и сознанием своей вины, мать сходит с ума.

Дело не всегда кончалось так трагично. Но разлад между отцами и детьми в провинциальных семьях стал бытовым явлением. Не одна девушка, стосковавшаяся в душной атмосфере родительского дома, с восторгом читала и перечитывала песню из некрасовской «Медвежьей охоты»:

Отпусти меня, родная,
Отпусти, не споря...
Я не травка полевая,
Я взросла у моря.

Не рыбацкий парус малый—
Корабли мне снятся...
Скучно! В этой жизни вялой
Дни так долго длятся...
Здесь, как в клетке, заперта я,
Сон кругом глубокий.
Отпусти меня, родная,
На простор широкий!...

Как много говорили эти строки ее сердцу и уму! В своем стремлении вырваться, преодолеть препятствия, которые ставила ей любвеобильная родительская опека, девушка не останавливалась перед «героическими» средствами: она убегала из дому или вступала в фиктивный брак с целью получить свободу. Вырвавшись из тесных стен родительского дома, она уезжала в столицу, сближалась со студенческой молодежью, приобщалась к общественной жизни и скоро, как и вся молодежь, становилась страстной поклонницей Белинского, Герцена, Добролюбова и, особенно, Чернышевского. Если ей удавалось попасть слушательницей на медицинский факультет или педагогические курсы, она была счастлива, мечтая о своей будущей общественной деятельности врача или педагога. Если это ей не удавалось, она пополняла свое образование, читала, думала и готовилась к жизни. Задумываясь над своим будущим, она вместе со всей передовой молодежью задавалась вопросом: где и как работать, когда кончится этот подготовительный период? Что делать, чтобы приносить наибольшую пользу обществу? Что делать? Ясный и исчерпывающий ответ на этот вопрос, в самой увлекательной форме, передовая молодежь 60-х годов нашла в произведении своего любимого писателя. Произведению этому было суждено увидеть свет в необычайной обстановке — в одиночной камере Петропавловской крепости. Но об этом ниже.

ГЛАВА XIX

Личная жизнь Чернышевского в период 1857—1861 гг.— Манифест 19 февраля 1861 г.—Крестьянские волнения.— «Бунт на коленях» и расправа в Бездне.—Студенческие беспорядки.—Смерть Добролюбова.—Появление революционных прокламаций.—«Великорусс».—«К молодому поколению».— «Молодая Россия». — Петербургские пожары 1862 года. — Торжество реакции.

Влияние Чернышевского все росло. Имя его пользовалось исключительным авторитетом среди студенческой молодежи и передовой интеллигенции. Этому немало способствовало личное обаяние Николая Гавриловича. Ни громкая слава, ни блестящие литературные успехи, ни материальная обеспеченность не изменили его нравственного облика. Он радовался своему большому заработку лишь потому, что последний давал ему возможность окружить довольством и комфортом любимую женщину. У Ольги Сократовны появилась уютная обстановка, свои лошади, ложа в опере. Молодая женщина веселилась и наслаждалась жизнью со свойственной ей беспечностью и легкомыслием. Она блистала на балах и спектаклях, устраивала у себя вечеринки, где вместе с молодежью танцовала и хохотала до-упаду. Но образ жизни Николая Гавриловича не изменился ни на волос. Скромный, нетребовательный, весь ушедший в свое дело, он нередко дни и ночи напролет просиживал за работой, забывая об еде и отдыхе. Он по нескольку дней сряду не выходил из своего кабинета, пока не являлась Ольга Сократовна со строгим внушением. «Голубочка, уверяю, я гулял», пытался возразить провинившийся. Но «голубочка» была неумолима. Несмотря на протесты, она уводила Николая Гавриловича подышать свежим воздухом.

Чрезмерное умственное напряжение не утомляло Чернышевского. Умственный труд был его стихией, его наслаждением. После длинного рабочего дня он был всегда весел и спокоен. Трудоспособность Николая Гавриловича была поистине изумительна. Его часто заставали за двумя работами одновременно: он диктовал своему секретарю перевод «Всемирной истории» Шлоссера и в то же время быстро писал очередную статью для «Современника». Чрезвычайно мягкий по натуре, простой и приветливый в обращении, Чернышевский был так же снисходителен к другим, как строг и требователен к себе. Он постоянно оправдывал ошибки других, склонен был преувеличивать малейшие достоинства окружающих. В своей «голубочке» он видел образец ума и энергии и совершенно не замечал ее недостатков...

Над собой Николай Гаврилович любил подшучивать. Он часто иронизировал над своей рассеянностью и особенно над своей неловкостью, приобретенной годами сидячей кабинетной работы. Куда девался проворный и ловкий мальчик Николя, одерживавший победы в играх и состязаниях с дворовыми мальчиками по «греко-римскому» образцу! Он превратился в достаточно неуклюжего человека, вялого и флегматичного на вид. Но внешняя вялость и холодность, манера отделываться от распросов шутками, были лишь маской, прикрывавшей глубокую, сосредоточенную работу мысли и чувства. Этой маской Чернышевский защищался от вторжения в тайники его внутренней жизни. Под покровом холодности и равнодушия билось горячее сердце, полное самоотверженной любви. В глубине души зрелый Николай Гаврилович оставался тем же Николей, который когда-то, на берегах родной Волги, мечтал о счастьи человечества, с юношеским жаром стремился отдать свою жизнь на служение людям. От него веяло неотразимым обаянием светлого ума и кристально-чистого сердца. Когда этот рыжеватый, сутуловатый человек, с нескладными «бурсацкими» манерами, за которые так доставалось ему от Ольги Сократовны, выходил на 5 минут из своего кабинета, чтобы «поразмяться», и окидывал собравшуюся молодежь своими серыми, близорукими глазами, в них светилась такая детски-

ясная и чистая душа, что всем становилось теплее... Врожденная близорукость Чернышевского, усилившаяся от постоянной напряженной работы, доходила до колоссальных размеров. Раз как-то, придя к А. Я. Головачевой-Панаевой, он вежливо раскланялся с ее шубой, брошенной на стул, очевидно, приняв ее за даму. В другой раз возле него на стуле лежала муфта хозяйки дома и он, разговаривая, все время нежно гладил ее, вообразив, что это кошка. Когда выяснилось недоразумение, Николай Гаврилович первый хохотал над своей рассеянностью и близорукостью.

Зима 1860—61 г. была поворотным пунктом в истории 60-х годов. Медовый месяц русской общественности близился к концу. Для Чернышевского это не было неожиданностью. Своим острым умом он давно предвидел ход событий и свою собственную судьбу. Уже через 3—4 года после женитьбы, он не раз задумывался над тем, что ждет Ольгу Сократовну и его маленького первенца Сашу, в случае его ареста. Избалованность и легкомыслие молодой женщины не сулили ничего хорошего. Желая постепенно подготовить ее к будущей перемене судьбы, Николай Гаврилович однажды вошел к ней, взял ее за руку и заговорил мягким, любовным голосом:

«Милая моя голубочка, ты сядь подле меня и не огорчись тем, что я скажу. Ты знаешь, у меня характер мнительный, робкий. Поэтому не придавай важности моим словам: ты знаешь, у нас все тихо, и я думаю о будущем только потому, что я трус. Воображаю то, чего, может быть, и не будет. Ты знаешь, я держу себя осторожно. Если бы я не был трус, то и нечего мне было бы думать ни о тебе, ни о Саше. Ты знаешь, я не думаю ни о своих глазах, ни о своем здоровье: за мое здоровье и за глаза ты напрасно опасаешься, поверь мне. Одно может повредить тебе с Сашей: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобой ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два-три года— и будут считать меня человеком со влиянием. Пока все тихо, то ничего. Но, как я говорю и сама ты знаешь, дела русского народа плохи. Перед нашею свадьбой я говорил

тебе и сам думал, что говорю пустяки. Но чем дальше идет время, тем виднее, что надобно было тогда предупредить тебя. Я не жду пока ровно ничего неприятного тебе. Но не могу не видеть, что через несколько времени...»

«Так ты вот о чем!»—Ольга Сократовна побледнела— «Молчи, не смей говорить!»—она вскочила и зажала ему рот. «Не хочу! Молчи! Я слышала раз—довольно, не смей!» И она убежала [1]).

Николай Гаврилович пошел за ней. Она прижимала сына к груди и рыдала над ним: «Саша, мы с тобой будем сиротами!»

Но грустное настроение недолго держалось у Ольги Сократовны. Привыкшая беспечно порхать и радоваться жизни, она неспособна была проникнуть в мысль мужа и задуматься над ней серьезно. Скоро слезы ее высохли. К вечеру она уже весело наряжалась, собираясь в оперу. Николай Гаврилович отказался от намерения подготовить ее к грозе, приближение которой он чуял.

Итак, Чернышевский своим проницательным взором давно уже видел, что на политическом горизонте сгущаются тучи. Правительство мало-по-малу затягивало вожжи. Руководителем крестьянской реформы на место либерального Ростовцева был назначен крепостник Панин. К концу зимы 1860 года всем стало ясно, что «дела русского народа плохи».

19 февраля 1861 г. был дан знаменитый манифест об освобождении крестьян. Опубликованное вслед за ним «Положение о временнообязанных крестьянах», разумеется, не могло удовлетворить крестьян. Это понимало и само правительство, задолго до проведения реформы. Еще в 1856 году Александр II, рассмотрев докладную записку министра внутренних дел, в которой говорилось о сочувствии со стороны народа освободительным намерениям правительства, положил на ней многозначительную резолюцию:

«Все это так, пока народ находится в ожидании. Но кто

---

[1]) См. автобиографический роман Чернышевского «Пролог пролога». Соч. Н. Г. Чернышевского. СПБ, 1906, том X, стр. 59—60.

может поручиться, что, когда новое положение будет приводиться в исполнение, и народ увидит, что ожидания его, т. е. *свобода по его разумению,* не сбылись,—не настанет для него момент разочарования? Тогда уже будет поздно посылать отсюда особых лиц для усмирения. Надобно, чтобы они были уже на местах. Если бог помилует, и все останется спокойно, тогда можно будет отозвать всех временных генерал-губернаторов, и все войдет опять в законную колею».

Опасения предусмотрительного венценосца оправдались: вслед за опубликованием царского манифеста понадобились и военные генерал-губернаторы, и розги, и даже применение вооруженной силы. Народ весьма скоро убедился, что получил свободу отнюдь не «по-своему разумению». Освобожденные не только от крепостной зависимости, но и нередко от лучшей части земли, крестьяне подпали под новое ярмо, в виде сложной системы выкупных платежей. В уме «временнообязанного» мужика не укладывалось, каким образом он мог получить «свободу» и в то же время должен по-прежнему платить оброк или ходить на барщину. Это противоречие крестьянин разрешал по-своему: об'явленная манифестом воля—не настоящая, а дворянская; настоящую царскую волю испортили помещики. Придет час, и крестьяне получат ее, подлинную волю, от самого царя! На этой почве среди крестьян возникало брожение, вплоть до открытых бунтов. Царские чиновники раз'ясняли ослушникам истинное значение манифеста при помощи старого, испытанного средства — розги. Положение 19 февраля оставило розгу в неприкосновенности. При обсуждении вопроса об отмене телесного наказания в редакционной комиссии по проведению крестьянской реформы, несмотря на пламенную защиту розги «кнутофилами» и «розголюбами», голоса разделились поровну. Перевес защитникам розги дал голос председателя комиссии, ярого крепостника Панина. Таким образом, розга осталась незыблемой. Благодетельная лоза, сопутствовавшая крестьянину на его тернистом пути до 19 февраля 1861 г., напутствовала его и на новый путь.

Никогда еще, по словам современников, так много не секли крестьян, как в первые 2—3 месяца после об'явления

«воли». Среди крестьян даже стали ходить слухи, что «Положение» предписывает пороть всякого мужика, который осмелится прочесть этот документ. Но розга не всегда оказывалась достаточным средством для успокоения крестьянских волнений. Весьма часто приходилось прибегать и к военной силе, при чем на поле сражения оставались десятки убитых и раненых крестьян. Такие усмирения были в Подольской, Тамбовской, Пензенской и других губерниях. Всего в 1861 г. было 784 крестьянских волнений.

Особенно кровавый характер приняло усмирение крестьянских волнений в селе Бездне, Казанской губернии. Здесь сектант Антон Петров, изучая «Положение» 19 февраля, пришел к выводу, что крестьяне освобождены еще с 1858 года, а господа утаивали волю. Петров убеждал своих односельчан не ходить на барщину и не платить оброка. В Бездну была вызвана военная команда. Крестьяне заперли Петрова в избу и окружили ее плотным кольцом. Начался так называемый «бунт на коленях». На требование выдать своего вожака, крестьяне отвечали весьма смиренно, но решительно отказались выдать Петрова. При этом они упорно повторяли, что бунтовать и не думают, а только стоят за «настоящую» волю, дарованную царем. Раздался ружейный залп, и сотни убитых и раненых крестьян усеяли свою землю: теперь она была полита не только их потом, но и кровью. Убитых оказалось 59 человек, раненых около 200... Антон Петров был расстрелян по приговору военно-полевого суда. Эта кровавая расправа, наконец, убедила крестьян, что манифест был «настоящий».

Брожение в «освобожденной» деревне наводило ужас на правительственные сферы. Поворот в сторону реакции становился неизбежным. Весна русской общественности кончилась. Для литературы настали черные дни. Один из видных современников, А. В. Никитенко, заносит в свой дневник зимою 1861 года: «Для литературы настала эпоха весьма неприятная. Путятин [1]) и К°, кажется, помешались на том,

---

[1]) Министр народного просвещения.

что все революции на свете бывают от литературы» [1]). Для обуздания литературы был восстановлен «негласный» цензурный комитет, упраздненный при вступлении на престол Александра II. На печать и писателей посыпались предупреждения, запрещения, аресты и высылки в места столь и не столь отдаленные. Перья доносчиков бойко забегали по бумаге. Петропавловская крепость наполнилась новыми жильцами. Среди них были сотни студентов.

Осенью 1861 г. в университетах были введены новые правила, которыми воспрещались студенческие сходки, закрывались кассы взаимопомощи и библиотеки и вводилась обязательная плата за слушание лекций. Среди студенческой молодежи начались волнения, вылившиеся в форму демонстраций, бойкота реакционных профессоров и т. д. Либеральные профессора вышли в отставку. В числе их был наш старый знакомый, Александр Николаевич Пыпин, сотрудник «Современника» и профессор истории литературы в петербургском университете. Молодежь перестала посещать лекции. Правительство ответило закрытием петербургского, московского и других университетов и арестами студентов. 300 человек студентов было посажено в Петропавловскую крепость. На студенческую молодежь посыпались резкие нападки, обвинения в нежелании учиться. Чернышевский на страницах «Современника» горячо выступил на защиту молодежи.

В числе заключенных в Петропавловской крепости находился в то время популярный среди молодежи поэт и революционер М. И. Михайлов, университетский товарищ Чернышевского. Он был арестован за революционное воззвание и ожидал суровой кары. Узнав о его пребывании в крепости, студенты послали ему горячий привет. Поэт откликнулся

---

[1]) А. В. Никитенко—умеренно-либеральный профессор и цензор. Оставил после себя замечательный дневник, веденный им с 14-летнего возраста, в течение 50 лет, под заглавием: «Моя повесть о самом себе и чему свидетель в жизни был». Дневник Никитенко содержит много ценного культурно-исторического материала. Автор его добросовестно заносил все события, изо дня в день, освещая их с весьма умеренной, часто реакционной точки зрения.

стихотворением «К молодому поколению», которое скоро было переложено на музыку и стало одной из самых любимых песен в кружках студенческой молодежи:

Крепко, дружно вас в об'ятья
Всех бы, братья, заключил
И надежды, и проклятья,
С вами, братья, разделил.

Но тупая сила злобы
Вон из братского кружка
Гонит в снежные сугробы,
В мрак и холод рудника.

Но и там, на зло гоненью,
Веру лучшую мою
В молодое поколенье
Свято в сердце сохраню.

В безотрадной мгле изгнанья
Твердо буду света ждать,
И в душе одно желанье,
Как молитву повторять:

Будь борьба успешней ваша,
Встреть в борьбе победа вас,
И минуй вас эта чаша,
Отравляющая нас!..

17 ноября 1861 года умер от чахотки Добролюбов, 25 лет от роду. Чернышевский, пораженный скорбью, посвятил ему в «Современнике» некролог, в котором изображал короткую жизнь молодого писателя, полную труда и лишений, как подвиг служения родине и родной литературе. Добролюбов был болен уже 2 года, но никакими уговорами нельзя было заставить его поберечь себя. «Не могу сидеть, сложа руки, когда столько кругом дела», говорил он. Наконец, зимою 1860 года Чернышевскому с трудом удалось убедить его уехать за границу лечиться. Но Добролюбов скоро вернулся, нисколько не поправившись. Он не мог жить без журнала, без общественной деятельности. «Ему было всего 25 лет, но уже 4 года он стоял во главе русской литературы»,—писал Чернышевский, со свойственной ему скромностью забывая о себе. «Не труд убивал его—он работал беспримерно легко—его убивала гражданская скорбь. Внешние обстоятельства ускорили его смерть...»

Некрасов отозвался на смерть Добролюбова одним из своих лучших стихотворений, в котором рисовал прекрасный образ борца-подвижника, беззаветно отдавшего жизнь за лучшее будущее родины.

Суров ты был—ты в молодые годы
Учил рассудку страсти подчинять,
Учил ты жить для славы, для свободы,
Но более учил ты умирать...

—писал Некрасов.

«Внешние обстоятельства», ускорившие смерть Добролюбова, на которые намекал Чернышевский в своей статье, т.-е. искажение крестьянской реформы, расправа с крестьянами, усмирение студенческих волнений, цензурные гонения и другие проявления правительственной реакции, разумеется, отнюдь не достигали своих «успокоительных» целей. Они, напротив, лишь усиливали недовольство и брожение в широких слоях общества. Возбуждение, охватившее радикальные и демократические круги, вылилось в форму *революционных прокламаций*. Летом 1861 года, почти в одно время, появились две прокламации: листок «Великорусс» и воззвание «К молодому поколению».

«Великорусс» был составлен Чернышевским и распространялся через посредство сотрудника «Современника» Обручева. Листок начинался с заявления, что манифест 19 февраля не оправдал ожиданий. Далее, он выставлял три основные требования: справедливое решение крестьянского вопроса, созыв Учредительного Собрания для составления конституции и освобождение угнетенной Польши. Справедливое разрешение крестьянской реформы должно заключаться в возвращении крестьянам всех земель и угодий, которыми они пользовались при крепостном праве, и в освобождении их от выкупных платежей, которые должны быть приняты на счет всей нации.

Автор «Великорусса» обращался, главным образом, к «просвещенным людям», к радикальной интеллигенции. Чернышевский слишком мало верил в самодеятельность народа, чтобы расчитывать на него, как на реальную силу в борьбе

за политическую свободу [1]. Иначе стоял вопрос в прокламации «К молодому поколению», вышедшей из-под пера М. И. Михайлова: «Надежду России составляет народная партия из молодого поколения *всех сословий*»—писал Михайлов. Молодежь будет революционным авангардом, за ней пойдет народ и войско. Наряду с политическими требованиями—свободы печати, уничтожения сословных привилегий и т. д., Михайлов выставляет требование *национализации земли*. «Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране... чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель или капусту».

Михайлов и Обручев жестоко поплатились за свои революционные выступления: осенью 1861 г. оба были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость, а затем сосланы на каторгу. Чернышевский, работа которого была обставлена строго конспиративно, пока оставался на свободе.

Не успела утихнуть паника, вызванная в правительственных кругах воззваниями Чернышевского и Михайлова, как появилась новая прокламация—«Молодая Россия», еще более крайнего направления. Эта прокламация, вышедшая из кружка московской социалистической молодежи, об'являла кровавую, беспощадную войну всему существующему строю. От этого строя не должно остаться камня на камне. Для его разрушения авторы «Молодой России» рекомендовали не останавливаться перед такими средствами, как террор, пожары и грабежи... «Молодая Россия» требовала социализации земли, уничтожения частной торговли, дарового обучения в школах. Заканчивалась прокламация восклицанием: «Да здравствует социальная и демократическая республика Русская!»

«Молодая Россия» вышла в начале мая 1862 года. К этому времени политическая атмосфера в России была насыщена электричеством. Брожение среди крестьян, кровавые усмирения крестьянских бунтов, студенческие волнения, появление целого ряда прокламаций, революционное движение в

[1]) Из прокламации «Великорусс» видно, что к 1861 г. Чернышевский пришел к решительному убеждению в необходимости борьбы за политическую свободу.

Польше, с демонстрациями в Варшаве и тревожными слухами о подготовке восстания—все это до крайности обостряло взаимное недоверие между правительством и передовыми слоями русского общества. Тут подоспели события, превратившие это недоверие в открытый разрыв. То были петербургские пожары.

В мае 1862 года в столице стояла необыкновенно сухая и жаркая погода. 16 мая вспыхнул первый большой пожар, охвативший обширный район с деревянными постройками. Затем с небольшими перерывами пожары продолжались весь месяц. В течение дня происходило 3—4, однажды даже 5 пожаров. Правда, пожары в Петербурге происходили нередко и в старое время, благодаря отсутствию водопровода и обилию деревянных построек. Но на этот раз возбужденная молва стала приписывать их поджигателям. Одни говорили, что поджигают помещики, недовольные освобождением крестьян. «Очевидцы» картинно описывали, как по улицам ходит генерал, у которого спина намазана каким-то горючим составом: стоит ему потереться спиною о забор—и готов пожар. Другие «очевидцы», не менее достоверные, уверяли, что дома поджигают студенты и революционеры. Последняя версия была наиболее распространенной. Внешним поводом к ней послужили необдуманные лозунги, сгоряча брошенные «Молодой Россией». Этой версии верили даже многие либералы. Так, либеральный профессор Кавелин писал Герцену, что пожары—дело рук революционных организаций.

Как ни нелепы были эти обвинения, правительство не замедлило воспользоваться ими для крутого поворота руля направо. Ураган реакции разразился над страной. Прежде всего были закрыты на 8 месяцев наиболее влиятельные органы печати: «Современник» и «Русское Слово». Затем были закрыты воскресные школы, народные читальни, литературные клубы. Воскресали худшие времена николаевского режима. Аресты и высылки усилились; но свистопляска реакции этим не удовлетворилась: недостаточно обезоружить противника, надо снять с него голову. Реакции нужна была искупительная жертва, в лице самого любимого и популярного из вождей славного поколения шестидесятников.

ГЛАВА XX.

Популярность Чернышевского. — Анонимные доносы. — «Письма без адреса».—Прокламация «К барским крестьянам».—Арест Чернышевского.—В поисках улик.

Популярность Чернышевского достигла высшей точки не только в прогрессивных кругах, но и в противном лагере. Всюду—и в литературном мире, и в правящих сферах, и в реакционных кругах—на него смотрели, как на вожака революционного движения. Известный литератор Ф. М. Достоевский сам рассказывает в своем «Дневнике писателя», как в 1862 году он явился к Чернышевскому с просьбой оказать влияние на составителей какой-то прокламации. По рассказу одного из современников, Достоевский в разгар пожаров влетел в кабинет Чернышевского с восклицанием: «Николай Гаврилович, прикажите остановить пожары!» Такого же мнения о «всесильной» власти Чернышевского над умами держались и в правительственных кругах. Всем было известно, что для революционной молодежи нет большего авторитета, чем имя Николая Гавриловича. Реакция с пеною у рта набрасывалась на ненавистного социалиста, вожака «шайки нигилистов». Анонимное письмо, полученное Чернышевским в конце 1861 года, дышало бешеной злобой:

«Вы говорите о наших собраниях, протягиваете руку дворянству; но кого вы этим обманете? Неужели ваша улыбка украсит вашу медузину голову? Неужели мы не видим вас с ножом в руках, в крови по локоть? Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление вашего журнала нам понятно, да и «Великорусс»—ваше произведение), которые ищут и будут искать нашей погибели, кото-

рые с маратовским [1]) восторгом принесут в жертву, для осуществления своих бредней, наши имущества, нас самих, наши семейства? Скажите, пожалуйста, неужели вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собой ради социализма, признанного наукой несчастным произведением больного ума?

«Вникнем в дело: кто угрожает и чем угрожают? Вы, господа социалисты, двух родов: социалисты бесштанные, которые, как плотоядные птицы, нетерпеливо ждут поживиться мертвечиной, и социалисты сантиментальные, которые за несчастные писульки попадают под розги, а иногда и в каторгу... Кровожадность у вас волчья, да слабость овечья; вы сами никуда не годитесь и думаете, что грязная лапа мужика выведет вас на дорогу. Заметьте, впрочем, что мы с вами поступать будем покруче, чем поступают с вами в столице. Нас много, теперь мы на страже, и поверьте, не станем с вами нежничать... Мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем вас, Искандера, или кого-нибудь из вашего семейства, и, вероятно, вы не успеете еще запастись телохранителями...» [2]).

Но Чернышевский был человек не такого закала, чтобы испугаться угроз. Он твердо и мужественно шел к цели. В конце 1861 года Николай Гаврилович сделал последнюю попытку обратиться к власти. Он написал для «Современника» статью «Письма без адреса», обращенную, повидимому, к Александру II, в которой давал оценку крестьянской реформы. Автор «Писем» указывал, что крестьяне не принимают «Положения», что они, «несмотря на внушения и меры усмирения, остались в уверенности, что надобно ждать им другой, настоящей воли». Далее следовало об'яснение, почему крестьяне не смотрят на акт 19 февраля, как на «настоящую»

---

[1]) Марат, прозванный «Другом народа»—один из главнейших деятелей Великой Французской Революции, убежденный и последовательный демократ, павший от руки реакционеров.

[2]) Цитировано по М. Лемке—«Политические процессы М. Н. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского». Петербург, 1907, стр. 196—199.

волю. Чернышевский рисовал картину их земельной нужды и доказывал, с цифрами в руках, что положение крестьян после «освобождения» во многих местах ухудшилось по сравнению с прежним. Так, по сделанному нашим автором подсчету, в 18 случайно выбранных уездах различных губерний крестьяне при крепостном праве платили за каждую десятину надельной земли 2 руб. 9 коп., а после «освобождения» должны платить оброка за каждую десятину надела, в среднем, 2 руб. 30½ коп. Вывод из этих статистических данных напрашивался сам собою.

Статья Чернышевского не была пропущена цензурой. «Письма без адреса» не дошли по назначению ни к анонимному адресату, ни к читающей публике. Впрочем, Николай Гаврилович не был особенно удручен этим обстоятельством. Он предвидел судьбу своей статьи. У него не было больше намерения обращаться ни к правительству, ни к образованному обществу. Он задумал обратиться непосредственно к низам, к самому крестьянству. В 1862 г. его отношение к народному движению, под влиянием событий, значительно изменилось. Необозримая «тишь да гладь» крестьянской Руси, казалось, дрогнула. Народ как будто выходил из своего векового оцепенения. Крестьянские волнения 1861 года, неприятие царского манифеста вселяли надежды на пробуждение самодеятельности в крестьянских массах. Чернышевский пришел к мысли о необходимости обратиться к народу с воззванием, с целью подготовить его к широкому революционному движению. Плодом этого решения была единственная в своем роде прокламация «*К барским крестьянам*».

Мы приведем из нее наиболее замечательные места.

Воззвание к барским крестьянам.

«Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!

Ждали вы, что даст вам царь волю—вот вам и вышла от царя воля!

Хороша ли воля, которую дал вам царь—сами вы теперь знаете.

Много тут рассказывать нечего. На два года останется все по-прежнему, и барщина останется, и помещику власть

над вами останется, как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк останется, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, говорит царь. В два года, говорит царь, землю перепишут да отмежуют. Как не в два года! Шесть лет, либо десять лет проволочат это дело. А там что? Да почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будут. Знаете вы сами, не ново это слово—«жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты заберут, либо в Сибирь, да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известное дело: коза с волком тягалась—один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, пока волки останутся,—значит, помещики да чиновники останутся...

. . . .

Ну так, а потом что-то будет, когда, значит, мужику разрешено будет отходить от помещика?

Когда срочно обязанное время кончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя остается за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее... В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочно обязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется, вот он будет теснить их, да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят—оно, попросту сказать, и значит, что барин у мужика землю отнять может, а мужиков прогнать.

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? Без хозяйства да без земли что делать, куда деваться, кроме, как в батраки наняться! . . . .

Так вот оно к чему по царскому манифесту, да по указам, дело поведено: не к воле, а к тому оно идет, чтобы в

вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней...

Не дождетесь вы от царя воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно. Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Вы у помещиков—крепостные, а помещики у царя—слуги; он над ними помещик. Значит, что он, что они—все равно. Ну, царь и держит барскую сторону...

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая и вправду-то воля бывает? Хотите знать, так вот какая...»

Далее в воззвании идет речь о свободном политическом строе в Европе и Америке.

«Так вот она какая взаправду-то воля бывает на свете! Чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный, для всех был бы суд, и бесчинствовать над мужиками никто не смел, и чтобы паспортов не было, и подушного оклада не было бы, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть! А коли этого нет, то значит воли и нет, а все одно: обольщение в словах.

А как же нам, русским людям, и вправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать, и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись...

Так вот какое дело,—надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорит, что один в поле не воин...

А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое об'явление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет. . . . .

Печатано письмецо это в славном городе Христиании, в

славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь печатать правды не велит. А мы все—люди русские и промеж вас находимся, только до поры, до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся...» [1]).

Воззвание «К барским крестьянам» впервые обращалось непосредственно к массам. Оно говорило простым и ясным языком, доступным народу. Написанное рукою мастера, оно несомненно сыграло бы роль в истории русского революционного движения. Но прокламации Чернышевского не суждено было увидеть свет. Еще прежде, чем она была напечатана, автор ее был «из'ят из обращения».

«Если не удалите Чернышевского, то произойдут несчастия и прольется кровь. Неужели не найдется средств спасти нас от такого зловредного человека?»—писал анонимный доносчик в одном из писем, которыми уже целый год бомбардировалось Третье отделение [2]). «Эти банды бешеных демагогов состоят из горячих голов, и их ничто не остановит. «Молодая Россия» в своей программе высказала самые крайние стремления. В Воронеже, в Саратове, в Тамбове существуют комитеты этих социалистов, всюду они возбуждают умы молодежи. Вышлите Чернышевского куда хотите, но только не медлите отнять у него возможность действовать.

---

[1]) Прокламация «К барским крестьянам», повидимому, была написана Чернышевским не целиком. Та часть ее, где о западноевропейских порядках рассказывается, что там «все правится миром», что во Франции и Англии «народ начальствует над царем» и сменяет неугодных ему царей по своему усмотрению—вряд ли принадлежит перу Чернышевского. Ежемесячные обозрения нашего писателя на страницах «Современника», где политические учреждения на Западе нередко подвергаются резкой критике, доказывают, что он не мог так преклоняться перед политическим строем западно-европейских государств и считать его идеалом демократии.

[2]) «Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии» было учреждено Николаем I в 1826 году, как высшая секретная полиция, тесно связанная по своим функциям с корпусом жандармов. Главной задачей Третьего отделения официально признавалась «охрана устоев русской государственной жизни». На практике Третье отделение занималось, главным образом, искоренением политической «крамолы».

Во имя общего спокойствия, избавьте нас от Чернышевского!»

Голос цепных псов реакции не остался гласом вопиющего в пустыне.

Вопрос о судьбе Чернышевского был решен еще с начала 1862 года. Раз'яренное внутренними неурядицами, прокламациями, разжигаемое анонимными доносами, правительство решило избавиться, наконец, от «коновода юношей, хитрого социалиста». В июне 1862 года был закрыт на 8 месяцев «Современник». Теперь очередь настала за его руководителем. Начинается усиленная погоня за уликами против Чернышевского.

В конце июня Третье отделение получило сведения, что из Лондона едет в Россию некто Ветошников, который везет различным лицам письма от виднейших русских изгнанников—Герцена, Огарева и Бакунина. Ветошников, разумеется, был арестован на границе. При нем найдено несколько писем Герцена и Огарева. В одном из них, адресованном на имя литератора Серно-Соловьевича, оказывается следующая приписка:

«Мы готовы издавать «Современник» здесь с Чернышевским, или в Женеве—передайте предложение об этом»[1]).

Этой приписки вполне достаточно. На следующий день, 7 июня 1862 года, на квартиру Чернышевского являются жандармы и полиция, арестовывают его и увозят в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Впечатление, произведенное на общество арестом Чернышевского, было потрясающе. «Если сказать, что арест Чернышевского произвел на всех сильное впечатление, это значит выразиться слишком слабо. С напряженным вниманием прислушивались к малейшим известиям о ходе его процесса», пишет один из видных современников, Пантелеев.

---

[1]) «Современник» был приостановлен на 8 месяцев 19 июня. Письмо Герцена и Огарева было помечено 8 июня. Очевидно, издатели «Колокола» уже в то время имели сведения о готовящейся каре, и потому сделали свое предложение. В виду отрицательного отношения Чернышевского к направлению «Колокола», предложение это вовсе не означало сочувствия Чернышевского плану Герцена и Огарева.

Особенно был поражен известием об аресте Чернышевского верный друг и брат его, Александр Николаевич Пыпин. Его юношеские мечты о совместной работе с Николаем Гавриловичем осуществились. Он принимал деятельное участие в «Современнике», был членом его редакции. Помимо того, он успел завоевать себе имя, как видный ученый в области истории литературы, русской и иностранной. До осени 1861 года Пыпин был профессором петербургского университета. Выйдя в отставку в связи со студенческими волнениями, он вскоре уехал за границу в научную командировку.

Арест Николая Гавриловича застал Пыпина врасплох. Он хотел бросить все свои дела за границей и немедленно вернуться в Петербург. Его удержал брат Сергей и сестры-курсистки, следившие за делом Чернышевского, которые писали, что «дело Николи кончится пустяками». Такова была общая уверенность в Петербурге.

Правда, были признаки, свидетельствовавшие о том, что реакция не идет на убыль. Вслед за Чернышевским один за другим были арестованы и посажены в Петропавловскую крепость еще два видных писателя—Писарев и Шелгунов [1]). Но

---

[1]) Расцвет наиболее влиятельного, после «Современника», журнала 60-х годов «Русское Слово», тесно связан с именем Писарева. Высоко-талантливый критик и публицист, Дмитрий Иванович Писарев, стал сотрудником «Русского Слова» в 1861 г., 20 лет от роду. Самые блестящие его статьи были написаны в одиночном заключении Петропавловской крепости, где Писарев пробыл с 1862 по 1866 год за статью против продажного публициста Шедо-Ферроти, выступившего с резкими нападками на Герцена.

В своих статьях Писарев развивал стройное и своеобразное миросозерцание. Краеугольным камнем его служит понятие «мыслящего реализма». «Мы бедны, потому что мы глупы». «Мы глупы, потому что мы бедны»,—говорит Писарев. Для того, чтобы прорвать этот заколдованный круг, недостаточно изменить общественные учреждения: это не помешает плодиться «бедности и глупости». Для этой цели необходимо формирование возможно большего числа «мыслящих реалистов», т.-е. сознательных личностей, которые стремятся к самосовершенствованию путем умственного труда, основанного на строгой экономии умственных сил. В интересах этой экономии надо различать полезные умственные занятия от бесполезных. К числу последних принадлежит эстетика и вообще вся область искусства. Наиполезнейшей отраслью знания являются естественные науки. Прогресс обусловливается и измеряется развитием есте-

общественное мнение, в полной уверенности, что против Чернышевского нет никаких данных обвинения, все же ждет его освобождения.

При обыске у Чернышевского были опечатаны 2.400 томов книг и целая кипа бумаг. Для рассмотрения их была назначена специальная комиссия, которая целые недели тщательно изучала их, в надежде на богатый улов... Но надежды комиссии не оправдались. В бумагах Чернышевского не было

ствознания. Популяризация естествознания—вот прямой путь к непосредственной общественной пользе.

Идеалом «мыслящего реалиста» Писарев считал тургеневского Базарова. Свои мысли он выражал нередко в форме кратких, резко отточенных изречений (афоризмов), например: «Рафаэль гроша медного не стоит», «Природа не храм, а мастерская», «Сапоги выше Шекспира» и т. п.

Писарев резко расходился с Чернышевским во взгляде на общественную деятельность и в отношении к народным массам. Он был чужд социализма и совершенно равнодушен к положению «простонародья». Характерны в этом смысле его слова в статье «Реалисты»: «Конечно, труд тех людей, которые кормят и одевают нас, в высшей степени полезен; но эти люди совсем не реалисты; при теперешнем устройстве материального труда, при теперешнем положении чернорабочего класса во всем образованном мире, эти люди не что иное, как машины... Покуда приходится оставить их в покое...»

Однако, у Писарева есть и точка соприкосновения с Чернышевским. Это—общее обоим писателям стремление к просветительству—хотя в это понятие оба вкладывали различное содержание: Писарев—популяризацию естествознания, Чернышевский—распространение материалистических и социалистических идей. Чтобы уяснить себе эту точку соприкосновения Чернышевского и Писарева, достаточно сопоставить известную мысль Писарева: «Мы бедны, потому что мы глупы»,—со словами Чернышевского в письме к жене из Петропавловской крепости 5 октября 1862 г.: «Чепуха в голове у людей—потому они и бедны и жалки, злы и несчастны; надобно раз'яснить им, в чем истина, и как следует им думать и жить».

В этом смысле обоих писателей-шестидесятников можно назвать замечательными русскими просветителями.

Литературная деятельность Писарева оборвалась на 28-м году: он умер в 1868 году, утонув во время купанья.

Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891)—видный писатель 60-х годов и сотрудник «Современника». В последнем появи-

найдено ничего любопытного, за исключением письма к неизвестному лицу от Герцена и Огарева, в котором последние выражали неудовольствие за резкие нападки Чернышевского на Герцена, по поводу его статей о дряхлости Европы и спасительной миссии русского народа[1]). Далее авторы письма упрекали Чернышевского за его нежелание воспользоваться своим влиянием на молодежь для агитации. Таким образом,

---

лась его статья «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», замечательная тем, что она впервые в русской журналистике поставила вопрос о положении пролетариата. Два года, с 1862 г. по 1864 год, Шелгунов пробыл в Петропавловской крепости, куда попал за «вредный образ мыслей», а также за сношения с М. И. Михайловым, к которому ехал повидаться в Нерчинск. По выходе на свободу Шелгунов продолжал сотрудничать в лучших русских журналах.

Шелгунов был типичным представителем шестидесятников и всю жизнь оставался верен идеям 60-х годов. Он писал популярные статьи на самые разнообразные темы—социально-экономические, исторические, естественно-научные, педагогические, по женскому вопросу и т. д.

О своей эпохе Шелгунов оставил весьма интересные воспоминания. (См. «Из прошлого и настоящего». Соч. Н. В. Шелгунова, том 2-й).

[1]) Чернышевский весьма не сочувствовал этому взгляду Герцена, в котором, не без основания, усматривал влияние славянофильства. После своего кратковременного увлечения общиной, Чернышевский давно отрешился от всякой примеси славянофильских воззрений. Он считал, что говорить о дряхлости Европы и спасительной роли России, значит играть в руку реакции, косвенно подтверждать, что в России все обстоит благополучно и коренных преобразований не требуется. В статье «О причинах падения Рима», напечатанной в «Современнике» за 1861 год, он пишет: «Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего: у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитой, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей». Далее, он замечает, что, «кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения, для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашей свежей помощью».

В этой плоскости лежала одна из причин расхождения Чернышевского и Герцена (о других причинах см. выше, примечание к главе XVII).

письмо Герцена и Огарева говорило скорее в пользу Чернышевского, чем против него.

Обыск у Чернышевского не дал ничего существенного. Но управляющий Третьим отделением Потапов не унывал. 1-го августа он послал в следственную комиссию «Записку из частных сведений о титулярном советнике Чернышевском». Этот документ, составленный на основании шпионских донесений, подробно изображал революционную деятельность Чернышевского, его связи с заграничными «агитаторами» и т. д. «Записка» содержала явно ложные сведения о том, как Ольга Сократовна развозила по городу прокламации, как Чернышевский открыто подготовлял манифестации и т. п. Нужды нет: она была приобщена к делу в качестве ценного материала.

Однако, голословные заявления шпионов недостаточны для постройки обвинительного акта. Корреспонденция, полученная на имя Николая Гавриловича после его ареста, также обманула ожидания, как и бумаги, отобранные при обыске. Где взять улик против Чернышевского? Месяц проходит за месяцем, пока комиссия ломает голову над этим вопросом.

Между тем Чернышевский сидел в крепости и терпеливо выжидал. Свою революционную деятельность он обставлял так конспиративно, что о ней не знали даже самые близкие ему лица. Николай Гаврилович был уверен, что против него не удастся найти никаких улик. Кроме того, он надеялся на благоразумие правительства и не допускал мысли о возможности подлогов. Ему, разумеется, была очень тяжела разлука с горячо любимой женой. Всем сердцем рвался он к ней и детям. Но при своей громадной выдержке и силе воли, он умел подавить свою тоску и спокойно выжидал событий. Привычка к постоянному умственному труду помогала ему переносить тяжесть одиночного заключения. Весь свой долгий досуг Чернышевский заполнял литературной работой. Почти с начала своего заключения он продолжал начатый еще на свободе перевод «Всемирной истории» Шлоссера. Но скоро он с увлечением отдался другой работе: в крепости Чернышевский написал свой знаменитый роман «Что делать».

ГЛАВА XXI

Роман «Что делать». — Новые люди. — Мораль разумного эгоизма.—«Особенный человек» Рахметов.—Мастерские на коллективных началах. — Социалистический идеал в снах Веры Павловны. — Воспитательное значение романа «Что делать»—«Кто виноват» и «Что делать».

Роман «Что делать», написанный в мрачном каземате Петропавловской крепости, весь проникнут светлым, жизнерадостным настроением. От него веет бодрящей свежестью весеннего утра. Это увлекательная проповедь живого дела, свободного, радостного труда, свободы и искренности всех человеческих отношений. В лице своих героев, Лопухова, Кирсанова и Веры Павловны, автор изображает людей нового типа, воплотивших лучшие заветы и чаяния эпохи 60-х годов. Главная отличительная черта этих людей—внутренняя свобода. Они свободны от гнета предрассудков, отживших традиций, старозаветной морали. Они свободны и правдивы во всех своих отношениях. В любви новые люди требуют безусловной искренности. Брак Лопухова и Веры Павловны, основанный на взаимной привязанности и уважении, теряет свою силу в глазах обоих, когда у Веры Павловны появляется более сильное чувство к Кирсанову. Они расходятся, и Вера Павловна соединяет свою судьбу с судьбой Кирсанова. Разрыв дается не без борьбы и страданий для обеих сторон. Но иной исход ни для Лопухова ни для Веры Павловны невозможен. Они расходятся сознательно и свободно: здесь нет ни обвиняемых, ни судей. Лопухов, уходя от любимой женщины, вовсе не приносит себя в жертву. Для него жертва—«фантастическое понятие, сапоги в смятку». Вера Павловна также не думает жертвовать собой, отказываясь от любви из сострадания к Лопухову. Жертва в-

любви так же недопустима, как и ложь, измена. И то, и другое нарушает искренность и чистоту отношений. «Новые люди» одинаково вынесут суровый приговор и светской барыньке, обманывающей мужа для легкой интрижки, и пушкинской Татьяне, которая остается жить с постылым мужем, подавляя в себе искреннее чувство только потому, что она «другому отдана и будет век ему верна».

«Новые люди» без живого дела немыслимы, как рыба без воды. Они жаждут его и находят в общественной работе на различных поприщах, в устройстве мастерских на коллективных началах. Труд служит для них источником наслаждения. Необходимой предпосылкой к их свободному и радостному труду является знание. «Будем учиться, знание освободит нас. Будем трудиться, труд обогатит нас». «Новые люди» постоянно учатся, стремятся к саморазвитию. Какие мыслители являются для них авторитетами, видно из того, что Лопухов дает Вере Павловне читать Фурье и Фейербаха, а в комнате Кирсанова висит портрет Роберта Оуэна, которого Вера Павловна называет «святым стариком». Наперекор укоренившимся предрассудкам о назначении женщины, героиня «Что делать» идет учиться медицине. Учиться, развиваться, трудиться! В этом триедином порыве выливается вся душа нового человека. Жажда свободного, творческого труда, жажда свободного развития сливаются в один восторженный призыв:

«Поднимайтесь из вашей трущобы, друзья мои, поднимайтесь, это не так трудно! Выходите на вольный белый свет, славно жить на нем, и путь легок и заманчив, попробуйте; развитие, развитие! Наблюдайте, думайте, читайте тех, которые говорят вам о чистом наслаждении жизнью, о том, что человеку можно быть добрым и счастливым. Читайте их—их книги радуют сердце, наблюдайте жизнь—наблюдать ее интересно, думайте—думать завлекательно. Только и всего. Жертв не требуется, лишений не спрашивается—их не нужно. Желайте быть счастливыми—только это желание нужно. Для этого вы будете с наслаждением заботиться о своем развитии; в нем счастье! О, сколько наслаждений развитому человеку! Даже то, что другой чувствует, как жертву,

горе, он чувствует, как удовлетворение себе, как наслаждение. А для радостей как открыто его сердце, и как много их у него! Попробуйте—хорошо!».

«Новые люди» выковали новую мораль—мораль разумного эгоизма. В самых общих чертах она сводится к следующему: человеку от природы присуще стремление к счастью. Стремясь к его удовлетворению, он сталкивается с таким же стремлением других людей. Отсюда необходимость согласовать свой личный интерес с интересом большинства. Нравственность есть разумно понятый эгоизм, который в конечном счете совпадает с общественным благом. Каждый человек по природе эгоист, не исключая и так называемых альтруистов [1]). В основе альтруистического поступка лежит правильно понятый эгоистический расчет [2]).

Человек достигнет вершин морали путем *самовоспитания*. Последнее должно вести к тому, чтобы наибольшее наслаждение, наивысшее удовлетворение человеку доставляло служение обществу, человечеству. Тогда его альтруистические поступки не будут носить характер *жертвы*. На путь альтруизма его будет толкать не тягостное сознание долга, а свободное влечение. Насиловать себя—противоестественно, человек должен делать добро так же естественно, как пить и есть.

Мы видим, что «эгоизм» героев Чернышевского не имеет ничего общего с пошлым, обывательским эгоизмом. Это—чистейшее, благородное служение общественным интересам, которое не хочет рядиться в пышные фразы. Эта теория

---

[1]) Альтруизм—от латинского слова alter—другой—черта характера, противоположная эгоизму, способность забывать себя для других.

[2]) В своей знаменитой статье «Антропологический принцип в философии» Чернышевский задает вопрос: какие поступки расчетливы в истинном смысле слова? и отвечает на него так: «Расчетливы только добрые поступки. Рассудителен только тот, кто добр, и ровно настолько, насколько добр. Когда человек недобр, он просто нерасчетливый мот—мот, тратящий 1.000 рублей на покупку грошовой вещи, тратящий на получение малого наслаждения нравственные и материальные силы, которых бы достало ему на приобретение несравненно большего наслаждения».

не только не разнуздывает, не только не потворствует страстишкам и слабостям, как вульгарный эгоизм, — но и, наоборот, пред'являет к личности суровые требования самовоспитания, выработки в себе таких потребностей и интересов, которые сливались бы с общественными интересами в один гармонический аккорд.

Герои «Что делать» постоянно действуют сообразно своей морали. Лопухов отказывается от ученой карьеры, чтобы поскорее вырвать Веру Павловну из гнетущей семейной обстановки, но для него не существует слова «жертва».

«Как для меня лучше, так и сделаю. Не такой я человек, чтобы приносить жертвы. Да их и не бывает, их никто не приносит. Это фальшивое понятие. Жертва—сапоги в смятку. Как приятнее, так и поступаешь».

То же самое Вера Павловна говорит о Кирсанове, который целые 3 года боролся со своим чувством, не желая разбивать счастье друга и нарушать покой любимой женщины: «по его словам, он все делал из эгоистического расчета для собственного удовольствия».

Но в том-то и дело, что «эгоистический расчет» и «собственное удовольствие» Лопуховых и Кирсановых никогда не идут в разрез с благом других людей. «Теория разумного эгоизма», провозглашающая добродетель звонкой фразой, а жертву—сапогами в смятку, проникнута духом высокого благородства и чистейшего альтруизма.

Любовно рисуя типы «новых людей», Чернышевский отнюдь не возводит их на пьедестал. Он не раз подчеркивает, что «новый человек»—не что иное, как обыкновенный человек, честный и хороший, каким может и должен быть всякий. Однако, наряду с «обыкновенными людьми» в романе есть и особняком стоящая героическая личность. Это «особенный человек» Рахметов, титаническая фигура, высеченная из цельного куска скалы. Рахметов в романе—лицо эпизодическое. Он неожиданно появляется и столь же внезапно исчезает, оставляя за собой впечатление чего-то огромного. Он не действует, а лишь готовится к действию. Все его поступки, весь образ жизни направлены к одной цели, проникнуты несокрушимой волей выработать в себе

силу—умственную, моральную и физическую. Рахметов много учится и, несмотря на свою молодость, по знаниям стоит на уровне века. Своим учителем он считает Фейербаха, которому предлагает большую сумму на издание его сочинений. Рахметов—аскет. Он ведет суровый, спартанский образ жизни, ест и пьет только ту пищу, которую потребляет «простой народ», отказывается от всех наслаждений, от личного счастья, чтобы всецело посвятить себя народному делу. 20-летним юношей Рахметов тянет лямку с бурсаками, под именем Никитушки Ломова. Он закаляет себя физически вплоть до того, что спит, весь окровавленный, на гвоздях, чтобы приучить себя, на случай надобности, к пыткам...

Под покровом, наброшенным автором на Рахметова из цензурных соображений, нетрудно угадать его тайну. Демократические вкусы Рахметова, его огненные речи, «конечно, не о любви», его непреклонная воля отдать свою жизнь какому-то большому делу — все говорит за то, что это дело—русская революция. Это видно из слов Рахметова: «Положительное дело человек найдет лишь в том случае, если сольет свою жизнь и свои интересы с жизнью и интересами народа». «Особенный человек» в романе Чернышевского—условный знак для обозначения революционера. И как высоко ценит автор людей этого типа, по сравнению с «обыкновенными людьми», Лопуховыми и Кирсановыми! «Он один поважнее всех нас, вместе взятых»—говорит Кирсанов. Заключительные слова главы о Рахметове дышат неподдельным восторгом, преклонением пред революционерами, столь необычным для нашего сдержанного автора: «Мало их («особенных людей»), но ими расцветает жизнь... Велика масса честных и добрых людей, а таких людей мало. Но они в ней—теин в чае, букет в благородном вине; от них ее сила и аромат; это свет лучших людей, это двигатель двигателей, это соль соли земли».

Итак, «особенные люди» заняты подготовкой революции. Все прочие «новые люди» заняты полезным общественным трудом, по мере сил и способностей. Все они учатся, работают. Лопухов и Кирсанов заняты научной работой и пра-

ктической деятельностью врача. Вера Павловна идет учиться медицине—подвиг для женщины 60-х годов. Она смело прокладывает путь новой женщине, не боясь насмешек и препятствий, и активно проводит в жизнь одну из излюбленных идей шестидесятников—идею женской эмансипации. Героиня «Что делать» является пионером и в другой области. Она организует, при помощи Лопухова, швейные мастерские на началах ассоциации, в которых хозяевами являются сами работницы. Дело, трудное вначале, мало-по-малу растет и развивается. Мастерские процветают, доходность их увеличивается, при них вырастают образцовые общежития, общественные столовые, школы и всякие вспомогательные учреждения.

Швейные мастерские Веры Павловны служат богатой иллюстрацией плодотворности принципа производительных ассоциаций. Однако, идеалы «новых людей» не ограничиваются устройством таких культурных островков в рамках современного общества. Их мечты залетают гораздо выше. Герои «Что делать», вместе со своим автором, мечтают о том прекрасном будущем, когда все такие островки, разбросанные в безбрежном море капиталистической культуры, сольются в один цветущий оазис, когда умудренное, просветленное человечество образует одну огромную производительную и потребительную ассоциацию и, таким образом, воплотит в жизнь идеалы Фурье и других великих социалистов. В 4-м сне Веры Павловны Чернышевский рисует картину фаланстера по Фурье. Здесь наш рассудочный и сдержанный автор, столь трезвый и скупой на красивые жесты и фразы, поднимается до вершин поэтического вдохновения. Сон начинается радостными, ликующими стихами Шиллера:

«О земля! О солнце! О нега! О любовь, о любовь, золотая, прекрасная, как утренние облака над вершинами тех гор!».

К Вере Павловне является лучезарная красавица—олицетворение свободы и гармонии человеческих отношений. Она показывает Вере Павловне жизнь будущего человечества.

Картина сменяется картиной, одна светлее и радостнее другой.

Вот колоссальное здание с хрустальным куполом, с огромными во всю ширину, окнами, льющими потоки света, с легкой изящной мебелью из аллюминия. Повсюду южные деревья и цветы. Весь дом—громадный зимний сад. Он стоит среди нив и лугов, садов и рощ. Нивы покрыты густыми, роскошными, невиданными у нас колосьями. В садах—лимонные и апельсинные деревья, персики и абрикосы. Это—огромные оранжереи, раскрывающиеся на лето. На нивах рассеяны группы людей. Они работают быстро и легко, с веселым пением. «Еще бы не итти быстро работе, еще бы не петь им! Почти все делают за них машины—и жнут, и вяжут снопы, и отвозят их—люди почти только ходят, ездят, управляют машинами».

Вот огромные армии труда двигаются с юга на север, от берегов моря вглубь страны. Вооруженные знанием и сильными, мощными машинами они идут на борьбу с природой. Они взрывают каменистую почву, проводят каналы, устраивают искусственное орошение. Голые скалы и бесплодные пустыни они превращают в цветущую страну. «В твое время люди были дикарями, грубыми, жестокими, безрассудными»,—говорит светлая красавица Вере Павловне. «Теперь они стали умны, стали обращать на пользу себе громадное количество сил и средств, которые прежде тратили без пользы, или прямо во вред себе».

Вот великолепный зал, весь залитый электрическим светом. В нем сотни мужчин и женщин в разнообразных костюмах простого изящного покроя. Они поют и танцуют, веселятся и отдыхают. Светлы и радостны их лица, безоблачно их веселье. Оно не омрачено ни тяжелыми воспоминаниями, ни опасениями нужды и горя. Высокое нравственное и умственное развитие, тонкость ощущений соединяются в них с правильным физическим развитием, с могучим здоровьем. Только такие гармонические люди способны черпать радость жизни полною рукою! «Нет, теперь еще не знают, что такое настоящее веселье,—говорит Вере Павловне ее лучезарная спутница: — потому что еще нет

такой жизни, какая нужна для него, и нет таких людей. Только такие люди могут вполне веселиться и знать весь восторг наслаждения! Как они цветут здоровьем и силой, как стройны и грациозны они, как энергичны и выразительны их черты! Все они — счастливые красавцы и красавицы, ведущие вольную жизнь труда и наслаждения — счастливцы, счастливцы!»

«Говори же всем: вот что в будущем, — будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести: настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы умеете перенесть в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести!»

«Что делать» заканчивается радостным пророчеством близкого торжества русской революции. Светлое, жизнерадостное настроение, которым проникнут весь роман, от начала до конца, разрешается ликующим аккордом:

Черный страх бежит, как тень,
От лучей, несущих день;
Свет, тепло и аромат
Быстро гонят тьму и хлад;
Запах тленья все слабей,
Запах розы все слышней...

Глубокая вера в конечное торжество социалистического идеала, горячая проповедь живого общественного дела, надежда на близость русской революции, образы новых людей, а главное — светлое настроение, дух свободы и обновления, которым веет от страниц книги, — все это придавало роману Чернышевского неотразимое обаяние в глазах молодежи. В этом произведении отразились лучшие черты и особенности 60-х годов. Самое название романа как нельзя более характерно для этой незабываемой эпохи. Поколение 40-х — 50-х годов не задавалось вопросом «Что делать?» Художественная литература, изображавшая лучших его представителей, давала скорбные образы «лишних людей», честных и искренних, но совершенно неспособных к боль-

шому общественному делу. Рисуя мягкими, любовными штрихами своих героев, Тургенев и Герцен с грустью признавали их банкротство в жизненной борьбе. Плоть от плоти дворянско-помещичьего класса, оторвавшийся от него по своему умственному развитию, но в силу социально-экономических условий стоящий обеими ногами на почве своего класса, слабый и безвольный, терзаемый внутренними противоречиями, либерал-идеалист 40-х годов, если он не обладал талантом Тургенева или Грановского [1]), был осужден на бесплодное прозябание. Это не творец жизни, а пасынок ее, «лишний человек». «Кто виноват?»,—спрашивает такой осколок дворянско-крепостнической культуры [2]). Разночинец 60-х годов, прошедший суровую школу жизни, радикал и материалист до мозга костей, презрительно отмахивается от этого вопроса. Он давно нашел виноватого. Устами своего певца Некрасова он вынес суровый приговор прекраснодушному либералу, «рыцарю на час»:

Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно:
Суждены вам благие порывы,—
Но свершить ничего не дано...»

Для разночинца самый важный, самый насущный вопрос: что делать? И ответ на этот вопрос он находил в романе своего любимого и признанного вождя, Николая Гавриловича Чернышевского. Неудивительно, что роман пользовался исключительным влиянием, которое сохранило свою силу и для последующих поколений.

Роман Чернышевского был переслан им из крепости Пыпину и напечатан в «Современнике». Каким образом

---

1) Тимофей Николаевич Грановский—один из виднейших представителей русских западников 40-х—50-х годов, благородный просвещенный либерал-идеалист. Его лекции по истории в московском университете в 40-х годах имели громадное воспитательное влияние на русское общество.

2) «Кто виноват»—известный роман А. И. Герцена. Герой романа, Бельтов,—умственно развитая личность, исполненная благородных стремлений, не находит в жизни ни личного счастья, ни применения своим богатым силам в общественной деятельности.

произведение, на котором воспитывались целые поколения в революционном духе, которое прививало им социалистические идеалы, могло появиться на страницах легальной печати? Это произошло по оплошности правительства. Рукопись Чернышевского, разумеется, проходила через следственную комиссию. Последняя пропустила ее, не читая, в расчете на бдительность общей цензуры, которая, разумеется, не пропустит ничего «крамольного». Но цензор, увидя на рукописи Чернышевского штемпель Третьего отделения, считал для себя совершенно излишним читать сочинение, прошедшее через такое чистилище. Таким образом, роман Чернышевского, благополучно миновав все препоны и препятствия, попал на страницы «Современника». «Недреманное око» цензуры на этот раз изменило себе. Когда роман появился в печати, правительство спохватилось и поняло свою ошибку; произведение Чернышевского было запрещено, а книжки «Современника», где оно было напечатано, из'яты из обращения. Но было уже поздно: роман в сотнях рукописных списков ходил по кружкам молодежи, ревностно читался и перечитывался, был предметом жарких споров и восторженного поклонения. «Что делать» делало свое дело...

ГЛАВА XXII

Процесс Чернышевского. — Допрос. — Письма к Александру II и князю Суворову. — Голодовка. — Свидание с женой. — Донос Костомарова и Яковлева. — Карандашная записка. — Очная ставка. — Показания Сороко. — Разоблачение Яковлева. — «Экспертиза» сената. — «Записка о литературной деятельности Чернышевского». — «Письмо к Алексею Николаевичу».

Прошло 4 месяца после ареста Чернышевского. Дело нашего писателя не подвигалось ни на шаг. Заключенному все еще не сделали ни одного допроса. Чернышевский по-прежнему терпеливо выжидал, заполняя длинные, томительные дни литературной работой и перепиской с женой. Следственная комиссия по-прежнему столь же усердно, сколь и безуспешно искала улик. В погоне за доказательствами виновности Чернышевского, она решила приобщить к делу письмо его к жене от 5 октября 1862 года, в котором Чернышевский, ободряя Ольгу Сократовну и уговаривая ее не падать духом, писал:

«Наша с тобой жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь».

История показала, насколько справедливы были эти слова, — хотя Чернышевский, по позднейшему его признанию, писал их жене совершенно несерьезно. Человек такого глубокого ума и такой необычайной скромности, как Николай Гаврилович, вряд ли мог, при таких обстоятельствах, написать о себе подобные слова иначе, как в шутку. Тем не

менее, следственная комиссия отнеслась к ним как нельзя более серьезно; она увидела в них доказательство непомерной гордости и самомнения. Портфель обвинительного материала обогатился еще одним документом.

Однако, самомнение, хотя бы и беспримерное, и гордость, хотя бы и сатанинская, не предусмотрены уложением о наказаниях. Не удастся ли вырвать улик у самого обвиняемого? С этой целью 30 октября, после 4½ месяцев заключения в крепости, комиссия впервые вызвала Чернышевского на допрос.

Чернышевский представил об'яснения по всем вопросным пунктам. На допросе он держал себя с достоинством, и даже несколько вызывающе. Так, на вопрос о знакомствах он ответил, что «тот, кто потрудится пересчитать всех петербургских и московских литераторов», пересчитает всех его знакомых. На вопрос о том, есть ли у Герцена и Огарева соумышленники в России, он отозвался незнанием и затем прибавил: «Я принужден здесь выразить свое удивление тому, что мне предлагают подобные вопросы». Наконец, в заключение допроса, Чернышевский заявил, что тотчас по окончании дела подаст жалобу на беззаконные действия комиссии, содержащей его под стражей без всяких улик.

Смелая угроза Чернышевского привела в бешенство комиссию. Теперь его судьба была окончательно решена. Председатель комиссии, всесильный князь Голицын, решил раздобыть улики во что бы то ни стало. Если их нет, их надо изобрести. Нет подлинных документов — можно сфабриковать подложные. Нет настоящих свидетелей — можно найти лжесвидетелей. Ищите и обрящете!

Между тем, Чернышевский, убедившись во время допроса, что против него нет никаких данных, решил обратиться к двум лицам: к Александру II и к петербургскому генералгубернатору, князю Суворову, который являлся чуть ли не единственным умным и порядочным человеком среди представителей высшей администрации.

В письме к Александру II Чернышевский протестовал против беззаконного образа действий следственной комиссии, содержащей его в крепости почти пять месяцев при

полном отсутствии улик. Он указывал, что единственное обвинение, пред'явленное ему, заключалось в намеке на сношения его с Герценом и Огаревым, и подробно опровергал это обвинение [1]). Письмо свое Чернышевский заканчивал следующими словами:

«Государь, имею ли я теперь основания обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений, — если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста».

Письмо Чернышевского было написано с большим достоинством. Он не употребляет никаких выражений верноподданнических чувств, не припадает к «монаршим стопам», ни о чем не просит — он требует только справедливости.— В письме к князю Суворову Чернышевский еще подробнее доказывал необоснованность обвинения в сношениях с Герценом и Огаревым и подчеркивал, что «закону и правительству нет дела до образа мыслей», что «закон судит, а правительство принимает в соображение только поступки и замыслы».

Оба письма Чернышевского были вложены им в конверт на имя князя Суворова, переданы коменданту крепости для отправки по назначению и... ловко перехвачены Третьим отделением. До князя Суворова они не дошли [2]).

Не получая ответа на свои письма и догадываясь, что они не доставлены по назначению, Чернышевский начал энергично требовать освобождения через коменданта крепости. Но все его записки и устные заявления оставались без ответа. Попытки добиться свидания с женой также были

---

[1]) Разумеется, Чернышевский приводил чисто внешние, формальные причины неприязненных отношений между ним и Герценом и не касался более глубоких, внутренних разногласий. (См. прим. к гл. XVII и XX).

[2]) Третье отделение сумело так искусно похоронить в своих архивах опасные для него письма, что они бесследно исчезли на целые 55 лет. И только революция 1917 года, низвергнувшая самодержавие, дала возможность проникнуть в зловещие тайны Третьего отделения и извлечь на свет эти ценные документы.

безуспешны. Тогда Николай Гаврилович принял смелое решение: 28 января 1863 г. он начал голодовку. Это было неслыханное в тюремной летописи событие. Чернышевский ввел новый способ борьбы в историю русской тюрьмы и ссылки. Крепостное начальство было к нему неподготовлено — оно растерялось. Выдержав 9-дневную голодовку, Чернышевский прекратил ее и заявил коменданту крепости, что снова начнет голодовку и доведет ее до конца, т.-е. уморит себя голодной смертью, если ему не дадут свидания с женой. Комендант уже убедился, что это не пустая угроза в устах Чернышевского: 23 февраля 1863 года, через 7½ месяцев после ареста, ему, наконец, было дано свидание с женой.

Ольга Сократовна, разумеется, была поражена известием об аресте мужа. Но, по свойственной ей беспечности и легкомыслию, она скоро была успокоена уверениями родных, что все хорошо кончится. В ожидании близкого освобождения Николая Гавриловича, неуравновешенная молодая женщина продолжала вести рассеянный образ жизни. Разместив своих Сашу и Мишу по родным, она раз'езжала между Петербургом и Саратовым, по-прежнему веселилась и мотала деньги, совершенно не отдавая себе отчета в том, откуда они берутся. Некрасов и Пыпин, из любви к Чернышевскому, заботились о ее благосостоянии. За полгода в ее руках перебывало больше тысячи рублей, но ей все не хватало...

Николай Гаврилович был счастлив увидеть свою «голубочку». Он казался веселым, уверял Ольгу Сократовну, что сидит он именно потому, что не знают, что с ним сделать.

Дальнейшие свидания были запрещены следственной комиссией до окончания следствия. Чернышевский упорно продолжал требовать освобождения, или, по крайней мере, новых свиданий с женой. Но комиссия решила больше не давать ему никаких «послаблений». В ее руках был уже крупный козырь.

Лозунг «ищите и обрящете», брошенный князем Голицыным, возымел свое действие. Работа закипела. Продажные перья заскрипели. Ищейки Третьего отделения напали на след.

В 1861 г. в Москве была открыта полицией тайная типография для печатания революционных воззваний. В числе лиц, привлеченных по этому делу, был корнет Всеволод Костомаров, племянник известного историка Н. Костомарова. Он был приговорен к заключению в крепости и разжалован в солдаты. Трусливый и ничтожный Костомаров решил купить себе прощение ценою предательства. Проницательные чиновники Третьего отделения, разгадав Костомарова, решили использовать его для своих целей и предложили ему «сотрудничество». Новый сотрудник начал свою карьеру с предательства М. И. Михайлова: последний был обязан ему своей каторгой. Теперь Костомарову предстояло оказать правительству еще более важную услугу.

Разжалованный в солдаты, Костомаров был отправлен на место служения на Кавказ, в сопровождении жандармского капитана Чулкова, которому были даны строгие инструкции. 1 марта 1863 г. путешественники прибыли в Москву, где и приступили к решительным действиям. На помощь Костомарову был вызван некий мещанин Яковлев, бывший прежде переписчиком у Костомарова. Последний был прикосновенен к литературе и в качестве начинающего писателя пользовался поддержкой и помощью Чернышевского. Теперь Костомаров собирался отплатить Николаю Гавриловичу за его доброту... Яковлев должен был сыграть роль посредника в иудином деле. Достойная пара сочинила донос, за подписью Яковлева. В этом доносе сообщалось, что летом 1861 г. Костомаров приезжал в Москву к Чернышевскому, чтобы поторопить его с печатанием какого-то воззвания. Во время прогулки Костомарова и Чернышевского в саду, последний, якобы, произнес следующие слова, подслушанные Яковлевым: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон! Вы ждали от царя воли, вот вам воля и вышла!»

Вскоре после доноса Яковлева, в руки Чулкова будто бы невзначай попадает письмо Костомарова к приятелю, в котором черными красками изображаются злодейства Чернышевского, сеющего смуту среди молодежи и толкающего ее на гибель, при чем сам Чернышвский трусливо остается в

стороне. В письме категорически утверждалось, что Чернышевский написал воззвание «К барским крестьянам» и передал его для напечатания Костомарову.

Главной целью показания Яковлева и Костомарова было установить, что Чернышевский является автором прокламации «К барским крестьянам», — на что до сих пор в руках у Третьего отделения не было ни малейшего доказательства. Само собой разумеется, что оба доносчика были немедленно отправлены в Петербург, в распоряжение Третьего отделения. Не довольствуясь полученными «документами», Третье отделение, при посредстве своего сотрудника Костомарова, сфабриковало новое «вещественное доказательство». Это была записка, написанная карандашом, на которой почерком, похожим на почерк Чернышевского, была набросана пара строк:

«В. Д. (т.-е. Всеволод Дмитриевич — имя и отчество Костомарова). Вместо «срочно обязанные» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) наберите везде «временно обязанные», как это называется в Положениях. Ваш. Ч.». Почерк Чернышевского, особенно подпись, был подделан весьма неискусно. Но нужды нет! «Вещественное доказательство» налицо.

16 марта Николай Гаврилович был вызван на второй допрос. Ему об'явили о показаниях Костомарова и пред'явили карандашную записку. Чернышевский отверг все заявления доносчика и не признал записку своей. Он держался, как всегда, спокойно и с достоинством, но душа его была отравлена горечью: он понял, что Третье отделение решило не выпускать его из своих когтей.

Через 3 дня Чернышевскому была дана очная ставка с Костомаровым. Высоко держа голову, с сознанием своей нравственной силы, Николай Гаврилович презрительно смотрел на своего Иуду-предателя; шаг за шагом он опровергал все его обвинения. Но доносчик, не смущаясь, нагло продолжал утверждать свое. Тогда жандармы, видя, что очная ставка не дала никаких результатов, решили, для окончательного изобличения своего врага, призвать к допросу двух лиц, замешанных в его деле: упомянутого выше меща-

нина Яковлева, а также студента Сороко, помогавшего, по словам Костомарова, распространять воззвание «К барским крестьянам». Но здесь Третье отделение потерпело полную неудачу. Сороко, вызванный в Петербург, решительно отверг все показания Костомарова. С Яковлевым же дело приняло еще худший оборот.

С этим добродетельным мещанином, столь преданным престол-отечеству, по дороге в Петербург приключилась следующая оказия: получив от жандармерии приличное вознаграждение за свои услуги, он на радостях основательно напился и за буйство в пьяном виде был посажен в смирительный дом в Москве. На беду Третьего отделения в московском смирительном доме в то время содержалось несколько политических заключенных. Яковлев разболтал им, что Костомаров подкупил его и подговорил дать ложное показание против Чернышевского. «Политические» немедленно послали подробное письмо с разоблачением лжесвидетеля издателю «Современника» Некрасову, а последний переслал его в следственную комиссию. Взбешенная этой неожиданной неприятностью, комиссия постановила выслать Яковлева под надзор полиции в Астраханскую губернию.

Таким образом, из двух свидетелей обвинения, на которых ссылался Костомаров, один, Сороко, категорически отрицал вину Чернышевского, а другой, Яковлев, оказался подкупленным пьяницей, свидетельство которого, разумеется, не могло заслуживать доверия. Тем не менее, показания Яковлева были оставлены в силе. Мы увидим впоследствии, что сенат даже не постеснялся ссылаться на них в своем приговоре. Что касается Сороко, то комиссия после допроса отпустила его на все четыре стороны. Этим поступком она совершенно беззастенчиво подчеркивала, что не придает значения наветам Костомарова. И, несмотря на это, судьи Чернышевского пользовались доносом Костомарова, чтобы погубить ненавистного им писателя!

Чернышевскому продолжали давать очные ставки с Костомаровым. Но эти ставки по-прежнему оставались безрезультатными. На одной из них Николай Гаврилович, обращаясь к следственной комиссии, твердо сказал: «Сколько бы

меня ни держали, я поседею, умру, — но прежнего своего показания не изменю». Эти слова дышали величием духа и непоколебимой уверенностью в своей правоте: наш благородный мыслитель оставался верен им до конца...

В начале мая дело Чернышевского было передано в сенат. Одновременно с этим был освобожден Костомаров: в его услугах больше не нуждались, он купил себе свободу ценою гибели одного из лучших людей России.

2 мая и 7 июня Чернышевский дал подробные письменные показания сенату, в которых весьма убедительно опровергал доносы Костомарова и Яковлева фактическими данными и ссылками на действующие законы. Сенат, как и следовало ожидать, не обратил никакого внимания на показания Чернышевского. Сенатские секретари, волею властей предержащих, превратились в экспертов-графологов: им было поручено установить сходство пресловутой карандашной записки с почерком обвиняемого. Из восьми экспертов только двое признали безусловное тождество почерков; шестеро признали несходство почерков в общем характере, но сходство в 12 буквах из 25. Сенат же, со своей стороны, признал полное сходство почерков и в общем характере, и в частностях.

Процесс, видимо, близился к желанному концу — к осуждению Чернышевского. Сенаторы уже радостно потирали руки... Но как ни как, разногласие «экспертов» подливало ложку дегтя в бочку меду: излюбленная «карандашная записка», в конце концов, также не оправдала ожиданий, как верноподданнические доносы Костомарова и Яковлева. Надо было пустить в ход нечто более веское или, по крайней мере, более увесистое, чем полустершаяся записка карандашом на клочке бумаги. Такая увесистая улика не заставила себя ждать: 2 июля в сенат было прислано министром юстиции подробное анонимное донесение «О литературной деятельности Чернышевского». Это произведение видимо принадлежало перу Костомарова, а может быть, и было плодом коллективного творчества нескольких доносчиков. «Записка о литературной деятельности Чернышевского» называла последнего проповедником материализма и коммунизма, по-

дробно разбирала его работы в «Современнике» и доказывала наличность тесной связи между этими работами и содержанием революционных прокламаций. «Записка» заканчивалась следующими многозначительными словами: «Прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его—подробный к ним комментарий». Эти слова вскрывали истинную подоплеку процесса Чернышевского: великий мыслитель судился не за прямое участие в революционной деятельности, в пользу которого у сената не было *ни одного* доказательства, а за свою литературную деятельность, проникнутую революционным духом. Правда, статьи Чернышевского, которые ставились ему в вину, все без исключения в свое время были пропущены правительственной цензурой. Но к лицу ли знатным сенаторам в раззолоченных мундирах смущаться такою мелочью!

Наконец, Третье отделение, работавшее не покладая рук, чтобы утопить Чернышевского, решает смастерить еще один подлог для достойного «увенчания здания». В сенат был доставлен новый документ—якобы собственноручное письмо Чернышевского, адресованное к какому-то «Алексею Николаевичу». В этом документе шла речь о тайном печатании и распространении революционных воззваний, об имеющемся у адресата печатном станке и т. п. Таинственный Алексей Николаевич, по авторитетному мнению сената, был не кто иной, как известный поэт А. Н. Плещеев. Новоявленная письменная улика была пред'явлена обвиняемому. Чернышевский, разумеется, не признал письма своим. Снова появившийся на сцене Костомаров, разумеется, подтвердил, что письмо написано Чернышевским. Тогда Николай Гаврилович потребовал, чтобы ему дали возможность сличить почерк письма с почерком Костомарова, при помощи лупы, увеличивающей в 10—12 раз. Но ему было в этом отказано. Мирный обыватель, когда-то в юности принимавший участие в кружке Петрашевского, поэт Плещеев, вызванный на допрос, решительно отрицал, что письмо адресовано ему и утверждал, что почерк письма не имеет ничего общего с почерком Чернышевского. После допроса с Плещеевым повторилась та же история, что и с Сороко: его с миром отпустили на все

четыре стороны, несмотря на то, что письмо, якобы уличавшее Чернышевского, ничуть не в меньшей степени изобличало адресата — «Алексея Николаевича» в преступной революционной деятельности. Сенаторы ничуть не стеснялись «пустыми формальностями». Они считали излишним соблюдать хотя бы внешнюю видимость правосудия: письмо, совершенно незаслуживающее доверия по отношению к Плещееву, оказывалось подавляющей уликой против Чернышевского...

Теперь улик против обвиняемого было вполне достаточно. 7 февраля 1864 года сенат вынес Чернышевскому обвинительный приговор.

ГЛАВА XXIII

Приговор.—Гражданская казнь Чернышевского.

Согласно определению сената, Чернышевскому вменялись в вину следующие 3 преступления:

1. Противозаконные *сношения* с изгнанником *Герценом,* стремящимся пропагандой низвергнуть существующий в России образ правления. Это обвинение было признано недоказанным.

2. Сочинение возмутительного *воззвания «К барским крестьянам»*. Это обвинение основывалось на следующих данных: донос Костомарова, знаменитая «карандашная записка», подделанная под почерк Чернышевского, и, наконец, показания мещанина Яковлева, того самого Яковлева, который был уличен в подкупе товарищами по заключению и затем сослан за пьянство и буйство на дальний север.

3. Тягчайшее преступление—*приготовление к возмущению,* чему доказательством служит «собственноручное письмо Чернышевского к некоему Алексею Николаевичу (Плещееву)».

Вина Чернышевского усугублялась «упорным его запирательством, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся».

Исходя из упомянутых соображений, правительствующий сенат постановил:

«Отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания «К барским крестьянам» и передачу оного для напечатания в видах распространения—лишить всех прав состояния и сослать на каторжную работу в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда».

7 апреля приговор сената был утвержден Александром II в таком виде: «Быть по сему, но с тем, чтобы срок каторжной работы был сокращен наполовину».

Героические усилия Третьего отделения увенчались полным успехом. Правительство торжествовало победу. Но ему мало было политической смерти своего злейшего врага: ему надо было еще ошельмовать, пригвоздить его к позорному столбу. И вот, перед отправкой Чернышевского в Сибирь, над ним совершается торжественный обряд «гражданской казни».

19 мая 1864 года утро в столице было пасмурное и холодное. Бледное петербургское солнце встало в тумане. С раннего утра моросил мелкий дождь. Но, несмотря на дурную погоду, в окрестностях Мытнинской площади к 10 часам утра замечалось необычайное оживление. Хотя день был не праздничный и не базарный, на площадь со всех сторон стекались толпы народа. Рабочего люда почти не было видно. Преобладала «чистая публика». Там и сям мелькали студенческие пледы, широкополые шляпы, очки, розовые девичьи лица с коротко остриженными волосами. В толпе выделялась нескладная фигура известного петербургского писателя-этнографа [1]) Павла Ивановича Якушкина, широкоплечего человека, в русском платье, с дубинкой в руках. Лица у всех были сосредоточенные и взволнованные. Среди молодежи раздавался сочувственный шопот.

— Будут срывать мундир и эполеты,—громко сказал лавочник стоявшему возле мастеровому.

— Поджигателя будут шельмовать,—подхватил другой.—

— Из бар, из поляков,—пояснил человек в рабочей блузе, неодобрительно поглядывая на двух изящно одетых женщин и длинноволосого студента, пробиравшихся через толпу.

Посреди площади стоял высокий помост, выкрашенный в черный цвет. На одном конце его была лесенка, на противоположном стоял высокий черный столб с ввинченными в него кольцами, от которых шли цепи. Помост был окружен

[1]) Этнография—наука, занимающаяся описанием племен и народов.

плотным кольцом пешей и конной полиции. За ним теснились толпы народа:

Все ждали и мокли под дождем.

— Едут, везут! — послышался сдавленный крик среди толпы.

К площади под'езжала карета, окруженная жандармами с саблями наголо. Интеллигентная публика бросилась к карете.

— Смирно! — раздалась команда у эшафота, и конные жандармы стали оттеснять публику.

От кареты к помосту быстрыми шагами двигались четыре человека: правительственный чиновник, два палача и худощавый, бледный человек в очках, с белым высоким лбом и рыжеватыми волнистыми волосами. То был Николай Гаврилович Чернышевский.

Чернышевский был возведен на эшафот. Палач грубо сбросил с него шапку и надел ему на шею деревянную черную доску с надписью «Государственный преступник». Затем чиновник стал читать сенатский приговор.

Чернышевский, казалось, его не слышал. Он внимательно обводил толпу своим близоруким взглядом, словно отыскивая кого-то. «Преступник» был совершенно спокоен.

На людной площади, привязанный к столбу,
Бестрепетно встречал он грозную судьбу,
И привлеченную диковинным позором
Толпу обозревал невозмутимым взором... [1]).

Наконец, чтение приговора закончилось. Позорный памятник царского правосудия скрылся в портфеле чиновника.

Настала тишина. Меж тысячей народа
Ни ропота, ни слез. Лишь плакала природа...

Палачи подвели «преступника» ближе к позорному столбу, привычным движением продели его руки в кольца и притянули цепями к столбу. Дождь пошел сильнее. Палач

[1]) «Преступник»—стихотворение П. М. Ковалевского, написанное по поводу гражданской казни Чернышевского.

поднял шапку и надел ее на голову Чернышевскому. Последний вежливо поблагодарил.

У многих из присутствовавших слезы туманили глаза, и мучительно сжималось сердце. А «преступник» по-прежнему невозмутимо обозревал толпу. Так прошли мучительные четверть часа, которые многим показались вечностью.

Наконец, один из палачей поставил Чернышевского на колени. По бледному лицу Николая Гавриловича на миг пробежала судорга страдания. Палач переломил над его головой заранее надломленную саблю. В этот момент произошло нечто неожиданное: через головы жандармов перелетел большой букет цветов и упал к ногам «преступника». Красные розы дерзко сверкали капельками росы. Пышные гвоздики вызывающим красочным пятном алели на черном помосте. За первым букетом полетели еще два—три.

Среди полиции поднялось смятение. Темные личности в штатском платье шныряли в толпе и расспрашивали: — Кто бросил цветы? — Я, я! — возбужденно воскликнула молодая девушка с коротко остриженными волосами. Ее тотчас же арестовали и увезли. Это была курсистка Михаэлис, сестра жены Н. В. Шелгунова.

«Преступника» поспешно подняли с колен и посадили в карету. Карета под конвоем жандармов шагом тронулась в крепость. Кучки молодежи догнали ее и пошли рядом с нею.

— Прощай, Чернышевский! — крикнул Якушкин. Это послужило сигналом к овации:—Прощайте, до свидания!—кричали возбужденные голоса. Букеты красных цветов снова полетели в карету. Чернышевский выглядывал из окна кареты и ласково раскланивался.

— Рысью!—скомандовал жандармский офицер. Процессия с грохотом стала удаляться от толпы. Несколько молодых людей бросились в погоню за каретой. Чернышевский с приветливой улыбкой погрозил им пальцем. Он понимал, что этой кучке горячих голов грозит арест и призывал к спокойствию. Толпа медленно разошлась...

Немного спустя, Герцен писал в «Колоколе»:

«Неужели никто из русских художников не нарисует картины, представляющей Чернышевского у позорного стол-

ба? Этот обличительный холст будет образ для будущих поколений и закрепит шельмованье тупых злодеев, привязывающих мысль человеческую к столбу преступников, делая его товарищем креста.

«Чернышевский был вами выставлен к позорному столбу на четверть часа, а вы на сколько лет останетесь пригвожденными к нему?

«Проклятье вам, проклятье — и месть!..»

ГЛАВА XXIV

Отправка в Сибирь.—Чернышевский в Кадае.—Смерть Михайлова.—Свидание с женой.—Перевод на Александровский завод.—Отношение ссыльных.—Образ жизни Чернышевского на Александровском заводе.—Взгляд на франко-прусскую войну.—Сибирские произведения.

20 мая 1864 года Чернышевский, в сопровождении двух жандармов, был отправлен в далекий, далекий путь. Его напутствовала неизменная любовь и преданность Пыпиных. После приговора им были разрешены свидания. Последние две недели братья и сестры Пыпины были с узником с утра до вечера, они деятельно снаряжали его к от'езду. Отсутствовала лишь та, чьей заботы и внимания больше всего жаждало его сердце: Ольга Сократовна, занятая, по обыкновению, своими раз'ездами, приехала в Петербург лишь за день перед отправкой Николая Гавриловича. Она уехала утром 20 мая, даже не дождавшись его от'езда...

Что передумывал, что испытывал Николай Гаврилович, когда, закованный в кандалы, он подвигался по убегающей вдаль бесконечной ленте сибирской дороги? В расцвете сил и таланта, его насильственно оторвали от всего, что он любил: от семьи, от журнала, от кипучей общественной работы. Сердце его не могло не сочиться кровью. Но этот человек, хрупкий телом и сильный духом, кроткий и мужественный, не издал ни одной жалобы. Он давно предузнал свой жребий, он предупреждал любимую женщину. Спокойно и неуклонно он шел по раз намеченному пути. Теперь час пробил... Николай Гаврилович знал, что юридически он невиновен. Но по существу он не отрицал своей вины, с точки зрения русского правительства. Эта вина заключалась в непоколебимой верности своим убеждениям, толкавшим его на революцион-

ную деятельность. И, чем бы ни предстояло искупить эту вину, он не захотел бы отречься от прошлого, не захотел бы изменить тому, что носил в сокровенной глубине своего «я». В этом сознании свободно исполненного долга, изгнанник черпал нравственную силу и спокойствие...

Долог и утомителен был путь Чернышевского. Слабый физически, привыкший к сидячей жизни, он переносил его с большим трудом. Но родные, особенно Ольга Сократовна, не должны были знать о его лишениях. Он писал им с дороги коротенькие, бодрые весточки, в которых уверял, что совершенно здоров, что ехать ему удобно и покойно. Между тем он порой изнемогал от усталости. Унылые картины сибирской природы, томительная цепь лесов и гор давили его своим однообразием. Он подвигался все дальше и дальше вглубь сурового края. Глухая тайга раскрывала перед ним свои холодные об'ятья. Наконец, в половине августа, после трехмесячного пути, Чернышевский прибыл на место назначения, в Кадай, на рудники Нерчинского горного округа, недалеко от границы Монголии.

Чернышевского поселили в маленьком домике на склоне горы, с плохо сколоченными стенами, служившими весьма ненадежной защитой от сибирских морозов. Принудительных работ в Кадае не было. Но и заниматься умственным трудом почти не было возможности: Николай Гаврилович сильно страдал от холода и старого ревматизма, обострявшегося в такой обстановке. Это не мешало ему в письмах к родным расхваливать свою жизнь, обстановку и окружающую природу.

В Нерчинских рудниках Чернышевский встретился со старым товарищем и соратником Михаилом Илларионовичем Михайловым. Поэт доживал свои последние месяцы. Он был тяжело болен, измучен физическими и моральными лишениями. Вскоре после приезда Николая Гавриловича, капля, переполнившая чашу страданий Михайлова, положила конец его мученической жизни.

Михайлов был первым политическим «преступником», сосланным в Сибирь при Александре II. Его провожали в ссылку горячие симпатии всего передового общества. Еще в

крепости его засыпали приветствиями, цветами, лакомствами. Его слава донеслась в далекую Сибирь. Проезд Михайлова на место назначения был настоящим триумфальным шествием. Местная администрация старалась смягчить его участь: его освободили от кандалов, старались делать ему всяческие послабления. По дороге он подолгу останавливался для отдыха в больших сибирских городах—в Тобольске, в Томске, и власти смотрели сквозь пальцы, как представители местной интеллигенции наперерыв приглашали к себе арестанта и устраивали ему восторженный прием.

В первое время на каторге Михайлову также жилось сравнительно недурно. Но вскоре после праздника наступило похмелье. В Петербург пришел донос о «противозаконных послаблениях, оказанных властями государственному преступнику Михайлову». В это время правительство уже окончательно повернуло на путь реакции: Александр II приказал произвести строгое расследование. В результате несколько видных представителей сибирской администрации понесли кару за свое гуманное отношение к Михайлову. Особенно тяжело пострадал начальник Нерчинского округа полковник Дейхман, освободивший ссыльного поэта от принудительных работ: он был разжалован в рядовые. Узнав о том, как поплатился Дейхман за свою доброту к нему, Михайлов 3 августа 1865 года отравился цианистым кали.

Смерть Михайлова, конечно, не могла пройти бесследно для Чернышевского. Но свои переживания он таил глубоко в себе. На его переписке с родными эти переживания ничуть не отражались. Об одном только молил он свою «милую Радость» Ольгу Сократовну: быть «здоровенькой и веселенькой», стараться побольше развлекаться и поменьше думать о нем, которому так хорошо и удобно живется... Когда же Ольга Сократовна в одном из писем выразила желание приехать для свидания с ним, Николай Гаврилович испугался за нее. Он слишком радужными красками описывал прелести пути: теперь ему приходилось бить отбой: «Что сказать тебе, моя милая Голубочка, о твоем намерении ехать сюда? Подумай, подумай, как велика дорога, как она утомительна...

Умоляю Тебя, подумай о дальности, об утомительности пути!»

Но мольбы не помогли. Летом 1866 г. Ольга Сократовна пустилась в путь с восьмилетним сыном Мишей, в сопровождении доктора Павлинова. Поездка ее была обставлена необыкновенными затруднениями. В Иркутске путешественников задержали на целых два месяца. Их подозревали в том что они едут с целью освободить «государственного преступника» Чернышевского. Чтобы помешать таким зловредным намерениям, доктора Павлинова задержали в Иркутске, а вместо него дали в провожатые Ольге Сократовне вечно пьяного жандарма, с которым она и прибыла к мужу. Как ни счастлив был Николай Гаврилович увидеть любимую женщину и своего ребенка, но свидания в присутствии пьяного блюстителя власти были так мучительны, что он скоро стал уговаривать жену вернуться обратно. Через 4 дня Ольга Сократовна отправилась в обратный путь.

В положении Чернышевского скоро произошла некоторая перемена к лучшему. Обстоятельства сложились так, что домик, занимаемый им в Кадае, понадобился под казарму. В сентябре 1866 года Чернышевский был переведен на Александровский завод, расположенный в 30 верстах от Кадая. Помещение это оказалось гораздо более приспособленным для жилья, чем прежнее. Здесь же Николай Гаврилович встретил людей, высоко ценивших его и смягчивших для него тяжесть одиночества.

Тюремное население Александровского завода представляло собой довольно пеструю картину. Главную массу его составляли ссыльные поляки, городские рабочие и мастеровые, простые полуграмотные люди; были здесь и русские политические ссыльные—по делам о распространении прокламаций, о военных организациях, об оскорблении величества. Были здесь и шесть человек—«каракозовцев», сосланных по делу о покушении Каракозова на Александра II 4 апреля 1866 года. Это была передовая, образованная молодежь, горячо преданная Чернышевскому, давно привыкшая любить и уважать автора «Что делать» и «Примечаний» к Миллю.

Но не одни образованные сожители относились хорошо к Чернышевскому. Своей простотой и приветливостью, своей необычайной чуткостью и каким-то обаянием нравственной чистоты, веявшим от его личности,—он покорял все сердца, от представителей администрации до стороживших его казаков. Среди соседей его, польских мастеровых, одно время развилась страсть к музыке. Они сами изготовляли скрипки, и по целым вечерам усердно разыгрывали трио и квартеты, думая этим доставить удовольствие Чернышевскому. Последний очень страдал от этой доморощенной музыки, но по деликатности виду не показывал. Он лишь старался пораньше засыпать под музыку, а затем работал по целым ночам.

Николай Гаврилович жил очень скромно, стараясь расходовать как можно меньше из денег, присылаемых ему неизменным, верным другом Пыпиным через Ольгу Сократовну. Обед он получал из кухни «государственных преступников». Зиму и лето он ходил в теплом халате, с растегнутым воротом, в валенках и шапочке. Почти весь день Николай Гаврилович проводил за письменным столом, с трудом отрываясь на полчаса для обеда и небольшой прогулки. Обязательных работ на Александровском заводе не было. Но иногда на ссыльных возлагались обязанности по дому,—как, например, топка печей, доставка воды и т. под. Чернышевский всегда стремился помогать товарищам. Но у него обыкновенно ничего не выходило: благодаря своей близорукости и неловкости, он больше мешал, чем помогал. «Вообще, в этом отношении с ним была просто беда»,—любовно-насмешливо вспоминал впоследствии один из его товарищей по ссылке.—«Он не мог видеть нас работающими без того, чтобы не вмешаться и не помешать.

«Работать по дому приходилось немало: и дрова колоть, и печи топить, и воду на себе возить; и всегда он явится и помешает. Да и страшно за него было: так он ловок был, что того и гляди, покалечит себя, так что частенько приходилось насильно отнимать у него режущие и колющие, инструменты и дружелюбно его выталкивать. После мы выучились отделываться от него напоминанием о некоем дворнике, которому, по его собственному рассказу, он хотел

помочь внести дрова на пятый этаж, и так ловко помог, что рассыпал всю вязанку, за что и получил надлежащее возмездие, в форме крепких слов. Как сунется Николай Гаврилович «помогать» нам, так и крикнем ему: «А вспомните, стержень добродители (как мы шутливо называли его), дворника» — ну, и отстанет»... [1]).

В комнате, занимаемой Чернышевским, по стенам были устроены широкие нары. На них помещалась кровать Николая Гавриловича и небольшой столик. На этом возвышении он проводил большую часть своего времени: там он и писал, оттуда и беседовал с посетителями. По вечерам камера Николая Гавриловича наполнялась гостями: к нему стекалась молодежь, начинались оживленные беседы и споры. Говорил большей частью Николай Гаврилович. Сидя на эстраде в своей черной шапочке, беспрестанно ерзающей на голове, он говорил, не умолкая. Иногда Николай Гаврилович читал, держа перед собой раскрытую тетрадь, читал плавно и легко в течение 3—4 часов подряд. Но каково было удивление слушателей, когда один из них, заглянув в тетрадь, увидел, что в ней не было написано ни одного слова: все, что якобы читал Чернышевский, было его импровизацией! Огромные знания, богатая фантазия и дар слова делали Николая Гавриловича изумительным рассказчиком. Он переносил своих слушателей в далекое прошлое, рисуя эпохи древнего Рима, Возрождения, крестьянских войн, такими яркими красками, с таким обилием деталей, точно сам был непосредственным их участником. Его рассказы обогащали, будили мысль, заставляли припоминать, сравнивать, делать выводы. Порою мысль его уносилась вперед, за грани веков, увлекая слушателей в светлое царство будущей гармонии... Очарованная аудитория слушала, затаив дыхание, упиваясь красотой его идей и образов.

Иногда беседа подолгу останавливалась на жгучих вопросах современности. Так было в 1870 году, во время

---

1) П. Ф. Николаев—«Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге (в Александровском заводе) 1867—1872 года». Москва, 1906, стр. 15.

франко-прусской войны. С необыкновенной проницательностью Чернышевский предсказал весь ход событий. Большинство ссыльных верило, что Франция, сбросив Луи Бонапарта, этого «маленького Наполеона», как презрительно называл его знаменитый писатель Виктор Гюго,—вся будет охвачена революционным порывом, который и приведет к окончательной победе над Германией и к торжеству демократических идей. Чернышевский жестоко высмеивал эти иллюзии; он пророчил Коммуну, ее гибель, торжество буржуазии и конечную победу Германии. Многие восхищались звонкими фразами французского президента Фавра: «Ни пяди французской земли Германии, ни камня французских крепостей». Чернышевский знал цену этим торжественным обещаниям. Он с горькой иронией высмеивал пышные фразы французских министров. «Если бы они отдали немцам Страсбург, один только Страсбург,—говорил он,—дело было бы кончено. И от скольких зол милитаризма, народного разорения, от скольких народных бедствий *неизбежной в будущем общеевропейской войны* избавлена была бы Европа. И почему бы им не отдать Страсбург? Ведь не туркам отдали бы они его. Просто одна крепость из рук одной культурной нации перешла бы в руки другой» [1]).

Парижская Коммуна долго стояла в центре интересов Чернышевского и его окружающих. Маленькая колония Александровского завода с лихорадочным вниманием следила за событиями, разыгравшимися в Париже. Наконец, громовые раскаты революционной грозы затихли, буря пронеслась; Парижская Коммуна была затоплена в крови.

Жизнь «государственных преступников» на Александровском заводе мало-по-малу вошла в свою колею. Николай Гаврилович по-прежнему писал ночи напролет. Писать для него значило то же, что дышать. Кипучая литературная

---

[1]) П. Николаев.—«Личные воспоминания», стр. 17. Здесь сила мысли Чернышевского становится поистине изумительной: в 1870 году он предсказывает общеевропейскую войну 1914—18 года, в разгар патриотических страстей он предвосхищает интернациональную точку зрения, которой в то время было чуждо огромное большинство социалистов.

работа была его стихией, вне ее он не мог жить. Писал Чернышевский преимущественно в беллетристической форме. Уцелевшие сибирские его произведения составили впоследствии целый том в 700 страниц. Самым значительным из этих произведений был автобиографический роман «Пролог», где Чернышевский изображал подготовительный период к крестьянской реформе, выводил самого себя, под именем Волгина, и Добролюбова, под именем Левицкого. Себя Николай Гаврилович изображал с добродушной иронией, в виде смешного, неловкого чудака, вялого и флегматичного. Зато близкие ему люди изображены в самом идеальном свете. Любовно рисует он благородный образ Добролюбова, с восторгом говорит о красоте, уме и обаянии своей «голубочки». Роман посвящен «той, в которой будут узнавать Волгину». «Пролог», особенно первая его часть, «Пролог пролога», интересен не только автобиографическими чертами, но и широкой, удачно зарисованной картиной общественного движения в первую половину 60-х годов. Весьма выпукло схвачены прекраснодушные силуэты либералов, нерешительно, с оглядкой шествующих вперед и готовых отступить при властном окрике сверху, дикообразные фигуры мракобесов-помещиков, для вразумления которых либералы выставляют радикала Волгина, в виде пугала. На фоне этих сумеречных душ ярким, красочным пятном выступает образ пылкого, прямолинейного революционера Соколовского (Сераковского).

В остальных сибирских произведениях Чернышевского действие происходит в самых разнообразных условиях места и времени. Но, что бы ни писал Чернышевский—будь то «Гимн деве неба», повесть «Из Академии Лазурных гор» или «Рассказы из Белого зала»,—в какую бы обстановку ни переносил он своих слушателей—будь то Сицилия, античная Греция, горы Кавказа или острова Тихого океана, — наш писатель всегда оставался верен самому себе. Каждая строчка его дышит любовью к людям, глубокой верой в будущее счастье человечества, каждое слово проникнуто благородным стремлением ободрить усталого, просветить темного, приобщить его к сокровищнице знания, сделать его

достоянием те идеи, которые представляются неоспоримыми светлому уму нашего писателя. Чернышевский не потрясает красноречием, не гремит литаврами. Но его голос глубоко проникает в душу, как тот «тихий голос» тоскующей в провинциальной глуши, полузадавленной жизнью девушки, который в одной из его повестей страстно говорит о своем праве на счастье, о праве всех и каждого на жизнь и радости жизни...

ГЛАВА XXV.

Пьесы Чернышевского.—Переписка с женой.—Заботы и тревоги об Ольге Сократовне.—Попытка разрыва.—Мечты об окончании срока каторги.—Надежды и разочарования.

Любимым развлечением ссыльных на Александровском заводе были домашние спектакли. Обстановка этих спектаклей была самая примитивная: простыня вместо занавеса, убогая казенная мебель, мужчины в женских ролях. Николай Гаврилович принимал живейшее участие в этих бесхитростных развлечениях, сперва в качестве зрителя, а затем в качестве автора пьес. Таких пьес для тюремного «театра» им было написано три. Из них особенно интересна первая. Содержание этой комедии, полной юмора и тонкой иронии, в кратких чертах таково.

Два образованных господина, писатель и юрист, весьма либерально настроенные, идут по улице и рассуждают о «высоких материях». Проходя мимо одного дома, они слышат отчаянные вопли кем-то истязуемой женщины. Наши либералы, как и подобает культурным людям, вбегают в дом, чтобы вырвать несчастную жертву из рук палача. Навстречу им выходит старый слуга и рассказывает, что жестокий барин постоянно издевается над барыней и избивает ее до полусмерти, что он кутит и напивается на ее же деньги, так как дом и все имущество принадлежат ей. Заливаясь слезами, он умоляет прохожих спасти его бедную барыню. Наши культурные люди приходят в благородное негодование и произносят красноречивые речи на тему о праве, о законности, о гнусности насилия и т. под. В это время выходит сам деспот. Либералы нерешительно подходят к нему с об'яснениями, но тут же сбиваются и запутываются в собственном красноречии. Когда же деспот хватается за на-

гайку, они падают перед ним на колени и просят пощады. Изверг приказывает им лечь на брюхо и ждать его распоряжений, а сам уходит в соседнюю комнату, откуда снова раздаются душераздирающие крики. Мало-по-малу настроение наших «освободителей» меняется; они начинают восхищаться силой и мощью тирана и петь хвалебные гимны этой силе. Тиран появляется, садится за стол и начинает насмехаться над ними. Они терпеливо выносят его издевательства и тем обезоруживают его. Тиран милостиво прощает их и даже жалует по рюмке водки, от которой они приходят в восторг и слагают в честь его оду. Между тем наглость деспота все растет, его издевательства над бедной женщиной не знают предела. Тогда старый, слуга, потеряв, наконец, терпение, бросается на него с кулаками и кричит: «Вон из дома моей госпожи!» Трусливый деспот моментально исчезает, а наши рыцари без страха и упрека восхищаются храбростью слуги и уверяют его в своем сочувствии. Но тот гонит вон и их, вслед за тираном, напутствуя их гневными словами: «Эх вы, освободители!».

В пьесе Чернышевского, под покровом шутки, отразились политические взгляды автора. Угнетенную родину, жертву произвола, освобождают не праздно болтающие либералы, а верный слуга—народ, чаша терпения которого, наконец, переполнилась. Он знает цену болтовне либералов и выталкивает их с позором, провожая горькой иронией.

В других двух пьесах, также в аллегорической форме, Чернышевский высказывает свои излюбленные мысли о грядущем освобождении родины от деспотизма, о праве каждого на личное счастье, о свободе любви, о гибельном влиянии предрассудков на судьбу человека.

Тихо и монотонно текла жизнь Чернышевского на Александровском заводе. Вставал он часов в 12, пил чай, вскоре обедал; за чаем и обедом обыкновенно читал. Пообедав, продолжал работать до вечера. В сумерках выходил на прогулку в маленький тюремный дворик и во время прогулки, если никого не было, распевал греческие стихи. После прогулки возвращался, пил чай и снова садился за работу, а инногда шел в общую камеру и просиживал там часов до 12,

беседуя с товарищами по заключению. Затем уходил к себе и писал до рассвета.

Так проходили месяцы, годы... Казалось, ничто не возмущало ровного, однообразного течения этой жизни. Но то была одна лишь видимость. Под спокойной оболочкой бурлила вечно ищущая, кипучая мысль, горячее сердце, полное любви и нежности, замирало в мучительной тревоге. Николай Гаврилович не мог отдаваться целиком своей литературной работе. Он жестоко тосковал по своей ненаглядной «голубочке», рвался к ней всем сердцем, горько упрекал себя за то, что лишил ее жизненных удобств, может быть, разбил ее жизнь. В каждом письме он просит и молит Ольгу Сократовну заботиться о своем здоровьи. «Будь здоровенькая и веселенькая... Умоляю, заботься о своем здоровье, старайся больше развлекаться... Твое здоровье хорошо — это единственное, что необходимо для моего счастья».

Свою жизнь Николай Гаврилович изображает в самых радужных красках. «Живу здесь по-прежнему, со всеми удобствами, совершенно спокойно, без малейших неприятностей, в добрых отношениях со всеми. Весь комфорт, какой нужен для меня по моим грубым привычкам, я имею здесь... Обо мне не думай, моя Радость; лично мне очень хорошо жить. Заботься только о своем здоровьи и удобстве, мысли о котором — единственно важные для меня» (Письмо от 18 апреля 1868 г.).

В каждом письме к жене Чернышевский уверяет, что совершенно здоров. Только в одном проскальзывает известие, что ему удалось прогнать «остатки ревматизма, скорбута и малокровия», мучивших его в Кадае. А между тем, в Кадае, верный своему правилу не причинять ни малейшего волнения Ольге Сократовне известиями о своих недугах, он в таких же оптимистических тонах рисовал свое богатырское здоровье.

Письма Чернышевского, разумеется, проходили через руки властей, что заставляло его быть сдержанным в выражении своего чувства. Лишь изредка ему удавалось послать письмо «с оказией», и тогда он мог излить свободнее свою

любовь, свою тоску... В апреле 1868 года в письме, посланном с дамой, уезжавшей из Сибири, он пишет:

«Милый мой друг, Радость моя, Лялечка! Каково-то поживаешь Ты, моя Красавица?—Вижу, что Ты терпишь много неудобств. Прости меня, моя милая Голубочка, за то, что я, по непрактичности характера, не умел приготовить Тебе обеспеченного состояния. Я слишком беззаботно смотрел на это. Хоть и давно предполагал возможность такой перемены в моей собственной жизни, какая случилась, но не расчитывал, что подобная перемена так надолго отнимет у меня возможность работать для Тебя. Думал, год-полтора— и опять журналы будут наполняться вздором моего сочинения, и Ты будешь иметь прежние доходы, или больше прежних. В этой уверенности я не заботился приготовить независимое состояние для Тебя. Прости меня, мой милый друг».

«Прости, прости!» Эта мысль неотвязно точила Чернышевского. Его не покидало сознание своей вины перед любимой женщиной. Он, который давно предвидел свой жребий и предупреждал о нем Ольгу Сократовну еще невестой, потом молодой женой, в первые годы брака; он, отдававший ей весь свой большой заработок, окруживший ее комфортом, едва заботившийся об удовлетворении своих скромных потребностей; он, и в ссылке живший одной мыслью о ней,—он считал себя бесконечно виноватым перед нею, осыпал себя горькими упреками за то, что не успел обеспечить ее на случай своего ареста. Для искупления своей «вины» перед Ольгой Сократовной, он готов был отдать не только жизнь, но и то, что было ему дороже жизни: связь с любимой. Он готов был порвать эту связь—только бы ей было от того лучше. Николай Гаврилович оставался тем же чистым, самоотверженным юношей, который писал когда-то в саратовском дневнике: «Я буду счастлив твоим счастьем, хотя бы и с другим...»

Да, он готов был отдать ее другому, это была не фраза. Еще летом 1866 года, во время свидания в Кадае, он умолял Ольгу Сократовну порвать связь с ним, отверженным, выйти замуж за другого, с которым она будет счастливее. Ему не удалось тогда уговорить Ольгу Сократовну. Теперь он все

чаще и чаще ломал голову над тем, как заставить ее порвать эти отношения. Николай Гаврилович решил прекратить переписку. «Она мало-по-малу привыкнет, забудет; потом соединит свою судьбу с другим». После письма от 18 апреля 1868 г., посланного с оказией, он не писал больше года. Родные и близкие не знали, что думать. Верный друг и брат «Сашенька» Пыпин осаждал высшую администрацию просьбами сообщить о здоровьи «известного лица»—так именовался Чернышевский в официальной переписке, самое имя его стало запретным. Ольга Сократовна была в тревоге. До Николая Гавриловича стали доходить известия о том, как неблагоприятно отразилось на ее здоровье беспокойство за него и неизвестность о его судьбе... Нечего делать, пришлось уступить. Летом 1869 года Чернышевский возобновил прерванную переписку с женой.

Теперь он живет одной мечтой: об окончании срока каторги. Скоро истекает 7 лет со дня прибытия на каторгу. Тогда его, без сомнения, переведут поближе к России. Он будет жить с семьей, снова получит возможность печатать свои произведения и зарабатывать для своей «милой Радости». Чернышевский ждет-не дождется этого срока. 7 июля 1869 года он пишет жене:

«В следующем июле придет мне время переместиться отсюда поближе к России (по правилам, по которым считаются сроки, один год из семи выбрасывается). Тогда Тебе, моя милая, будет удобно жить вместе со мною».

5 января 1870 г. Чернышевский снова пишет Ольге Сократовне: «В середине лета придет мне время переселиться отсюда, чтобы жить, как мне удобно. Вместе с этим будет мне можно зарабатывать деньги. Здоровье у меня крепкое и достанет его очень надолго; ослабления умственной живости не замечаю в себе, и надеюсь, что и в этом отношении до дряхлости мне очень далеко. Поэтому думаю, что Ты будешь избавлена от неудобств, в которых виноват я тем, что не заботился прежде приобретать столько денег, чтобы оставался у Тебя хороший запас их на бездоходное время... Но поправлю свою вину перед Тобой и перед детьми. Только будьте здоровы... Как не было, так и нет у меня никакой

другой заботы, кроме как о том, сносно ли живется Тебе мой друг; я привык жить только для мыслей о Тебе...»

Мечты узника летят навстречу радостной минуте освобождения. Она все ближе и ближе. Вот уже весна 1870 года. Не за себя радуется наш ссыльный. Он не думает о том, чтобы отдохнуть, успокоиться, залечить свои раны, нанесенные этими долгими-долгими годами тоски, одиночества, тяжелых лишений. Его сердце жаждет лишь одного—отдать остаток сил для блага любимой. Глубокой, беззаветной любовью, светлой верой в близость лучшего будущего, дышит письмо его, написанное в годовщину его свадьбы с Ольгой Сократовной, 29-го апреля 1870 года.

«Милый мой друг, Радость моя, единственная любовь и мысль моя, Лялечка! Давно не писал Тебе так, как жаждало мое сердце. И теперь, моя милая, сдерживаю выражение моего чувства, потому что и это письмо не для чтения Тебе одной, а также и другим, быть может...

Пишу в день свадьбы нашей. Милая Радость моя, благодарю Тебя за то, что озарена Тобой жизнь моя.

Пишу наскоро, потому немного. На обороте пишу Сашеньке.

10 августа кончается мне срок оставаться праздным, бесполезным для Тебя и детей. К осени, думаю, устроюсь где-нибудь в Иркутске, или около Иркутска, и буду уж иметь возможность работать по-прежнему.

Много я сделал горя Тебе. Прости, ты великодушная.

Крепко, крепко обнимаю Тебя, Радость моя, и целую твои ручки. В эти долгие годы не было, как и не будет никогда, ни одного часа, в который бы не давала мне силу мысль о Тебе. Прости человека, наделавшего много тяжелых страданий Тебе, но преданного Тебе безгранично, мой милый друг.

Я совершенно здоров, по обыкновению. Заботься о своем здоровьи—единственном, что дорого для меня на свете.

Скоро все начнет поправляться. С нынешней же осени.

Крепко, крепко обнимаю Тебя, моя несравненная, и целую, и целую твои ненаглядные глаза.

Твой Н. Ч.».

Пришел, наконец, долгожданный, желанный день 10 августа 1870 года. Пришел—и не принес ничего, кроме разочарования. Забытый узник по-прежнему томится напрасными ожиданиями, тревогой за близких, бесплодными надеждами... Месяц проходит за месяцем... Чернышевский теряется в догадках. Что значит эта задержка? Может быть, чиновники, по небрежности, упустили, что, согласно закону, 10 месяцев каторги считаются за год. Но даже и в таком случае, срок должен кончиться 10 июля 1871 года, когда истекает полных 7 лет со дня приезда на место назначения. Если так, надо вооружиться терпением и ждать.

В письме от 12 января 1871 г. Чернышевский приводит эти соображения Ольге Сократовне и с глубокой нежностью убеждает ее потерпеть.

«Все эти недели и месяцы задержки горьки мне только потому, что Ты, моя милая Радость, тяготишься ими. Но моя Оленька, страдавши долго, потерпи еще немного,—вероятно, и в самом худшем случае, не далее, как с полгода...»

За нее, за нее одну ему больно. За себя он ни о чем не жалеет. Он знал, что ему грозит, когда боролся на своем славном посту. Он жил и действовал согласно своим убеждениям и не отдал бы прошлого, какой бы дорогой ценой ни пришлось его искупить.

«А что касается лично до меня,—пишет он в том же письме,—я сам не умею разбораться, согласился ли б я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул Тебя на целые девять лет в огорчения и лишения. За Тебя я жалею, что было так. За себя самого совершенно доволен. А думая о других—об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги, придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их»...

ГЛАВА XXVI

Крушение надежд.—Перевод в Вилюйск.—Дорога.—Жизнь Чернышевского в Вилюйске.—Природа.— Население.— Климат.—Питание.—Оторванность от внешнего мира.—Охрана Чернышевского.

2 декабря 1871 г. мечты и надежды Чернышевского были разбиты самым безжалостным образом. В этот день на Александровском заводе было получено «совершенно секретное предписание» о переводе его, вместо ожидаемого Красноярска или Иркутска, на крайний север Якутской области, в городок Вилюйск. Это распоряжение сопровождалось следующей мотивировкой:

«Важность преступлений, совершенных Чернышевским, и значение, которым пользуется он в среде сочувствующих ему поклонников, вызывают со стороны правительства особые меры для отстранения Чернышевскому возможности побега и отклонения его вредного влияния на общество. В этих видах, для поселения Чернышевского, по случаю окончания определенного ему срока каторжных работ, назначается отдаленное и уединенное место Якутской области, именно город Вилюйск, в котором Чернышевский должен помещаться в том здании, где и раньше его помещались важные преступники».

Итак, и после 9-тилетнего заключения, Чернышевский представлялся опасным. Правительство боялось его «зловредного» влияния на общество. Чтобы избавиться от своего врага, оно ссылало его в самое гиблое место, заброшенное в глухой тайге. Окончание срока каторги, вместо того, чтобы хоть сколько-нибудь улучшить условия существования Чернышевского, принесло ему весть мрачную, подавляющую. Удар был слишком жесток. Чернышевский понимал,

что все для него кончено, что он погребен заживо в сибирских снегах. Но сверхчеловеческим усилием он отгоняет от себя тоску и отчаяние и сосредоточивает свою волю на одном: надо охранять Ольгу Сократовну от последствий постигшего его удара.

Была глухая декабрьская пора. Стояли 40—50-градусные сибирские морозы. Чернышевскому предстояло проехать в казенной повозке, под конвоем двух жандармов и офицера, 1000 верст до Иркутска и затем 710 верст от Иркутска до Вилюйска. Путь лежал по мерзлым, занесенным снежными сугробами сибирским трущобам, через реки, покрытые тонкой обманчивой ледяной корой, сквозь которую не раз проваливались проезжие. На остановках у нищего якутского населения нельзя было достать корки хлеба. Об отдыхе нечего было и думать. Большинство станций представляли собой якутские юрты. «В этих юртах,—писал о них впоследствии столь скромный в своих привычках Чернышевский,—несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях».

В таких условиях ехал в Вилюйск хрупкий здоровьем кабинетный мыслитель, привыкший целыми месяцами не покидать стен своего кабинета. Нелегко ему было бороться с этими невзгодами. Но сила воли все превозмогала. Он находит в себе достаточно мужества и присутствия духа, чтобы с дороги, из Иркутска, написать Ольге Сократовне в самом успокоительном тоне. Он изображает свою поездку чем-то вроде увеселительной прогулки. «Поездка моя устроена очень удобно,—несравненно удобнее, нежели можешь Ты предполагать. Вот впрочем, один факт, который покажет Тебе, преувеличиваю ли я характер удобств, которыми пользуюсь в дороге: в кармане у меня лежат шерстяные чулки, и я до сих пор не имел нужды надеть их, потому что ногам достаточно тепло и в бельевых. Так и все, как эта мелочь; совершенно хорошо устроено. Нельзя поэтому сомневаться, что и вся моя жизнь устроится хорошо».

Чернышевский прибыл в Вилюйск в первой половине января 1872 г. и был помещен в лучшем здании города—тюрьме. Хмуро и неприветливо встретило его новое жилище. Вилюйская тюрьма в то время пустовала. Ни одна

душа не вышла ему навстречу, не согрела теплым словом измученного и иззябшего путника. Каким раем должен был представляться ему Александровский завод, где он жил среди горячо любивших его культурных людей, лелея мечту о возвращении к семье, к кипучей общественной деятельности! Теперь мечты эти были похоронены в якутских сугробах, под завывания страшной сибирской пурги...

Вначале Николай Гаврилович, по своему обыкновению, изображает свою жизнь в письмах к жене в идиллических тонах: помещение у него очень хорошее, климат в Вилюйске здоровый, рыба в реке Вилюе превосходная. Жить можно и весьма порядочно. Словом, все хорошо и удобно...

Но вот Ольга Сократовна высказывает намерение приехать к нему на новое место жительства. Чернышевский приходит в ужас от одной мысли подвергнуть жену тем лишениям и невзгодам, которые испытывает он сам. Нечего делать, надо сказать правду. Впервые он раскрывает горькую истину перед Ольгой Сократовной: «Мысль о моей смерти, вовсе не привлекательная для меня, все-таки гораздо менее тяготила бы меня, нежели мысль видеть Тебя здесь... Видеть Тебя здесь и не здесь только, но хоть бы где-нибудь в Якутской области, хоть бы в самом Якутске — было бы смертельным мучением для меня. Не подвергай меня такому страданию!»

Желая отклонить Ольгу Сократовну от ее намерения, Чернышевский описывает ей трудности пути [1]):

«Да, моя Радость: путь сюда далек и очень труден; да, самая почта почти круглый год не в силах итти сюда без страшных опасностей и долгих промедлений. От половины апреля до конца года, восемь с половиной месяцев, переезд от Иркутска до Якутска—тяжелое и очень рискованное предприятие; труднее чем какое-нибудь путешествие по внутренней Африке. От Иркутска сюда в эти месяцы езда положительно невозможна для людей непривычных вести якутский образ жизни... Пищи не найдешь; никакой помощи

---

[1]) Письмо от 17 мая 1872 года.

в случае какого-нибудь обыкновенного дорожного приключения. Станции — громадные расстояния. Прибавь: ужасные якутские юрты, вместо станций; в этих юртах несравненно хуже, нежели в порядочных конюшнях».

В ряде писем Чернышевский рисует, на этот раз правдивую, картину вилюйского «благополучия».

«Что такое Вилюйск? Вилюйск—это город только по названию. В действительности, это даже не село, даже не деревня в русском смысле слова—это нечто такое пустынное и мелкое, чему подобного в России вовсе нет». Население Вилюйска не превышало 500 душ; оно состояло из казаков, мещан и якутов. Из сорока построек, около двух третей составляли убогие деревянные домишки, остальные—якутские юрты, землянки, со льдинами вместо стекол в окнах зимой и пузырями—летом. Кругом—ни полей, ни лугов. Одни бесконечные пески, леса да болота. В этой пустыне Вилюйск, по словам Чернышевского, представляется настоящим оазисом. Этот «оазис» отрезан от всего культурного мира. Почта приходит туда с большим запозданием, раз в два месяца. Ближайший рынок—Якутск отстоит на 710 верст, и туда товары привозятся лишь раз в год. Если и в Якутске не всегда можно достать обыкновенный стакан или тарелку, то в Вилюйске—это вещь совершенно невозможная. Нищета в городе ужасная: у местных торговцев нельзя достать четверти фунта мыла. Условия питания самые тяжелые, мясом запасаются раз в год. Чтобы не нажить катарра, Чернышевский предпочел отказаться от такого «свежего» продукта и питался исключительно хлебом, кашей и чаем. Ближайшего медика можно найти только за 700 верст, в Якутске.

Климат в этих гиблых местах сносен только при жестоком 45-градусном морозе. В остальное время воздух пропитан тяжелыми болотными испарениями, гибельными для непривычных людей. «Земля вечно мерзлая внизу,—пишет Чернышевский.—Все месяцы тепла проходят в том, что она понемножку оттаивает; поэтому от начала здешней весны до конца здешней осени, длится то нездоровое время, какое

бывает в России только 2—3 недели, пока высохнет, согревается промерзшая зимой земля» [1]).

Так изображал Чернышевский прелести вилюйского «оазиса». Но, рисуя печальную картину этого гиблого угла, с целью отговорить Ольгу Сократовну от поездки к нему, он не забывал делать оговорку, что не невзгоды, грозящие ей, к нему не относятся. Ему, по обыкновению, жилось очень хорошо и удобно...

Ближайший медик за 700 верст. Заболеть серьезно в Вилюйске—это значит наверное умереть. «Но ко мне самому эти опасности не прилагаются. Я мужчина, я здоров, я постоянно спокоен мыслями, очень осторожен в гигиеническом отношении—мне не нужны ни аптеки, ни медики» [2]).

Климат в Вилюйске гибельный для непривычного человека. «Но при моих привычках это ничего не значит. Я привык быть очень осторожным» [3]).

Даже в Якутске, не говоря уже о Вилюйске, нельзя достать простой тарелки или вилки. «Опять: не смущайся этим за меня; что необходимо для меня, я имею все... Ты помнишь: я не только не нуждался никогда в комфортабельной обстановке, я всегда стеснялся и тяготился всеми теми жи-

---

[1]) Читая эти письма Чернышевского, невольно вспоминаешь слова некрасовского губернатора княгине Трубецкой в «Русских женщинах»:

Ах! Вам ли жить в стране такой,
Где воздух у людей
Не паром—пылью ледяной
Выходит из ноздрей?
Где мрак и холод круглый год,
А в краткие жары
Непросыхающих болот
Зловредные пары!
Да, страшный край! Оттуда прочь
Бежит и зверь лесной,
Когда стосуточная ночь
Повиснет над землей...

[2]) Письмо от 3 апреля 1872 г.

[3]) Письмо от 2 декабря 1872 г.

тейскими удобствами, которые необходимы для людей, не снабженных от природы моими телячьими нервами» [1]).

Безысходная нищета вилюйского, особенно инородческого, населения глубоко терзала «телячьи нервы» Чернышевского. Всегда спокойный и сдержанный тон его писем звучит горечью и болью, когда он рисует дикость и забитость несчастных якутов.

«Они при встрече снимают шапку за 20 шагов и стоят (на 30-градусном морозе) с открытыми головами. Это им не вредит, по общему здешнему убеждению. Многие, лишь начну я протягивать руку, чтобы надеть его шапку ему на голову,—пускались бежать от меня, воображая, что я намерен драться; отбежит, стоит и смотрит: бегу ли я за ним, бить его. Я рассмеюсь; тогда и он поймет, что ошибся, тоже хохочет».

«Что это такое?—спрашивает Чернышевский.—Люди ли это, или хуже забитых собак, животные, которым нет имени? Люди, и добрые и неглупые; даже может быть даровитее европейцев (говорят, что якутские дети учатся в школах лучше русских). Но это жалкие нищие дикари, каких нет жалче на свете; дикари, подобные готтентотам, хуже негров центральной Африки».

Крик душевной боли вырывается у Чернышевского, при виде этого предела унижения человека. «Я присмотрелся к нищете; очень присмотрелся. Но к виду этих людей, я не могу быть холоден: их нищета мутит и мою заскорузлую душу. Я перестал ходить в город, чтобы не встречать этих несчастных; избегаю тропинок, по которым бродят они по опушке леса...» [2]).

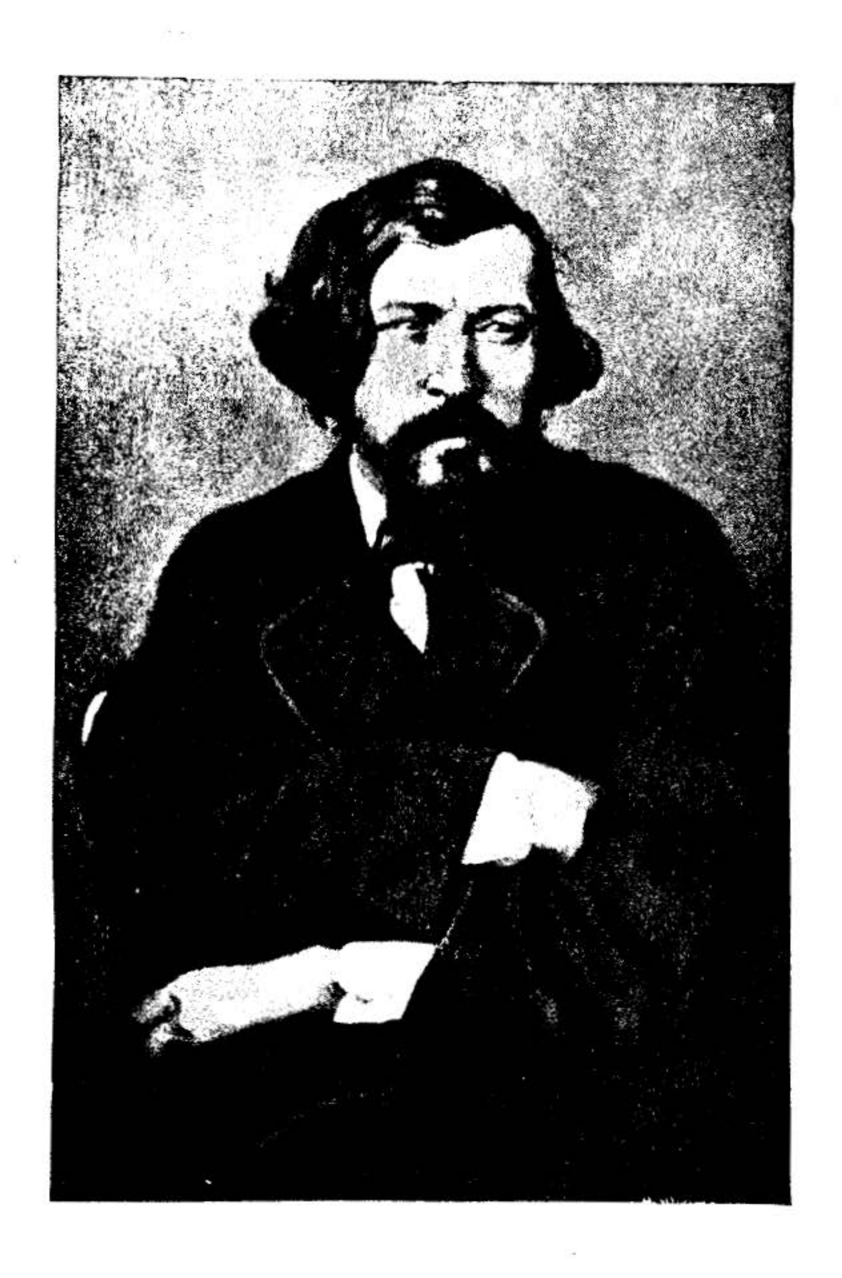
Мрачной безысходностью веет от жутких строк того же письма:

«А климат! Бывают здесь убийства?—Нет, народ смирный, но самоубийства часты»—«Отчего же?—«От солитера. Здесь почти у всех солитер, и наводит такую меланхолию, что человек возьмет да и повесится».

---

[1]) Письмо от 3 апреля 1872 г.

[2]) Письмо от 17 мая 1872 г.



«Такова-то страна, Вилюйский край»,—заключает Чернышевский. Но сейчас же следует обычные оговорки; Ольга Сократовна не должна тревожиться за него. «Но мне удобно жить и здесь. Даже очень удобно... Для меня это все равно. Я не имею надобности ни разговаривать с людьми, ни видеть их: книга заменяет их мне. Но другим жить здесь было бы невыносимо».

Однако, мы уже знаем цену этим уверениям Чернышевского. Мы знаем, как вилюйская обстановка терзала его «телячьи нервы», как обливалась кровью его «заскорузлая душа», при виде ужасающих картин нищеты и обездоленности, среди которых томительно тянулись дни изгнания...

Поселившись в «лучшем доме» Вилюйска, Чернышевский перестал ждать смягчения своей участи. Он понял, что правительство решило похоронить его заживо, отрезать от всего культурного мира. Что оставалось ему делать? Всю энергию мысли, все страстное напряжение воли он сосредоточивает на одной цели: сохранить свое духовное «я», не дать ему обезличиться, опошлиться, погибнуть в глухой сибирской тайге. Может быть, голос его еще когда-нибудь зазвучит... Для этого времени надо сохранить себя. Огромным усилием воли он отметает от себя все внешнее, гнетущее, и уходит в работу. Он зарывается в книги и пишет, пишет без конца... Он просит родных присылать ему лучшие журналы и серьезные научные книги по всем отраслям знания. И Пыпин шлет ему с каждой почтой массу книг: тут и «Отечественные Записки», и «Вестник Европы», и «Знание», и книги по истории политической экономии, естествознанию. Николай Гаврилович жадно поглощает всю эту литературу и пишет, пишет дни и ночи напролет. Своим тонким изящным почерком исписывает он за ночь груду листов бумаги... а утром рвет все на мелкие клочки. Он живет под вечной угрозой обыска. Ему невыносима мысль, что какой-нибудь чиновник будет рыться в его бумагах. А надеяться на разрешение напечатать что-нибудь из своих трудов не приходится. Он знает, что на имя его наложен запрет. «Я вижу, что имя мое никогда не упоминается в русской печати,—с грустью пишет он жене.—Мне ясно, что это значит...»

Мощный ум, закаленная воля упорно борются, отстаивают нашего мыслителя от духовной смерти. Как тяжелы, как невыносимы порой условия, среди которых приходится страдать и бороться! Скудная природа, неприветливой мачехой встретившая пришельца; суровый климат, с жестокими, неведомыми в России морозами, к которым так чувствителен его старый ревматизм, вывезенный из сырых казематов Петропавловской крепости; полуголодное существование в крае, где рыба и мясо полгода являются недоступной роскошью; терзающий душу вид несчастных, забитых якутов, с их жалкими землянками и «лыковой лапшой», сушеной древесной корой вместо хлеба; полное духовное одиночество, и, ко всему этому, постоянный, гнетущий надзор жандармов. По инструкции, составленной попечительным начальством, двум урядникам предписывалось дежурить, не отлучаясь, при Чернышевском, чередуя свои дежурства с унтер-офицером. Стражникам Чернышевского было приказано не выпускать его из виду днем, заглядывать к нему в комнату и по ночам. Особенно предписывалось следить за узником летом, во время прогулок по городу. За город, в лес и степь, выходить Чернышевскому запрещалось.

Но и этих мер якутскому губернатору де-Витте казалось недостаточно. Он боялся обаяния личности Чернышевского. Сообщая вилюйским властям, что «Чернышевский обладает способностью располагать в свою пользу лиц, приставленных к нему для наблюдения»,—губернатор требовал от исправника, чтобы тот наблюдал не только за Чернышевским, но и за его охраной. Урядники, с которыми Николай Гаврилович беседовал простым человеческим языком, которых он учил грамоте, могли проникнуться крамольным духом...

Получив строгие предписания от начальства, исправник стал «следить» за Чернышевским с таким усердием, что, при всей своей кротости и терпеливости, Николай Гаврилович вышел из себя. Он стал энергично требовать вежливого обращения, а однажды утром, в июле 1872 года, в припадке гнева, стал ломать замок выходной двери, которая запиралась на ночь. Возникла целая переписка об «умопомешательстве» Чернышевского, в заключение которой режим его был несколько смягчен.

ГЛАВА XXVII

Популярность Чернышевского во время ссылки.—Литературная склока вокруг романа «Что делать».—Попытки революционеров освободить Чернышевского.—Переписка с женой и детьми.

Усиленные меры по охране Чернышевского имели свое основание в глазах начальства. Власти боялись популярности вилюйского узника, им не давала покоя мысль о возможности его бегства. Чернышевский, «из'ятый» из обращения, был не менее опасен, чем Чернышевский, стоявший во главе «Современника». Строжайший запрет, наложенный на его сочинения, только способствовал росту его популярности. Особенно усилились гонения на самое имя Чернышевского после выстрела революционера Каракозова, покушавшегося на жизнь Александра II, 4 апреля 1866 года. Правительство считало Чернышевского идейным вдохновителем Каракозова. В приговоре верховного уголовного суда по делу каракозовцев, в числе преступлений обвиняемых указывался план «освобождения государственного преступника Чернышевского, для руководства предполагавшеюся революцией и для издания журнала, так как роман этого преступника «Что делать» имел на многих подсудимых самое гибельное влияние, возбудив в них нелепые противообщественные идеи и, наконец, мнение, что цель оправдывает средства» [1]).

Убежденное в «гибельном влиянии» Чернышевского, правительство всячески старалось искоренить это влияние. Особенно тщательно охранялась учащаяся молодежь. За чтение Чернышевского сыпались на ее голову суровые кары. В

---

[1]) В. Чешихин-Ветринский—«Н. Г. Чернышевский», Петроград, «Колос», 1923, стр. 757.

Каменец-Подольске будущий писатель Григорий Мачтет был исключен из гимназии за чтение «Что делать». В саратовской семинарии был исключен семинарист с «волчьим паспортом», т.-е. с отметкой «за неблагонадежность» и с двойкой за поведение, только за то, что у него нашли фотографическую карточку его с товарищами с надписью из «Что делать»: «Будем учиться—знание освободит нас; будем трудиться—труд обогатит нас» [1]). Вообще, на саратовскую семинарию обрушились страшные невзгоды. Во вторую половину царствования Александра II было даже запрещено принимать в университет семинаристов из злополучной семинарии, виновной в том, что в ней учился Чернышевский.

Из сочинений Чернышевского самой плохой репутацией, в глазах правительства, пользовался роман «Что делать», который с самого своего появления стал настольной книгой для передовой молодежи. Никакие запреты и из'ятия не могли помешать распространению знаменитого романа: он ходил по рукам во множестве рукописных списков. В реакционной печати против романа Чернышевского велась ожесточенная травля. В своем стремлении очернить роман и его автора прислужники «престол-отечества» на задворках литературы не брезгали никакими средствами. Так, например, в книге профессора одесского университета Цитовича, вышедшей в 70-х годах под названием «Что делали в романе «Что делать»,—идеи Чернышевского изображались в таком освещении:

«Сцены грубейшей чувственности здесь оправлены в намеки о независимости, окрашены в тирады о свободе, о любви к бедным, об интересах науки. Заботливо из романа изгнаны две вещи: совесть и понятие обязанностей.

«Первенство личной выгоды и расчета, исключительное, господство «потребностей организма», «царство наслаждения», устранение всякой ответственности за свои поступки—эти принципы, так заманчиво и самоуверенно выставленные в «Что делать», не могли остаться без разрушительного действия на общество.

---

[1]) В. Чешихин-Ветринский—«Н. Г. Чернышевский». Стр. 77.

«Порядочные люди нового типа» не различают добро от зла, правду от неправды, благородство от низости; разгул своих животных похотей, свое «досыта» они ценят выше чужого права, чужого горя. Для своего «наслаждения» и своей пользы им все нипочем: ложь, клевета, воровство, насилие, убийство...

«Что такое эта Вера Павловна? Подкидыш Содома, наперсница Мессалины, самка Искариота. А Лопухов? Из него вышел бы развязный танцор в парижском притоне. А Кирсанов? Он—пара Вере Павловне».

Злостный памфлет Цитовича был подголоском правительственных кругов. С другой стороны, представители прогрессивного лагеря пытались защищать роман Чернышевского всеми имевшимися в их распоряжении средствами. Таких средств было немного. Писать открыто о Чернышевском в сочувственном тоне запрещалось. Оставалось одно—сатирическая форма. Так, сатирический журнал «Искра», в противовес литературным «обличителям» Чернышевского, поместил следующее стихотворение, под названием «Проницательный читатель»:

Нет, положительно роман
«Что делать» нехорош!
Не знает автор ни цыган,
Ни дев, танцующих канкан,
Алис и Ригольбош,—
Нет, положительно роман,
«Что делать» нехорош!

Великосветскости в нем нет
Малейшего следа,
Герой не щеголем одет,
И под жилеткою корсет
Не носит никогда.
Великосветскости в нем нет
Малейшего следа!

Жена героя—что за стыд!
Живет своим трудом;
Не наряжается в кредит
И с белошвейкой говорит—
Как с равным ей лицом.

Жена героя—что за стыд!—
Живет своим трудом.

Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой.
Не надо новых нам людей
И идеальных этих швей
В их новой мастерской!
Нет, я не дам жене своей
Читать роман такой.

Нет, положительно роман
«Что делать» нехорош!
В пирушках романист—профан,
И чудеса белил, румян
Не ставит ни во грош.
Нет, положительно роман
«Что делать» нехорош!

Несмотря на ревностные старания правительства вытравить из памяти общества имя Чернышевского, никогда это имя не было окружено бо́льшим ореолом, чем тогда, когда он, заживо погребенный, томился в далекой ссылке. Учащаяся молодежь и передовая интеллигенция свято чтили Чернышевского, как апостола социализма и мученика революции. Старые книжки «Современника», со статьями Чернышевского, зачитывались до дыр. Многие его произведения, особенно «Что делать», распространялись в рукописных списках. Ни одна студенческая пирушка не обходилась без провозглашения заздравного тоста в честь Чернышевского, дружно подхваченного хором молодых голосов:

Выпьем мы за того,
Кто «Что делать» писал,
За героев его,
За его идеал!..

Среди петербургской интеллигенции ходило по рукам нелегальное стихотворение, в котором Чернышевскому были посвящены скорбные строки:

Угасает в далекой якутской тайге
Яркий светоч науки опальной.

Большой известностью пользовалось также стихотворение Некрасова, посвященное Чернышевскому. Название «Пророк», данное ему автором по цензурным соображениям, никого не обманывало. Из строк некрасовского стихотворения перед молодежью вставал светлый образ страдальца:

Не говори: забыл он осторожность,
Он будет сам судьбы своей виной.—
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских,
Жить для себя возможно только в мире—
Но умереть возможно для других.
Так мыслит он, и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь ему нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна,
Его судьба давно ему ясна...

Правительство знало о сочувствии общества Чернышевскому. Пуще всего оно боялось, чтобы это горячее сочувствие, которое неслось в мерзлые тундры из культурных центров России, не претворилось в живое дело. Перед властями грозным призраком стояло насильственное освобождение Чернышевского, его бегство.

В 1872 г. в Иркутске из своей квартиры скрылся известный революционер Герман Александрович Лопатин, состоявший там под надзором. Якутский губернатор получил сведения, что Лопатин бежал с поручением освободить Чернышевского. В Томске Лопатин был пойман, но вскоре снова бежал с тою же целью. Вторично пойманный, Лопатин в 1874 г. снова бежал из-под стражи, на этот раз за границу. Но при допросе он сознался в намерении освободить Чернышевского. Сибирская администрация совсем потеряла голову и еще более усилила драконовские меры надзора за Чернышевским. В следующем году ее ждала новая неприятность.

В январе 1875 года якутский губернатор сообщил вилюйским властям, что, «согласно сведениям Третьего отделения собственной его величества канцелярии, заграничная революционная партия составила подробный план освобождения государственного преступника Чернышевского, для чего зло-

умышленники, по прибытии в Сибирь, в числе отчаянных мер к достижению своей цели, предполагают воспользоваться бланками бумаг из разных правительственных учреждений и даже подписями начальствующих лиц, преимущественно в Якутской области». Предупрежденная вилюйская администрация удвоила свою бдительность.

В июле того же года один из видных революционных деятелей, Ипполит Никитич Мышкин, сделал смелую попытку освободить Чернышевского. Переодевшись в форму жандармского офицера, Мышкин, под именем Мещеринова, явился к вилюйскому исправнику и пред'явил ему подложную бумагу иркутского губернского жандармского управления с предписанием о содействии к отправке находящегося в г. Вилюйске государственного преступника Николая Чернышевского во вновь назначенное для него местожительство, г. Благовещенск.

Мышкин по неопытности сделал ряд упущений; он прибыл без подорожной, без конвоя, как не ездят важные лица; в его бумагах был ряд отступлений от казенного стиля; кроме того, от губернатора не было получено никаких новых сообщений относительно Чернышевского, а прежние указывали на возможность попытки к освобождению со стороны революционеров. Взвесив все это, исправник сообразил, что имеет дело с мнимым офицером и категорически отказался выдать Чернышевского без прямого предписания губернатора. Тогда мнимый Мещеринов выразил желание ехать в Якутск. Исправник дал ему в провожатые двух казаков. По дороге Мышкин выстрелил в них и, бросившись в лес, скрылся. В августе Мышкин был пойман и отправлен в тюрьму, а затем в Шлиссельбургскую крепость, где его ожидала печальная участь [1]).

---

[1]) И. Н. Мышкин был одной из крупнейших фигур революционного движения 70-х годов. Через 2 года после попытки освободить Чернышевского он судился по известному «процессу 193-х». На суде он произнес замечательную речь, в которой заклеймил царское правосудие. Приговоренный к 10 годам каторжных работ, он содержался сначала в харьковской центральной тюрьме, потом на Каре. За бегство с Кары он был переведен в Шлиссельбургскую

Все эти попытки происходили не только без согласия Чернышевского, но даже вопреки его желанию. Николай Гаврилович, по усилившимся мерам охраны и по намекам своих стражей, догадывался, что революционеры хотят его освободить. Он готов был горячо протестовать против этого. Прежде всего, ему было до боли жаль самоотверженную молодежь, рисковавшую жизнью из-за него; Николай Гаврилович плакал горькими слезами, когда узнал о безумно смелых попытках Лопатина и Мышкина. Кроме того, у Чернышевского была еще одна причина не желать насильственного освобождения. Он боялся, что всякая попытка в этом направлении ухудшит положение его «милой Радости». Чернышевский давно умолял Ольгу Сократовну поехать полечиться за границу, провести зиму в южной Италии. Он опасался, что петербургская администрация задержит выдачу ей заграничного паспорта, в отместку за попытки к его освобождению. И вот, в письме к Ольге Сократовне от 25 января 1875 года, зная, что оно пройдет через цензуру сибирских властей, он категорически заявляет: «Даю Тебе

крепость на пожизненное заключение. Неукротимый революционер, полный кипучей энергии, Мышкин не мог долго вынести мертвящей обстановки одиночного заключения. Он решил избавить себя от крепости и вместе с тем добиться смягчения участи товарищей— своею смертью. 26 декабря 1884 года Мышкин бросил тарелку в тюремного смотрителя и на вопрос, зачем он это сделал, ответил: «Хочу смертной казни». На дознании Мышкин об'яснил, что он добивался смертной казни с целью: 1) содействовать более гуманному разрешению тюремного вопроса; 2) показать резкое противоречие между требованиями христианской нравственности и отношением к политическим заключенным и 3) загладить зло, происшее, помимо его воли, для всех политических заключенных от его побега из Сибири.

Мышкин был приговорен к смертной казни и расстрелян на крепостном дворе 26 января 1885 года. Перед самой казнью он вырезал на тюремном столе следующую предсмертную надпись «26-го января 1885 года я, Мышкин, казнен».

Таков был конец этого «великомученика русской революции», как назвал Мышкина видный участник и летописец революционного движения 70-х годов О. В. Аптекман (См. его «Общество Земля и Воля 70-х годов». Петроград. 1924).

честное слово, что не поеду отсюда иначе, как обыкновенным, ни от кого никак не скрываемым, спокойным способом, с соблюдением всех форм и правил». То же самое он несколько раз повторяет в других письмах.

Николая Гавриловича жестоко мучила мысль о здоровьи его «ненаглядной Голубочки». С самого приезда в Вилюйск, почти в каждом письме, он умолял ее заботиться о здоровьи, не жалеть средств на развлечения, проводить зиму в южной Италии. Опасаясь, что Ольга Сократовна не едет из-за недостатка денег, он настойчиво упрашивает ее не посылать ему ни денег, ни вещей, чуть не в каждом письме уверяя что и того и другого у него хватит еще на три года. Если Ольга Сократовна не хочет ехать в Италию, пусть едет на Кавказ, куда угодно на юг — только бы там не было морозов и серого гнетущего однообразия, окружающего его самого. Стон исстрадавшегося сердца слышится в его словах: «Лишь бы климат без снегов зимой и небо было бы светлое, чистое...»

Но Николай Гаврилович умел заглушить свой стон, умел мужественно подавить свою душевную боль. Он по-прежнему нежно оберегал Ольгу Сократовну от огорчения за его судьбу, утешал, ободрял ее, точно не он, а она была единственно пострадавшей стороной. «В прошлом все хорошо. И пусть думают о нем наши дети», — пишет он в письме от 8 февраля 1873 г. Что касается настоящего, это «историческая надобность».

«Мало ли что бывает с людьми! Не то, что со мной—то, что было со мной — мелочь; бывало и бывает во всех странах, не в России только — и несравненно более неудобное или тяжелое для семейств этих людей. Это исторические надобности... На Кавказе, в Крыму, в войне Пруссии с Австрией, Германии с Францией — сколько десятков, тысяч жен потеряли мужей навсегда! И не стоит ни дивиться, ни особенно огорчаться Тебе, что вышла на несколько времени неприятная для Тебя перемена в нашей с Тобой частной жизни».

«Не стоит огорчаться из-за этой перемны в частной жизни», — тем более, что ему, Николаю Гавриловичу, жи-

ется очень недурно. Об этом Чернышевский не устает твердить на все лады: «Живу без всяких неудобств, без малейшей неприятности, в добрых отношениях со всеми». «Живу как помещик средней руки». «Живу хорошо, вообще, всем и всеми доволен. И довольно давно не было случая, чтобы хоть один час или полчаса не был в самом хорошем состоянии духа, так что могу назвать себя одним из людей, в целом свете наиболее довольных и самим собой, и всем окружающим» [1]).

Мы видели, в каких тяжелых, порой невыносимых, условиях жил этот «самый довольный на свете человек», как жестоко страдал он физически и нравственно. Но он находит в себе достаточно силы, чтобы одиноко нести свой крест. Оберегая любимую женщину от огорчений, он постоянно изображает свою жизнь в самом розовом свете. Он даже подшучивает над собой, как человек, находящийся в самом благодушном настроении.

«Мое соперничество в покупке молока произвело оскудение этого продукта на здешней бирже. Ищут, ищут молока — нет молока; все куплено и выпито мною. И пользуясь результатами от удоя трех коров [2]) (если не от четырех), я пью чай с утра до вечера. Выпиваю столько, что сам дивлюсь: более трех фунтов в месяц» [3]).

«О кушанье — сбылось невозможное; добился того, что почтенная женщина, готовящая мне обед, не кладет коровьего масла в суп. Такова сила моего красноречия: в полтора года убедил» [4]).

Желая убедить Ольгу Сократовну не присылать ему ни денег, ни вещей, Николай Гаврилович рисует такие картины своего благосостояния:

«В комнате у меня стоит сундук непомерной величины; сравнительно со всеми сундуками, какие видываны в Рос-

---

[1]) Письмо от 2 декабря 1872 г.

[2]) В другом месте Николай Гаврилович поясняет, как велик этот удой: «Две бутылки—это удой от трех коров: таковы здешние коровы».

[3]) Письмо от 10 августа 1873 года.

[4]) Письмо от 1 ноября 1873 г.

сии, он то же, что Лена перед вашими реками. Этот сундук завален чуть не до верху чаем и сахаром; в другом углу тоже целый магазин табаку. Смех, я Тебе говорю, мой милый друг» (там же). Дальше Чернышевский продолжает подсмеиваться над собой. «И вообще много забавного в здешней моей жизни. Например: в целом городе я самый светский и самый аристократичный человек. Изящество моих светских манер приводит жителей в благоговение: ни граф д'Орсэ, ни княгиня Меттерних не достигали той высоты светского превосходства, на какую возведен я здешним общественным мнением».

Николай Гаврилович знал, что его «Голубочку» можно утешить подобными шутками и картинками его вилюйского благополучия. Эта птичья натура, легкомысленная и беспечная, неспособна была серьезно задуматься над чем бы то ни было. Избалованная сперва отцом, затем мужем, привыкшая к поклонению и нежной опеке окружающих, она совершенно не в состоянии была устроить свою жизнь. Удар, разразившийся над нею, сразил ее, но не сделал ее ни глубже, ни серьезнее. Она по-прежнему думала только о себе. «Будь здоровенькая и веселенькая», повторял ей в каждом письме Николай Гаврилович, и она старалась «быть веселенькой», развлекала себя сменой впечатлений, беспрестанными поездками, случайными встречами. Она сорила деньгами направо и налево, совершенно не думая о том, что и она, и ее дети живут на счет обремененного собственной семьей А. Н. Пыпина. Пользуясь беспредельной любовью и преданностью «милого друга Сашеньки» Николаю Гавриловичу, она беспрестанно требовала от него денег под разными предлогами, высказывала самую обидную недоверчивость в денежных делах, то и дело ссорилась с самим Александром Николаевичем, с его родителями и сестрами. Больнее всего Пыпиным было то, что Ольга Сократовна совершенно не заботилась о спокойствии дорогого им страдальца. Она совсем не щадила его. В далекую Сибирь беспрестанно летели жалобы на обиды и огорчения со стороны родных, на расстроенное здоровье, на всяческие невзгоды. Николай Гаврилович старался утешить ее строками, полными любви

и ласки; но эти жалобы переполняли чашу его страданий. Он считал себя безмерно виноватым перед Ольгой Сократовной в том, что связал ее судьбу со своей и не успел обеспечить ее на случай грозы.

Такая мать, как Ольга Сократовна, разумеется, не могла быть хорошей воспитательницей для своих детей. Это была другая серьезная забота Николая Гавриловича. Маленькие Саша и Миша выросли в разлуке с отцом. Теперь это были юноши, стоящие на пороге жизни. Николай Гаврилович делал все возможное, чтобы оказать на них благотворное влияние. Он ведет с ними в письмах длинные беседы на научные темы, старается выработать у них цельное миросозерцание, научить их логически мыслить, вдохнуть в них свою жажду знания, стремление к плодотворному труду. Он учит юношей любви к людям. «Источник всего хорошего для людей и в том числе благородных чувств — добрые отношения человека к его близким. Бойкость речи, бойкость характера не ведут ни к чему полезному для людей, если мотивом слов и поступков служит не чувство любви к людям» [1]). Письма Чернышевского к детям, в которых он является для них учителем жизни, озарены таким внутренним светом, дышат такой ясностью и незлобивостью, которую этот исстрадавшийся человек мог черпать только из глубины своей кристальной совести.

---

[1]) Письмо от 25 марта 1875 г.

ГЛАВА XXVIII

Тонко задуманный план. — «Где тонко, там и рвется». — Здоровье Чернышевского. — Ходатайства родных о смягчении его участи. — Заступничество А. Толстого. — Неудача всех попыток.

Лютая сибирская зима. Маленький городок, заброшенный в глухой тайге. Одинокое жилище, занесенное снежными сугробами, отрезанное высокой оградой от всего живого. Сквозь замерзшее окно, поздно за полночь светится огонек. В большой комнате со скудной, по-казенному неприветливой, обстановкой сидит за столом худощавый, бледный человек, с глубоко ушедшим взором близоруких серых глаз, с мягкими чертами лица и складкой страдания в уголках губ. Сквозь полузанесенное снегом окошко, через тундры и горы, через все преграды, мысль его летит далеко-далеко...

Вьюги зимние, вьюги шумные
Навевают ему песни чудные,
Навевают сны, сны волшебные,
И уносят в край заколдованный [1]).

Уносят в край, где нет ни жестоких морозов, ни гнетущей тоски одиночества, в страну грез, где царит волшебница. К ней летят все мечты, о ней одной все «песни чудные, сны волшебные». «Моя ненаглядная, моя милая Радость», шепчет бледный человек. Дышать и думать о ней — для него одно и то же...

Как страстно хочет он видеть ее счастливою, как жаждет охранять, защищать ее своей грудью от житейских невзгод! Но не то дано ему в удел. Вместо поддержки и опоры, он

---

[1]) Из Кольцова.

служит для нее лишь бременем, непосильным для ее слабых плеч. Одно средство избавить ее от этого бремени—порвать с ней. Ему давно это ясно. Еще в Кадае, при свидании, он горячо убеждал ее соединить судьбу с другим, который сделает ее счастливее; потом он целый год не писал ей; потом умолял забыть о нем, не присылать ему ни денег, ни вещей— все тщетно. И чем дальше, тем все более запутывается положение, тем становится для него невыносимее. Где же путь из этого лабиринта, где исход?

Он напряженно думает, он сосредоточивает на этой мысли все силы своего ума. Да, исход есть. Правда, дорогой ценой — но для счастья «милой Радости» нет слишком дорогой цены. Надо оклеветать себя перед ней, надо выставить себя чудовищем низости и неблагодарности, надо, наконец, поставить ее в материальную невозможность не порвать с ним. Тогда бремя свалится с ее плеч. Она будет снова свободна и счастлива.

Мысль претворяется в дело. Повод к решительным действиям отыскать нетрудно. Ольга Сократовна постоянно жалуется на обиды и огорчения со стороны Пыпиных. Воспользовавшись одним из ее писем, переполненным, по обыкновению, жалобами и упреками, Николай Гаврилович пишет старшему сыну Саше. Он обращается к сыну с категорическим требованием. Последний должен передать Пыпиным, что он, Николай Гаврилович, глубоко возмущен их «глупым и пошлым» обращением с Ольгой Сократовной. От сына же он требует немедленного разрыва с родственниками, оскорбляющими его мать. Не довольствуясь этим, Николай Гаврилович прибавляет в письме к Ольге Сократовне: «Мои родные досадуют не на Тебя, а на меня. На меня досадуют за то, что я стал бесполезен для них в денежном отношении. И конечно: если бы я продолжал жить в Петербурге и издавать «Современник», я получал бы теперь не по 15 тысяч рублей в год, а гораздо больше. Согласись, моя милая Радость, они много теряют от того, что я живу не в Петербурге, и досада их на меня очень резонна. Лучше чем огорчаться их пошлостью, смейся над ними» [1]).

[1]) Письмо от 29 ноября 1874 г.

Теперь узел завязан крепко. Так крепко, что не распутаешь — остается только разрубить. Такой грубости, такого оскорбления даже Пыпин, при всей своей кротости, ему не простит. За всю его преданность, за всю его братскую любовь, доказанную на деле в течение этих долгих лет, отплатить такой черной неблагодарностью! Забыть все и поверить вздорным жалобам истеричной женщины! Пыпин не может, не должен простить этого. Он порвет с Николаем Гавриловичем, перестанет его поддерживать и устремит все свои заботы на Ольгу Сократовну. И сам Саша, при всей своей молодости, возмутится несправедливостью отца: ведь он, вместе с братом Мишей, воспитывается в доме Александра Николаевича Пыпина, у них нет другой опоры, кроме Пыпина. Поставленный в необходимость выбирать между отцом и Пыпиным, Саша, разумеется, вынужден будет порвать с отцом. Да и сама Ольга Сократовна просто *материально* не в состоянии будет порвать с Пыпиным. При всей своей взбалмошности, она прекрасно знает, что без поддержки Пыпина она и ее дети — нищие, обреченные на голодную смерть. А стало быть ясно, что если пред'явлен ультиматум: Пыпин или Николай Гаврилович, то ей ничего не остается, как выбрать Пыпина и порвать с Николаем Гавриловичем... Ажурная работа, тонко задуманный план!

Но где тонко, там и рвется. Замышляя свой план, плетя свою тонкую сеть, Николай Гаврилович не принял в расчет одного: личных свойств Александра Николаевича Пыпина. Последний не даром был другом и братом Николая Гавриловича — он не уступал последнему в благородстве характера. Пыпин видел смущение Саши Чернышевского, читавшего странное и необ'яснимое для него письмо отца от 29 ноября. Против обыкновения юноша ничего не сказал ему о содержании письма. Отсюда Пыпин сделал свои выводы. Он слишком много терпел от капризных выходок и несправедливостей Ольги Сократовны, слишком хорошо знал о ее постоянных жалобах Николаю Гавриловичу на дурное обращение родных, чтобы не догадаться, о чем шла речь в письме. 10 декабря 1874 года Пыпин посылает ответ Чернышевскому. Этот ответ дышит такой душевной красотой, проникнут

такой горячей, самоотверженной любовью к Чернышевскому, что не мог не взволновать его до слез. Пыпин ни в чем не упрекает Николая Гавриловича, не сетует на него за оскорбительное отношение, за недоверие. Ему горько только за самого Николая Гавриловича, за те тяжелые переживания, которые должны были ему доставить жалобы Ольги Сократовны. «Никакие обвинения не уничтожат факта, что я *делал и делаю* все, что в моих силах было для Ольги Сократовны и для детей; мне щемит сердце только за тебя, что ты мог смутиться новостями, что ты перестал мне верить... Будь ты здесь, нам довольно было бы пяти минут разговора, чтобы ты успокоился в этом отношении. Неужели мне и всем нам нужно уверять тебя, что ты нам дорог теперь, как всегда? Мы думали, что ты и без того знаешь; это одно, одна мысль о тебе делала бы невозможным для нас другое отношение к Ольге Сократовне, чем какое должно быть; твои дети у каждого из нас были и есть дома». Далее Пыпин рисует картину семейных отношений — доброту всех родных к Ольге Сократовне, постоянные мелочные и вздорные ссоры с ее стороны, вызванные ее нервным и раздражительным состоянием. Александр Николаевич мягко указывает Чернышевскому, что Саша живет в его доме уже 10 лет, а Миша — 5 лет, напоминает издавна связывающие их с Николаем Гавриловичем узы дружбы, просит отнестись к его письму со спокойным доверием. «Поверь, что недоразумений, несогласий нет и не должно быть между нами,—пишет он в заключение своего письма.—Будь здоров, мой дорогой. Прочти и забудь скорей обо всех перекорах, как я постараюсь позабыть».

Письмо Пыпина глубоко тронуло Николая Гавриловича. Его хитроумно задуманный план разбился о прямоту и благородство брата. Нечего делать: остается принять неудачу, как совершившийся факт. И вот, 8 марта 1875 года он шлет Пыпину ответное письмо, дышащее такой же искренностью и благородством, окрыленное таким же горячим, братским порывом, как и письмо, его вызвавшее.

«Милый Сашенька, — писал Пыпину Николай Гаврилович, — «прошу прощения у Тебя, у сестер и у Сережи за то,

что напрасно огорчил Вас. У сестер, т.-е. и у Юленьки[1]), целую руки с просьбой о прощении.

С каждым словом Твоего письма я совершенно согласен. Все Твои суждения — чистая правда. Но я знал, что все это так, когда писал те грубые обиды вам. Я знал, что такое пишу. Теперь ясно Тебе? У меня просто-на-просто было намерение искоренить из ваших чувств всякое расположение ко мне.

Жалею, что не удалось. Начало было хорошим. Но оно было только начало. Продолжению следовало быть таким.

Когда по расчету времени стало бы резонным, — т.-е. еще месяца через два после нынешнего — я обратился бы к сыну, Саше, в таком вкусе:

«Ты не разорвал сношений с ними?» А я знаю, что это невозможно даже и материально, не только нравственно; что не говоря о чувствах и рассудке самого Саши, не может быть это допущено и Ольгой Сократовной. Она может «ссориться» с кем ей угодно, каждую минуту; и со мной, когда мы жили вместе, ссорилась беспрестанно; но я придаю этому еще несравненно меньше важности, чем Ты; я даю этому ровно столько же важности, сколько дает она сама; но о ее серьезных чувствах к вам после; здесь пока довольно того: она *не может* ни сама серьезно разойтись с Тобой, ни допустить сына до этого; я знаю это как нельзя лучше уже много лет; она и наши дети живут на твои деньги; без Тебя они давным-давно умерли бы с голоду. — Ты говоришь, что у нее есть и свои доходы; приятель, я посильнее Тебя в арифметике, не обсчитаешь; то—копейки; того не достало бы на один ржаной хлеб для нее только, а их три человека.

Они живут лишь благодаря Тебе. И по одному этому, ни Саша не мог бы, я знал, исполнить требование, с которым я обращался к нему, ни Ольга Сократовна допустить этого. А в апреле, в мае я уже имел бы по расчету времени, резон обратиться к Саше с такими словами:

«Ты не слушаешь? Ты, когда так, не сын мне», — и это в выражениях еще более грубых, чем обращенные к вам.

---

[1]) Юлия Петровна, жена А. Н. Пыпина.

Это была бы вторая часть. А третью, и самую важную для меня, написала бы мне уж Ольга Сократовна:

«Когда ты стал таким скверным человеком, то — ты перестал существовать для моих детей и для меня», — она написала бы так; это верно, как 2×2=4.

А в этом и было бы для меня самое важное облегчение моей совести. Совесть у меня есть. Хотелось бы перестать быть вредным для близких мне.

Несколько лет тому назад, при свидании за Байкалом, я упрашивал Ольгу Сократовну выйти за кого-нибудь из благородных людей, которых было много, не смевших, разумеется, и думать ни о чем подобном, но из которых каждый счел бы себя счастливейшим на свете человеком, если бы услышал от нее то, что я просил ее сказать кому-нибудь из них. Лично я не знал их.

Не мог я убедить ее. Дал пройти нескольким месяцам и перестал писать ей. Не писал целый год. Она не могла выдержать этого. Как быть? Я нашел себя в необходимости опять начать переписку с нею.

Несколько лет я не решался возобновлять этой борьбы с нею. Не потому, разумеется, что мне это тяжело, для меня это обязанность совести, которую исполнить для меня очень легко и приятно. Но для нее вышло это тяжело. Я был очень надолго в боязни возобновить.

И вот собрался опять с силами. Теперь, я полагал, думать о втором ее замужестве — поздно. Будь она совершенно здорова, было бы не поздно. Справься, скольких лет была Нинон-дель-Анкло[1]), когда стрелялись, и зарезывались и отравлялись ядом из-за нее. Лета, мой милый, не так рано проходят, как пишется в романах. Но здоровье у Ольги Сократовны все остается хилым.

Да и что замужество? Собственно, не в том важность, чтобы не носить мою фамилию. Однофамильцы у меня есть; я полагаю, никому из них не было никакого неудобства от пустых звуков фамилии. Дело лишь в том, чтобы не иметь

---

[1]) Знаменитая французская красавица, покорявшая сердца до глубокой старости

расположения ко мне. Тогда можно жить хорошо, как требует здоровье.

Кстати. В ее письме, полученном одновременно с твоим, она пишет, что поедет в феврале в Крым.

В феврале — как это в феврале? Февраль — это начало зимы?—Я писал ей о начале каждой зимы. Я не медик; но это понятно и не медику: зима, зима тяжела ее здоровью.

В феврале — в Крым! Как это, Крым? Разве о Крыме я писал? Я не медик; но учение о климатах понятно всем. В Крыму, зима еще не годится для здоровья. Даже в Греции мало годится. Ближе Италии нет теплой зимы.

Милый друг, — она пишет, что это она сама так странно исполняет мои просьбы к ней. Я верю безусловно в ее слова, но — не в такие. Они, может быть, и совершенно верны правде. Но есть отношения и положения, в которых человек не имеет права верить ничему, кроме фактов.

Пусть письмо от Ольги Сократовны будет из Неаполя, Салерно, Палермо — только почтовые марки имеют для меня убедительность в этом деле. Никакие и ничьи уверения ровно ничего не значат для меня в этом деле; ни даже удостоверения Ольги Сократовны.

Вот Тебе и мотив моих грубых обид вам: зима в Италии для Ольги Сократовны.

Милый мой, я очень больно огорчил вас. Конечно, вы простите меня...

Откровенно Тебе скажу: быть может не вас мне должно винить за то, что мое начало хорошего дела оказалось неудачным, и дело должно быть, к моему сожалению, брошено мною. Следовало писать обиды вам еще грубее и еще хуже по смыслу. Но я полагал, что и таких достаточно; в особенности казалось мне хорошим то, что я прицепил к грубостям даже денежные вопросы. Я полагал: достаточно; даже в деньгах, виноваты вы, и особенно, Ты: «пользуются моими деньгами и досадуют на то, что эти деньги не так велики, как было бы приятнее пользоваться ими». — Согласись: можно было ожидать, что Ты плюнешь и посоветуешь другим ограничить свое огорчение тем же: плюнуть.

Но что испорчено, то испорчено...

Снова прошу прощения у сестер и у Сережи, и у Тебя, мой милый. Целую руки сестер.

Письмо Твое исполнено высокого благородства души. За него стоило бы поцеловать и Твою руку; это неприлично; но я с некоторыми людьми не стеснялся в этом, когда был молод.

Будь здоров, целую Тебя...».

Итак, задуманный в тиши горького одиночества, взрощенный скорбью, взлелеянный тоской, план Чернышевского рухнул. «Что испорчено, то испорчено». Подвиг любви и самоотвержения не удался...

В письме к Пыпину Николай Гаврилович не скрывал от него печальной правды о своем здоровьи. Подточенное еще во время заключения в сырых казематах Петропавловской крепости, оно разрушалось с каждым годом. В первые годы сибирской ссылки его организм успешно справлялся с суровым климатом, с физическими лишениями. Ему много помогал закал, вынесенный из детства, благодаря демократической простоте его воспитания и гимнастическим упражнениям на свежем воздухе «по примеру греков и римлян». Но запас сил мало-по-малу истощился. Теперь здоровье Чернышевского быстро шло на убыль. Его мучил застарелый ревматизм, цынга; он страдал тяжелым малокровием; в последнее время у него, под влиянием климатических условий, развивался зоб.

Известия о состоянии здоровья Николая Гавриловича глубоко взволновали Пыпина. Он решил обратиться к правительству с ходатайством о смягчении участи Чернышевского.

«Болезнь его такого рода, что она неминуемо должна влечь за собою скорую смерть,—писал Пыпин шефу жандармов графу Шувалову. Не решаясь просить о том, чтобы ему дозволено было возвратиться хоть в одну из отдаленных губерний России, дабы последние дни своей жизни он мог провести окруженный своей семьей, я позволю себе, тем не менее, ходатайствовать о том, чтобы ему было назначено местожительство не столь отдаленное, с более умерен-

ным климатом, где он нашел бы возможность пользоваться медицинской помощью, хотя для некоторого облегчения его физических страданий.

Сколь ни велика была бы вина Чернышевского, но одиннадцатью годами суровой жизни на самом севере Сибири он в значительной мере искупил свою вину. Эти одиннадцать лет, без сомнения, смягчили его вину в глазах правительства. И несмотря на это, я все же быть может не дерзнул бы ходатайствовать перед верховной властью о смягчении его участи, если бы, с одной стороны, в 11 лет Чернышевский хотя однажды дал бы своим поведением повод к какому-либо на него нареканию и если бы, с другой, он не находился теперь в том положении, которое вызывает сострадание и милосердие к каждому человеку, кто бы он ни был и как бы ни был он когда-либо преступен...»

Но правительство осталось глухим к голосу Пыпина. Перед братом и другом Чернышевского была каменная стена, от которой отскакивали самые трогательные, самые пламенные призывы к милосердию, самые убедительные обращения к элементарнейшей справедливости, на которую имеет право закоренелый преступник. Чернышевский не был в глазах правительства обыкновенным преступником. Он был гораздо опаснее всякого убийцы и казнокрада; он был писателем-революционером, проповедником «разрушительных идей» социализма. Этого правительство не могло ему простить. Всякая попытка заступничества за Чернышевского была заранее обречена на неудачу.

Ходатайство Пыпина было не первым. Первая попытка заступничества за нашего мыслителя была сделана уже давно, вскоре после его ссылки. Она исходила от человека, близкого Александру II, известного литератора, графа А. К. Толстого. Последний был личным другом царя и товарищем его юности. Приезжая в Петербург, он обыкновенно останавливался в Зимнем Дворце. Зимой 1864—65 г. Толстой был приглашен принять участие в царской охоте. Распорядитель охоты поставил его рядом с Александром II, как человека, близкого царю и редкого гостя. В ожидании, пока все займут свои места, и охотничьи собаки поднимут зверя,

царь стал вполголоса разговаривать с Толстым. Последний решил воспользоваться удобным моментом, чтобы замолвить слово за Чернышевского. На вопрос Александра II, что делается в литературе, граф ответил, что «русская литература надела траур по поводу *несправедливого* осуждения Чернышевского...». Но царь прервал его на половине фразы: «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском»,—проговорил он строгим и властным голосом и затем, отвернувшись, дал понять собеседнику, что разговор их кончен [1]).

Потерпев неудачу, Толстой больше не решался возобновить своей попытки.

---

[1]) См. архив «Вперед» 1910 г., стр. 76—77. Михаил Павлюк—о Чернышевском.

ГЛАВА XXIX

Предложение подать прошение о помиловании. — Отказ Чернышевского. — Последние годы вилюйской жизни. — Записка по делу Чистоплюевых. — Переписка с сыновьями. — Смерть Некрасова. — Снова и снова Ольга Сократовна.

Помимо злобы и мстительности правительства, смягчению участи Чернышевского препятствовало еще одно обстоятельство, исходящее от самого Николая Гавриловича, — его независимая манера держать себя. Для Чернышевского честь и достоинство были выше всего. Как безгранично ни любил он Ольгу Сократовну, как ни терзался за ее участь, но даже для нее он никогда не поступился бы ни своим образом мыслей, ни своим человеческим достоинством. Мы видели, в каком независимом тоне он писал из крепости Александру II: ни одной просительной нотки, ни тени раскаяния, ни обычных верноподданнических формул... В 1874 году Ольга Сократовна, по настоянию старшего сына Саши, до которого дошли тревожные слухи о здоровьи отца, обратилась с прошением «на высочайшее имя». Она указывала на бедственное положение семьи, ссылаясь на примеры помилования тягчайших преступников. Ольга Сократовна просила лишь одного: облегчения участи Чернышевского, перевода его из «пустынной страны, из сурового климата в местность, для жизни человека более благоприятную...»

В связи ли с этим обращением, в целях ли сломить упорство Чернышевского, или из других соображений, летом того же года из Петербурга в Якутск была прислана бумага, сообщавшая, что если государственный преступник Чернышевский подпишет прошение о помиловании, то ему может быть дана надежда на перевод из Вилюйска, а со временем и

на возвращение на родину. Исполнение этого деликатного поручения было возложено генерал-губернатором на своего ад'ютанта Винникова, человека развитого и чтившего талант Чернышевского.

В одно прекрасное июльское утро, Винников в сильном волнении под'езжал к тюремному дому, где содержался Чернышевский. О дальнейшем мы расскажем его собственными словами:

«В острожке я не застал Чернышевского; жандарм указал мне в сторону озерка, недалеко от острожка, прибавив, что «арестант гулять вышел, это он делает ежедневно». Было это часа в два. Я увидел Чернышевского сидевшим на скамеечке, лицом к озерку, в сером одеянии, с открытой головой. Я подошел к нему и представился, проговорив, что мне, между прочим, поручено генерал-губернатором спросить вас: «Всем ли вы довольны? Не имеете ли претензий?» Он встал со скамейки, быстро оглядел меня сквозь очки с ног до головы, оглядел, не торопясь самого себя, нагнув при этом голову. Затем, приподняв ее, он проговорил: «Благодарю вас! Кажется, всем доволен и претензий не имею».

Я попросил его сесть, сел и сам рядом, проговорив, что мне нужно еще поговорить с ним по одному важному обстоятельству. Он сел просто, непринужденно, без всякого видимого интереса на сухощавом, бледно-желтоватом лице, поглаживая рукой свою клинообразную бородку, глядя на меня через очки невозмутимо и спокойно. При этом я заметил его откинутые назад волосы, морщины на широком, загоревшем лбу, морщины на щеках и сравнительно белую руку, которою он поглаживал бороду. Я приступил прямо к делу: «Николай Гаврилович! Я послан в Вилюйск со специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам... Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону». И я подал ему бумагу.

Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть, с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ногах, сказал: «Благодарю. Но, видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и

голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования?! Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь».

По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном. «Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?»

— Положительно отказываюсь, — и он смотрел на меня просто и спокойно.

— Буду просить вас, Николай Гаврилович, — начал я снова, — дать мне доказательство, что я вам пред'явил поручение генерал-губернатора.

— Расписаться в прочтении? — докончил он вопросом.

— Да, да, расписаться.

— С готовностью!—И мы пошли в его камеру, в которой стоял стол с книгами, кровать и, кажется, кое-что из мебели. Он присел к столу и написал на бумаге четким почерком: «Читал. От подачи прошения отказываюсь. Николай Чернышевский [1])».

Когда Винников уезжал из Вилюйска, ему, по собственному его признанию, «сделалось стыдно за себя». Он чувствовал себя таким маленьким и ничтожным перед этой несокрушимой силой духа! Сухощавый человек с бледно-желтоватым лицом и ясным, невозмутимым взглядом произвел на него неизгладимое впечатление. От этого спокойного взора веяло обаянием кристальной совести, светлого мощного ума...

Унылой, томительной чередой тянулись годы вилюйской ссылки. Тяжелые, свинцовые тучи нависли над головой Чернышевского. Ни один проблеск, ни один луч надежды не прорезал их непроглядную тьму. Он чувствовал себя заживо-погребенным, навсегда отрезанным от культурного мира Он уже терял надежду увидеть когда-нибудь ту, которой озарены были дни его жизни. Могучий ум, лишенный пищи,

---

[1]) В. Кокосов. — «К воспоминаниям о Н. Г. Чернышевском». «Русское Богатство», 1905 г., № 6, стр. 172—173. Вышеприведенный рассказ Кокосов передает со слов самого Винникова.

порой изнемогал. Изнемогал, но не сдавался. Огромным усилием воли Николай Гаврилович удерживал его на краю пропасти. Только железное самообладание могло удержать его рассудок в границах равновесия. Узник искал спасения в напряженном умственном труде. Он работал, работал... писал без конца дни и ночи... писал и рвал.

«Пишу все романы и романы,—сообщал он Пыпину [1]). — Десятки их написаны мною. Пишу и рву. Беречь рукописи не нужно; остается в памяти все, что раз было написано. И как я услышу от Тебя, что могу печатать, буду посылать листов по двадцати печатного счета в месяц.

Но когда это будет?».

Когда это будет? Наболевший вопрос оставался без ответа. Запретное имя было, казалось, навсегда изгнано со страниц печати.

Ни долгие годы одиночества, ни жестокие испытания не могли ожесточить Николая Гавриловича. Он оставался все тем же мягким, любящим, отзывчивым к чужому страданию. В 1878 году он случайно познакомился с сосланной семьей Чистоплюевых. Это были старообрядцы, темные, безграмотные люди, попавшие в ссылку лишь благодаря своему невежеству. Они обвинялись в солидарности со своими односельчанами, приверженцами «зловредной» секты. С редким терпением, Чернышевский в течение нескольких месяцев расспрашивал Чистоплюевых, пока не уяснил себе всего дела. Перед ним раскрылась ужасающая картина народной темноты. Эти люди были так невежественны и беспомощны, что во время суда требовали вызова в качестве свидетеля Каракозова, который-де вовсе не казнен, а жив-живехонек и даже награжден царем, так как стрелял он в Александра II по взаимному уговору, с целью разрушить какие-то иноземные козни...

У Чернышевского возникло горячее желание спасти несчастных. За себя лично он отказался подавать прошение о помиловании. Но тут ведь шла речь о других! Николай Гаврилович обращается к шефу жандармов с подробнейшей

1) Письмо от 14 августа 1877 г.

докладной запиской о деле Чистоплюевых. Эта записка, исполненная высокой гуманности, дышащая искренним чувством, является в полном смысле слова драгоценным человеческим документом. Одновременно с докладной запиской, Чернышевский пишет на имя царя письмо, в котором сдержанно, с присущим ему достоинством, об'ясняет Александру II, что Чистоплюевы не только не могли выразиться о нем оскорбительно, как их в том обвиняют, но по особенностям своей психологии не могли и мыслить о нем без благоговения.

«Каковы бы ни были мои политические убеждения,— писал Чернышевский, — но смею сказать о себе, что я не обманщик. Ваше величество, по глубокому убеждению этих людей — самый лучший человек из всех людей на свете. И всех благ для России они ждут исключительно от вас. Вы желаете, чтобы в России не было бедности. Вы желаете, чтобы все люди в России были добры и честны. И вы достигнете осуществления этих ваших желаний. Они в том убеждены непоколебимо. Умоляю, ваше величество, помиловать людей, думающих о вас так...»

Само собой разумеется, что ходатайство Чернышевского осталось без результатов. Его записка и письмо вряд ли даже дошли по назначению...

Переписка с сыновьями порой давала пищу деятельному уму Чернышевского. Он хотел, прежде всего, сделать из них мыслящих людей, внушить им дух критики, помочь юношам выработать цельное мировоззрение. Какое мировоззрение? Разумеется, то, которому сам Чернышевский оставался верен со студенческой скамьи, наилучшее выражение которого он нашел у своего учителя Людвига Фейербаха. Это — стройная, последовательная философия материализма. Основные черты этой философии Чернышевский формулирует в письме к сыновьям следующим образом [1]).

«Все, что существует—вещество. Вещество имеет различные качества, напр., массу, величину по каждому из трех геометрических воззрений.

---

[1]) Письмо от 9 февраля 1878 года.

Взаимодействие качеств разных частиц вещества мы называем «взаимодействием сил природы». Поэтому, силы природы — это «опять-таки само вещество, рассматриваемое со стороны своего действования, с одной определенной точки зрения. Наше понимание способов действия какой-нибудь силы приводит нас к знанию так называемых «законов природы». Итак, закон природы—это самое же вещество, рассматриваемое со стороны способов взаимодействия его частиц или масс его частиц».

После этой «характеристики общих научных понятий», Чернышевский указывает сыновьям план, в котором следует изучать различные отрасли знания. План этот таков:

1. Астрономическая история возникновения нашей планеты,

2. Геологическая история земного шара,

3. История развития того генеологического ряда живых существ, в конце которого мы находим людей, и, наконец,

4. История человечества.

Лаплас, Ляйелль, Ламарк, Спиноза, Фейербах — вот имена «великих мыслителей, любивших истину», глубокое изучение которых Чернышевский горячо рекомендует сыновьям.

Изучение это не имеет ничего общего со школьной наукой. Характер школьной науки—сухой, туманный педантизм. Настоящее самообразование начинается только после школьной скамьи.

«Та ценность, которая приобретается посредством школьных занятий, вообще—не больше, как школьные пустяки, большую часть которых надо выбрасывать из головы, чтобы она не оставалась засажена вздором и чтобы очистилось в ней место для серьезных занятий»,—пишет сыновьям Николай Гаврилович 19 октября 1876 года. Школьному диплому Чернышевский придает исключительно практическое значение. «Экзамены, дипломы важны лишь как средства зарабатывать кусок хлеба. Источником истинного образования является знакомство с европейской наукой, изучение европейской литературы». Поэтому, Чернышевский настойчиво советует сыновьям овладеть тремя глав-

нейшими европейскими языками: французским, немецким и английским.

Итак, не гнаться за школьной наукой, за цеховой ученостью, научиться мыслить прежде всего,—такой совет красной нитью проходит в переписке Чернышевского с сыновьями. Но мышление не является для него отвлеченным, самодовлеющим процессом. Напротив, оно направлено к конкретной цели. «Будем жить, трудиться, мыслить—и будем понемножку делаться сами лучше, и лучше устраивать нашу жизнь». Такова, согласно нашему мыслителю, конечная цель всех усилий коллективной человеческой воли.

Как ни заковывал себя Чернышевский в железную броню гордого одиночества, как ни таил свою душевную трагедию под холодной маской спокойствия и рассудочности, порой долго сдерживаемые слезы горячим потоком прорывались наружу. Так было, когда его трогали до глубины души задушевные письма «милого друга Сашеньки», А. Н. Пыпина. Так было и по получении письма от жены Пыпина, Юлии Петровны, написанного под влиянием радостного известия о благополучном возвращении с войны старшего сына Чернышевского Саши [1]): «Это такой сильный, задушевный порыв, что я плакал, читая. Долго плакал. И теперь, перечитывая, снова плачу» [2]). Так было, когда в «Отечественных Записках» Чернышевский прочел предсмертные стихи Некрасова и почувствовал, что это «не прикраса», что смерть поэта неотвратима. Он спешит послать через Пыпина прощальный привет умирающему поэту. Глубокая душевная боль слышится в его словах:

«Если, когда Ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его, как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, вечна будет любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из всех русских поэ-

---

[1]) Александр Николаевич Чернышевский ездил в качестве добровольца на Балканы в русско-турецкую войну 1877 года.

[2]) Письмо от 25 февраля 1878 года.

тов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души, и человек великого ума»... [1]).

«О Некрасове я рыдал. Просто рыдал по целым часам, каждый день, целый месяц»,—писал впоследствии Николай Гаврилович тому же Пыпину. Много рыдал он и о другом человеке, образ которого всегда носил в сердце: о рано ушедшем Добролюбове, которого он никогда не мог забыть, которого любил, как родного сына.

Три месяца шел скорбный привет Чернышевского умирающему Некрасову—и застал поэта еще в живых.

— Скажите Николаю Гавриловичу,—проговорил он едва слышным шопотом,—что я очень благодарю его; я теперь утешен; его слова дороже мне, чем чьи-либо другие слова...

Но что значила для Чернышевского горячая привязанность к братьям по перу, любовь к Пыпину и к детям,—по сравнению с его огромным, всепоглощающим чувством к Ольге Сократовне! Это чувство владело им безраздельно, оно заполняло всю его личную жизнь.

«В моем сердце очень мало места для личной любви к кому-нибудь, кроме Тебя; все занято Тобой, мое сердце. И моя любовь к детям—это лишь отражение Твоей любви к ним» [2]) — «Детей люблю; но чувство мое к ним — ничто сравнительно с моим чувством к Тебе» [3]) — «С той минуты, как я увидел Тебя, я жил лишь любовью к Тебе» [4]) — Думаю свою непрерывную, свою единственную думу: каково-то поживаешь Ты, моя Голубочка? Других забот у меня нет»... [5]).

---

[1]) Отношение Чернышевского к Некрасову, как к «гениальнейшему» из русских поэтов, чрезвычайно для него характерно. Этот взгляд на поэта гражданской скорби разделяла с Чернышевским вся революционная интеллигенция 60-х и 70-х годов. Когда Достоевский, произнося речь на могиле Некрасова, сказал, что он «должен прямо стоять вслед за Пушкиным и Лермонтовым, то из рядов окружавшей могилу революционной молодежи и раздались крики: «Он был выше их, выше!». В числе кричавших был будущий родоначальник русского марксизма Г. В. Плеханов.

[2]) Письмо от 24 апреля 1878 г.

[3]) Письмо от 1 ноября 1880 г.

[4]) Письмо от 20 сентября 1879 г.

[5]) Письмо от 3 сентября 1882 г.

И эта страстная, мучительная, волнующая дума выливается в горячую мольбу, которая звучит лейтмотивом в каждом письме:

«Будь здоровенькая и веселенькая, моя милая Красавица, и я буду счастливейший человек на свете».

А для того, чтобы быть «здоровенькой», Ольга Сократовна должна проводить зиму в Южной Италии. Неотступно молит ее об этом Николай Гаврилович в каждом письме, месяцы, годы...

«Состояние Твоего здоровья очень тревожит меня. Ни о чем, кроме этого, не могу думать.

Повторяю мою просьбу к Тебе: поезжай в Южную Италию. Живи там до совершенного восстановления твоего здоровья. Умоляю Тебя!

Больше я не в состоянии ни о чем думать. И пишу это кратко, чтобы тем сильнее было это впечатление на Тебя, моя Радость; умоляю Тебя, исполни мою просьбу.

Поезжай в Южную Италию!»[1]).

О себе, как и встарь, Николай Гаврилович совершенно не думает. Все мысли о ней, о ней одной. Жестокие морозы, болезни, нужда в самом необходимом—все прочь, мимо, мимо! Только бы уверить ее, что он совершенно здоров и ни в чем не нуждается...

«По своему хорошему и неизменному обыкновению, я совершенно здоров. Прошу Тебя и детей не присылать мне ни денег, ни вещей: у меня всего много. И обстановка моей жизни очень комфортабельна»[2]).

«Я совершенно здоров. Живу прекрасно. Денег у меня много. Всяких вещей, надобных для удобства жизни, у меня большой запас. Прошу Тебя и детей, не присылайте мне ни денег, ни белья, никаких вещей. Поверь, я действительно живу в совершенном изобилии»[3]).

Мысль о том, что он не только не поддерживает любимую женщину, но и отнимает у нее средства к существо-

---

[1]) Письмо от 21 февраля 1877 г.

[2]) Письмо от 20 сентября 1879 г.

[3]) Письмо от 22 марта 1879 года.

ванию, невыразимо мучила Николая Гавриловича. В письмах к сыновьям, он упрашивает их на предназначенные для него деньги купить подарок Ольге Сократовне. Если, не взирая на его просьбы, деньги все же получаются, он заказывает на эту сумму мех все для той же Ольги Сократовны.

Каково было в действительности в эту эпоху здоровье Николая Гавриловича? Это видно из его редких писем к Пыпину, от которого он не скрывает печальной истины, лишь несколько ее смягчая.

Хрупкое от природы, надломленное годами суровых лишений и нравственных страданий, оно все более и более разрушалось. Медицинской помощи в Вилюйске не было. Единственный живущий там «медик», по словам Чернышевского, «хуже плохого фельдшера», и обращаться к нему совершенно бесполезно. А другой, присланный ему на смену, оказывается «и вовсе идиот». Николай Гаврилович принужден просить Пыпина прислать ему медицинские книги и домашнюю аптеку, чтобы попытаться искать облегчения своих страданий собственными силами...

Жил Чернышевский замкнутой, однообразной жизнью. Он был единственным политическим ссыльным в Вилюйске, интеллигентных людей в городе не было, и встречаться было не с кем. Весь день и большая часть ночи проходили в чтении и литературной работе. Одинокая прогулка на час-полтора в день, небольшая физическая работа с гигиенической целью — осушка озерка возле тюрьмы — ненадолго отрывали его от книги и бумаги. Обеды он брал у суровой, неразговорчивой старухи. Но такова была власть Чернышевского над людьми, что скоро и эта старуха полюбила его, как любят простые люди своих праведников. «Пишет он все, батюшка мой, — отвечала порой старуха на настойчивые расспросы любопытных о Чернышевском:—пишет, пишет, бывало, а потом начнет жечь—все сожгет. Спрашиваю я его: «зачем это ты, Гаврильевич, пишешь-то, а потом жгешь?». А он только посмотрит на меня—губами поведет: глаза печальные, да так ничего и не скажет»... [1]).

---

[1]) Из воспоминаний о вилюйской жизни Чернышевского. Приложение к книге «Чернышевский в Сибири». Переписка с родными. Вып. II, стр. 42.

Жуткой правдой веет от этого безыскусственного рассказа. «Так ничего и не скажет»... Если бы вилюйская старуха знала любимого поэта своего «Гаврильевича», она могла бы сказать его словами:

Мало слов—а горя реченька,
Горя реченька бездонная...

(Н. Некрасов — «Орина, мать солдатская»).

ГЛАВА XXX

Революционное движение в России в 70-е годы.—Хождение в народ. — Революционное народничество. — «Земля и Воля». — Политическая борьба. — Террор. — Распад «Земли и Воли». — «Народная Воля». — Событие 1 марта 1881 г. — Переговоры правительства с Исполнительным Комитетом «Народной Воли». — Освобождение Чернышевского.

Пока наш великий мыслитель томился среди вилюйских тундр, на родине совершались важные события. Общественное движение, полузадавленное реакцией второй половины 60-х годов, пробудилось с новой силой в 70-е годы. Весна 1874 года ознаменовалась широким движением социалистической молодежи «в народ». Сотни юношей и девушек бросали семью, родных, друзей, высшие учебные заведения, отказывались от всяких привилегий, от привычек культурной жизни, нередко от богатства и комфорта, и, переодетые в рабочий костюм, шли в деревню, в толщу народа, с целью пропаганды социалистических идей. Молодежь была охвачена энтузиазмом.

«Чистое, как хрусталь, настроение, цельное, почти религиозное, охватило молодежь. И выпрямившись во весь рост, она, добрая, светлая, глубоко верующая, потянулась к тому,

> Кто все терпит во имя Христа,
> Чьи не плачут суровые очи,
> Чьи не ропщут немые уста...» [1]).

Пропаганда разлилась по всей России. Она, по официальным данным, охватила 37 губерний. Но самоотвержен-

---

[1]) О. В. Аптекман—«Общество «Земля и Воля» 70-х годов». Петербург, изд. «Колос», 1924 г., стр. 128.

ный порыв молодежи разбился об инертность крестьянской массы. Эта масса оказалась слишком неподготовленной к восприятию социалистических идей. Да и сами пропагандисты оказались недостаточно подготовлены к своей задаче. Не прошло и года, как тюрьмы наполнились арестованными пропагандистами. Арестовано было больше 1000 человек, цвет учащейся молодежи. Паломничество «в народ» потерпело полную неудачу.

Правительство дало жестокий урок социалистической молодежи. Оно показало ей, что при самодержавно-полицейском режиме невозможна никакая мирная пропаганда в народе. Народники воспользовались этим уроком. В 1876 г. была основана революционная организация—«Земля и Воля», ставившая себе задачей не столько пропаганду социалистических идей, сколько революционную агитацию среди народных масс, на почве их непосредственных интересов, с целью поднять крестьян на восстание против существующего строя. Землевольцы или «бунтари», как их называли сторонники мирной пропаганды, основывали более или менее оседлые поселения в народе, в Саратовской, Тамбовской, Воронежской, Нижегородской и других губерниях, жили его жизнью, входили в его ближайшие, непосредственные нужды и интересы, в качестве сельских писарей, учителей, фельдшеров и т. д. и стремились к организации крестьян для будущего восстания, которое им представлялось в виде социальной революции.

Однако, жестокая российская действительность так же разбила надежды революционеров-народников, как и предшественников их, пропагандистов. Под «народом» революционеры того времени разумели почти исключительно крестьян. На городских рабочих они возлагали мало надежд, во-первых, из-за их малочисленности, во-вторых, в силу ошибочного взгляда на ход общественного развития России. Революционное народничество 70-х годов полагало, что России не суждено пойти путем капиталистического развития, что западно-европейская «язва пролетариата» минует нашу родину. Поэтому они не придавали большого значения работе среди городских рабочих и обращались преимуще-

ственно к крестьянам. На этой почве народники неизбежно должны были потерпеть крушение. Горький опыт показал им, что русский крестьянин 70-х годов является совершенно непригодным об'ектом революционного воздействия; что окрашенные социализмом «народные идеалы», которые они приписывали крестьянству, в действительности представляют собой лишь плод фантазии революционной интеллигенции; что крестьянин отнюдь не склонен «потрясать основы» существующего строя; что, наконец, упования народников на казачество и раскол так же мало основательны, как и вера в «социалистический инстинкт» русского крестьянина.

С другой стороны, работа в деревне наталкивалась на огромные препятствия со стороны властей и полиции. Повальные обыски, аресты, ссылки стали обычным явлением. Правительственные гонения озлобляли молодежь и толкали ее на путь политической борьбы.

В конце 1877-го года разнесся слух о позорном истязании революционера Боголюбова в доме предварительного заключения в Петербурге. Это известие подействовало на революционеров, как электрическая искра. «Стон раздался в партии, словно из сердца ее вырван кусок живого мяса. Крик: «Месть, месть! Смерть опричникам!» — разнесся в партии» [1]).

24 января 1878 года революционерка Вера Засулич выстрелила в петербургского градоначальника Трепова — виновника телесного наказания Боголюбова. Исторический выстрел Веры Засулич был поворотным пунктом в истории революционного движения. На свирепые преследования правительства—избиения, ссылку на каторгу, смертные приговоры—революционеры отвечали вооруженным сопротивлением и выстрелами во врагов народа. Кровь за кровь, за белый террор—красный террор!

Начинается единоборство героической кучки революционеров с царским правительством. На смертную казнь Ковальского, Осинского и других товарищей, революцио-

---

[1]) О. В. Аптекман—«Общество «Земля и Воля» 70-х годов». Стр. 267.

неры отвечают убийством жандармского офицера Гейкинга, шефа жандармов Мезенцова и других опор трона. Раз'яренное правительство мстит свирепо, беспощадно. Из ряда революционеров вырываются все новые и новые жертвы.

Вихри злобы и бешенства носятся
Над тобою, страна безответная.
Все живое, все честное косится...

скорбно писал Некрасов, незадолго до своей смерти.

Между тем, логика событий все дальше толкает революционеров по пути террористической борьбы с правительством. После целого ряда покушений и убийств правительственных чиновников, террористически настроенные члены «Земли и Воли» приходят к мысли о необходимости уничтожить главу государства. Выстрел Соловьева 2-го апреля 1879 года открывает серию покушений на жизнь Александра II. В статье, посвященной этому выстрелу, центральный орган «Земли и Воли» заявляет:

«Правительство об'являет себя в опасности, оно об'являет открытую войну уже не одним революционерам, а всей России. Пусть будет так! Мы принимаем брошенную нам перчатку. Мы не боимся борьбы и, в конце концов, взорвем правительство, сколько бы ни погибло с нашей стороны» [1].

Таким образом, большинство влиятельных членов «Земли и Воли» окончательно вступили на новый путь. Остается признать совершившийся факт.

Во второй половине 1879 года «Земля и Воля» раскололась на две организации: «Черный Передел», который оставался на старой, народнической точке зрения, отрицавшей политическую борьбу, и несравненно более сильную «Народную Волю», признававшую своей ближайшей задачей политическую борьбу с самодержавным правительством, с целью захвата власти, и террор, как главный метод этой борьбы.

Ряд покушений на жизнь Александра II, блестяще организованных Исполнительным Комитетом «Народной Воли», увенчался полным успехом: 1-го марта 1881 г. Александр II был убит бомбой, брошенной рукой революционера.

---

[1]) «Земля и Воля» 1879 г. № 5, передовая статья.

Событие 1-го марта произвело ошеломляющее впечатление на правительство и общество. Правительство было терроризовано. В либеральном обществе пробудилась надежда на смягчение правительственного режима и «дарование» конституции. Легальная печать подняла голову. Одним из требований, единодушно выдвигавшихся передовой печатью, было освобождение Чернышевского.

«Далеко, в Восточной Сибири, в Якутской области, есть город, призрак города—Вилюйск»,—писал автор передовой статьи либеральной газеты «Страна».—«Он известен тем, что в нем, географически далеко от умственных центров страны, но нравственно им близко, скрывается пример несправедливости, жертва реакции. Там живет, т.-е. едва прозябает, отчужденный от семьи, от товарищей в русской литературе, лишенный почти всех условий человеческого существования,—Н. Г. Чернышевский».

Обрисовав далее роль Чернышевского, как блестящего публициста и «властителя дум» 60-х годов, автор в заключение обращается к правительству с призывом об освобождении Чернышевского: «Мы ставим вопрос практически; простите! Дайте еще один, весьма крупный залог, что в самом деле вы желаете умиротворения».

То же требование выставлялось и в заграничной печати. Правительство начинало серьезно задумываться над вопросом об освобождении Чернышевского. Близилось время коронации нового царя. В правительственных сферах опасались, чтобы это торжество не было омрачено каким-либо террористическим актом со стороны революционеров. Желая обеспечить себя от такой неприятной «возможности», правительство через посредство либерального публициста Николадзе вступило в переговоры с Исполнительным Комитетом «Народной Воли». Одним из условий для соблюдения «спокойствия» во время коронации, со стороны революционеров, было поставлено освобождение Чернышевского. Правительство согласилось на это условие, обещав вернуть Чернышевского на родину, в Саратов.

Коронация Александра III благополучно прошла в марте 1883 г. 15 мая того же года был дан указ сенату о переводе

Чернышевского в Европейскую Россию, в г. Астрахань. Правительство не сдержало полностью своего обещания: оно не вернуло Чернышевского на родину. Но, как бы там ни было, двадцатилетняя неволя кончилась; узник вырвался, наконец, из ревниво сторожиших его, обледенелых стен вилюйской тюрьмы!

В конце августа 1883 года Чернышевскому было об'явлено, что его приказано «доставить» в Иркутск. О настоящей цели путешествия ему не сообщалось. И, тем не менее, сердце его забилось в радостном предчувствии. Крышка гроба, захлопнувшаяся над ним 21 год тому назад, приоткрылась. Николай Гаврилович словно глотнул свежего воздуха. Он почувствовал, что вернуться в свою могилу, в ненавистный Вилюйск, он больше не может. На вопрос жандарма, когда он пожелал бы двинуться в путь, он без малейшего колебания ответил: «Сейчас». Жандармы упросили его подождать до следующего дня.

Только в Иркутске Чернышевскому об'явили, что ссылка его кончена, что он направляется на жительство в Астрахань. Николай Гаврилович был глубоко потрясен. Неужели он снова увидит свою «милую Радость», своих детей! Впервые за 21 год этот мученик, гордо, молчаливо терпевший свою судьбу, не сдержался при посторонних: он заплакал радостными слезами...

ГЛАВА XXXI

Жизнь в Астрахани.—Мечты и действительность.—Свидание с Пыпиным.—Литературные занятия.—Отношение к прошлому. — Легенда о Шамиле. — Переезд в Саратов. — Болезнь и смерть. — Похороны Чернышевского.

Осень 1883 года застала Николая Гавриловича в Астрахани. Пали, наконец, преграды, воздвигнутые злой волей между ним и Ольгой Сократовной. Дети уже взрослые, они живут вдали своими собственными интересами. Николай Гаврилович снова, как в былые времена, вдвоем со своей «ненаглядной Голубочкой».

Отогрелась ли, отдохнула ли его исстрадавшаяся душа вблизи той, к которой так жадно рвалась она на крыльях любви с далекого севера? Николаю Гавриловичу горько сознаваться в этом перед самим собою: но суровая действительность разрушила светлую мечту... Двадцать лет оторванности от жизни не прошли даром. Время наложило на обоих свою печать. Могучий ум, сильная воля Николая Гавриловича долгие годы выдерживали страшное напряжение, чтобы не сдаться, не сломиться в получеловеческих условиях существования. Теперь наступила реакция. Все его духовное существо как-то ослабело, осело. Появилась необычная, несвойственная Николаю Гавриловичу, нервность, раздражительность. Крутой поворот в судьбе требовал нового напряжения сил, а их уже не было... Надо было приспособляться к новым общественным условиям. Кругом кипела молодая жизнь, назревали новые общественные силы, старые верования терпели крушение... А он оставался в стороне, со своими прежними приемами мышления, со своей верой во всеустроительный разум. Грызло сознание, что он не у дел, что жизнь мчится мимо него... Блестящий, несравненный публицист 60-х

годов чувствовал себя теперь, как рыба, выброшенная на песчаный берег из родной стихии.

— Публицистика?—сказал он однажды литератору, настаивавшему, чтобы он писал в журналах.—Как вы хотите, чтобы я занялся публицистикой? Вот у вас теперь на очереди вопрос о земстве, о новом суде. Что я напишу о них? Во всю мою жизнь я не был ни разу в земском собрании!

Одно чувство уцелело в нем, нетронутое рукой времени, без малейшего надлома: его чувство к Ольге Сократовне. По-прежнему глубокая, беззаветная любовь, по-прежнему нежная забота о «Голубочке». По-прежнему он готов бросить работу по первому ее зову и бежать, куда прикажет. Но и Ольга Сократовна уже не та... Она давно утратила свою былую красоту и жизнерадостность. А вместе с красотой и обаянием для этой мотыльковой натуры был утрачен и весь смысл жизни. Ее постоянная нервная раздражительность приняла форму тяжелых истерических припадков. Она не могла сладить с собой, приспособиться к новому Николаю Гавриловичу, и мучила его и себя. Ее тяжелые переживания отражались в письмах к сыновьям.

«Совсем не то, что было прежде,—писала Ольга Сократовна младшему сыну 20 декабря 1883 г.,—я люблю его, Николая Гавриловича—прежнего, а не настоящего. Мне очень трудно привыкать теперь к нему. Все то, да не то. Не знаю, как мне и ладить с собой. Уж очень я нервно зла стала. Больше всего злюсь на самое себя, что не умею управлять своей волей. Не такой бы мне надо быть в настоящее время. Твоя несчастная мамаша».

Через год она снова пишет родным: «Со мной опять страшные истерики. Не знаю, что и делать. Хочу написать своему доктору... Никакие лекарства не помогают. По целым дням и по целым ночам плачу. Все глаза выплакала. Раздражительна до крайности, даже совестно быть такой»! [1]).

Николай Гаврилович знал, что успокоить Ольгу Сократовну в таких случаях могла только смена впечатлений. Он

[1]) См. В. А. Пыпина—«Любовь в жизни Чернышевского». Петроград, 1923 г., стр. 109.

начинал нежно упрашивать ее с'ездить к родным в Саратов или в Петербург, «развлечься», «рассеяться». Она охотно соглашалась. Гроза проходила до поры, до времени.

Через несколько месяцев после возвращения Николая Гавриловича из ссылки, к нему в Астрахань приехал повидаться верный друг и товарищ детства, «милый брат Сашенька», теперь известный ученый. Глубокое волнение охватило при встрече их обоих, внешне спокойных и сдержанных. Вечером того же дня Александр Николаевич Пыпин писал жене:

«С утра до сей минуты—поздний вечер—мы все говорили о всевозможных предметах. Он (Николай Гаврилович) изменился очень мало; самая резкая перемена—глубокая морщина на лбу. Волосы без малейшей седины, но темнее, чем были прежде; лицо худощаво и несколько бледно, совершенно так же рассеян, как бывало. Весь разговор со мной был мягкий, но заметна нервная раздражительность, выражается нетерпеливостью и т. п.» [1]).

Николай Гаврилович искал убежища от всех невзгод и разочарований в старом испытанном средстве—труде. Он сохранил, во всей свежести и неприкосновенности, прежнюю работоспособность и страсть к умственному труду. В Астрахани Чернышевский ушел с головой в перевод «Всеобщей истории» Вебера. В течение 4—5 лет он перевел 11 обширных, до 1.000 страниц каждый, томов труда немецкого историка и издал первый том «Материалов для биографии Добролюбова», собранных им еще в 60-е годы. Он сознательно не брался за более злободневные темы, чувствуя свою отсталость от жизни.

Работал Николай Гаврилович с лихорадочной быстротой. Чтобы ускорить ход работы, он пригласил к себе, в качестве секретаря и переписчика, астраханца К. М. Федорова, который впоследствии так описывал образ жизни Николая Гавриловича.

«День его обыкновенно начинался следующим образом: в 7 часов утра он уже был на ногах, пил чай, и в это же

---

[1]) В. А. Пыпина—«Любовь в жизни Чернышевского», стр. 115.

время или читал корректуру, или же просматривал подлинник перевода; затем с 8 часов до 1 часу дня переводил, диктуя своей «пишущей машине», как он меня шутя называл за скорое писание под диктовку. В 1 час дня мы, т.-е. супруга Чернышевского и я, обедали. Страдая давнишним недугом, катарром желудка, он во время обеда ел очень мало и питался исключительно молоком и легкой кашицей. После обеда, который продолжался не более минут 30—40, Чернышевский прочитывал газеты и журналы, а с 3 часов до 6 часов вечера, т.-е. до вечернего чая, продолжалась работа. И если «пишущая», т.-е. я, и «диктующая» (Чернышевский) не уставали, то занятия иногда затягивались далеко за полночь» [1]).

В непрерывной работе Николай Гаврилович находил некоторое успокоение. Приехавший снова навестить его в 1888 г. А. Н. Пыпин нашел его в значительно лучшем состоянии, чем в первый год по возвращении из ссылки.

«Рассказывать о здешнем пребывании было бы долго,— писал Пыпин жене в этот свой приезд.—Главное препровождение времени, конечно, длинные разговоры. Николай Гаврилович и всегда любил поговорить и теперь говорит много и, кажется, с удовольствием, обыкновенно весел. Сколько я присмотрелся теперь ближе, он, без сомнения, спокойнее и здоровее нервами, чем прежде, но худее. Образ жизни тот, к какому он всегда был склонен; это пребывание на диване в халате; на ногах у него всего чаще валеные сапоги, ногам холодно—очевидно, давно приобретенный ревматизм, с чем он, конечно, не соглашается. Есть и другие недочеты в здоровьи, которых он опять не желает видеть и признавать, и с этим мудрено что-нибудь сделать» [2]).

В Астрахани Чернышевский вел почти такую же замкнутую, уединенную жизнь, как в Вилюйске. Все близко знавшие Николая Гавриловича очень любили его. Но таких людей было мало. Новых знакомств Чернышевский избегал: он не хотел

---

[1]) К. Федоров—«Н. Г. Чернышевский». Асхабад, 1904, стр. 58—59.

[2]) В. А. Пыпина—«Любовь в жизни Чернышевского». Стр. 116—117.

быть предметом любопытства. Глубоко чуждый всякой фразы и позы, он держал себя с чрезвычайной простотой и достоинством. Никто не слышал от него ни единой жалобы ни на прошлое, ни на настоящее. Еще в Сибири Николай Гаврилович не любил говорить о причинах своей ссылки. «Бог их знает. Может быть, им известно, за что сослали, а я не знаю», отвечал он обыкновенно назойливо вопрошавшим по этому поводу. Так и в Астрахани он умел отделываться от праздных вопросов любопытных.

Однажды местные великосветские дамы, желая познакомиться со знаменитым писателем, упросили астраханского губернатора пригласить его к себе. Николай Гаврилович нехотя пришел, по настоянию Ольги Сократовны. Скоро он был окружен целым роем изящных дам. Начались расспросы.

— А что, Николай Гаврилович? Тяжело вам было? Воздух в тюрьме дурной?

— Нет, ничего. Воздух, как воздух, если в комнате нет скученности.

— Ну, а пища? Вероятно, ужасно скверная?

— Да я и прежде часто ел черный хлеб. Семья моя жила хорошо, а мне некогда было и пообедать всякий день, как следует.

— Но, наконец, ваше помещение? Простору нет в каземате?

— Да, видите ли, у меня и прежде был маленький кабинет, в который, бывало, кроме наборщиков и Некрасова, по целым неделям никто не заглядывал.

— А принудительные работы?

— Да принудительной работы гораздо больше в журналистике, чем на каторге!

Так ни «просто приятным», ни «приятным во всех отношениях» дамам не удалось добиться от Николая Гавриловича ни тени сетования или жалобы... Сильный сознанием своей нравственной правоты, с гордым достоинством неся свой крест, он не нуждался в сожалении праздной толпы...

Он ни в чем не раскаивался, ни о чем не сожалел. Он попрежнему мог сказать, как в письме из Сибири к Ольге Сократовне: «В прошлом все хорошо. И пусть думают о

нем наши дети». Однако, порой в отношении его к своему прошлому проглядывала нотка добродушной и грустной иронии. Однажды, когда в кружке близких знакомых зашла речь о революционной деятельности Чернышевского, Николай Гаврилович рассказал следующую легенду-аллегорию:

«Когда-то, во время кавказской войны, знаменитый вождь кавказских горцев Шамиль спросил одного прорицателя об исходе своего предприятия. Прорицатель дал ответ очень неблагоприятный. Шамиль рассердился и велел посадить пророка в темницу, а затем приговорил его к казни, в виду того, что его предсказание вносило уныние в среду мюридов [1]). Перед казнью пророк просил выслушать его в последний раз и сказал:

«В эту ночь я видел вещий сон: есть где-то на свете дом, в этом доме ученый человек сидит много лет над рукописями и книгами. Он придумает такую машину, от которой перевернется не только Кавказ и Константинополь, но и вся Европа. А будет это тогда, когда бараны станут кричать козлами».

Шамиль задумался и хотел помиловать пророка, но мюриды возмутились еще больше: не ясно ли, что пророк сеет в рядах правоверных напрасное уныние! Где же видано, чтобы бараны кричали козлами?

И пророка казнили.

Но когда стали готовиться, чтобы отпраздновать тризну, то один из баранов, назначенных к закланию, вырвался из рук черкеса и, вскочив на крышу шамилевской сакли, закричал три раза козлом.

Тогда Шамиль ужаснулся и, призвав самого верного из своих ад'ютантов, дал ему денег и велел ехать по свету во что бы то ни стало разыскать неизвестного ученого и убить его, прежде чем он успеет окончить свою работу...

После долгих поисков ад'ютант разыскал ученого в Петербурге. Он застал его, окруженного книгами, в кабинете, в котором топился камин.

---

[1]) Мюрид—по-тур. ученик—магометанская секта на Кавказе.

Ученый сидел против огня и размышлял. Когда ад'ютант Шамиля об'явил ему, что он давно его разыскивал, чтобы убить, ученый ответил ему, что он готов умереть, но просил дать ему немного времени, чтобы покончить свои дела и планы.

«Ты хочешь привести в исполнение то̀, что у тебя здесь написано и начерчено?»—спросил его мюрид.

«Нет, я хочу все это сжечь в камине, чтобы никто не вздумал выполнить то, над чем я так долго трудился, считая, что работаю для блага людей. Теперь я пришел к заключению, что я ошибся».

— Вы были этот ученый? — спросила Чернышевского одна из слушательниц.

— Нет, я тот баран, который хотел кричать козлом, — ответил Николай Гаврилович, со свойственной ему добродушной насмешкой над самим собой [1]).

Быть может, Николай Гаврилович подшучивал над своими попытками активного участия в революционном движении, которые так не вязались с его природными склонностями кабинетного мыслителя и ученого. Кроткий по природе баран вздумал кричать по-козлиному — вряд ли из этого может выйти что-либо путное, казалось, говорила его сказка.

Однако, здесь не было ни малодушного покаяния, ни разочарования в прошлом. Наоборот, нередко после такого добродушного подтрунивания над собой, как рассказывает вполне достойный доверия свидетель [2]), Николай Гаврилович встряхивал своими густыми волосами и прибавлял с лукавой улыбкой:

«А ведь все-таки, сказать правду: не все же только худое было. Было кое-что и хорошее. Пожалуй, не мало было хорошего, да, не мало».

Нет, он не смеялся над прошлым, он оставался тем же революционером, беспредельно преданным лучшим заветам

---

[1]) В. Г. Короленко—«Воспоминания о Н. Г. Чернышевском». Лондон, 1894, стр. 29—30.

[2]) То же В. Г. Короленко. Стр. 31.

60-х годов. Он подсмеивался только над своими попытками практической деятельности, да, пожалуй, над той горячей верой в близость социальной революции, с какой он, заканчивая роман «Что делать» в Петропавловской крепости в 1863 году, пророчил переворот через 2 года [1]).

В июне 1889 года семье Чернышевского удалось добиться перевода его в родной город Саратов. Ольга Сократовна захлопотала, засуетилась, устраивая новое гнездо. Но недолго суждено было Николаю Гавриловичу прожить на родине.

Жизненные силы Чернышевского приходили к концу. Организм, истощенный голодными и холодными годами сибирской ссылки, был окончательно сломлен тяжелой малярией, которою Чернышевский заболел в Астрахани. Да и сам по себе резкий переход от ледяных тундр Вилюйского края к знойной Астрахани не мог не отразиться болезненно на хрупком здоровье Николая Гавриловича.

11 октября Чернышевский тяжело заболел. В бреду мозг его продолжал лихорадочно работать, жить научными интересами: он диктовал перевод Вебера, бредил теориями гнойного заражения, говорил о книгах... В ночь на 17 октября Николай Гаврилович скончался от кровоизлияния в мозг.

Весть о смерти писателя быстро разнеслась по городу. На панихиду собралось огромное количество публики. Не праздное любопытство влекло ее к праху Чернышевского. Многие рыдали. При всей замкнутости и скромности Чернышевского, он пользовался всеобщей любовью и уважением среди интеллигенции и учащейся молодежи не только встарь, но и теперь, в 80-е годы.

В публике было немало и переодетых чинов полиции. Среди присутствовавших раздавался ропот: «И мертвого-то

---

[1]) Заключительная глава «Что делать» была помечена 4 апреля 1863 г. Выстрел Каракозова раздался 4 апреля 1866 г. Такое совпадение, в связи с пророчеством Чернышевского о грядущей революции (правда, через два года), подало повод реакционерам утверждать, что Чернышевский, еще сидя в крепости, знал о замыслах Каракозова, и требовать усиления карательных мер против автора «Что делать» после выстрела 4 апреля.

[illegible]

боятся, спокойно умереть не дадут!»—«За что замучили человека? За то, что правду говорил!»

Но полиция, не смущаясь, делала свое дело. Она усердно сортировала венки и снимала ленты с надписями: «Мир праху твоему, страдалец», «Сеятелю великих идей», «Автору «Что делать?»

Толпа, провожавшая Чернышевского в могилу, состояла преимущественно из представителей учащейся молодежи. Попеременно, со стройным пением, несли они гроб с телом любимого писателя к месту последнего успокоения.

Рабочего люда на похоронах Чернышевского не было. Трудящиеся массы, которым Чернышевский отдал всю свою многострадальную жизнь, все сокровища своего ума и сердца, едва начинали просыпаться от вековой спячки. Они не только не в состоянии были оценить всей огромности своей утраты, но даже не знали о существовании Чернышевского.

Ольга Сократовна шла за гробом с горькими, безнадежными рыданиями. Она-то хорошо знала, что утратила в лице того, кто с первой минуты встречи жил и дышал ею, для кого она и на склоне лет, как в юности, была безгранично любимой «милой Радостью», «ненаглядной Красавицей». Вместе с Николаем Гавриловичем, она провожала в могилу лучшую полосу своей жизни. На нее глядела хмурая, унылая, бесприютная старость, с призраком одинокой смерти впереди... [1]).

---

[1]) Дальнейшая судьба Ольги Сократовны описана дочерью А. Н. Пыпина. В заключение своей книги «Любовь в жизни Чернышевского», вышедшей в Ленинграде в 1923 г., В. А. Пыпина пишет:

«В августе 1916 г. в «Саратовском Дневнике» сообщалось, что 80-летняя старушка Ольга Сократовна Чернышевская, вдова знаменитого писателя, жившая одиноко в своем полуразвалившемся доме, помещена знакомыми в богадельню. Больно было прочесть такую заметку в газете и признать, увы! жестокую правду: Ольга Сократовна, мать и бабушка, несмотря на все внимание сына, не ужилась в родной семье.

Понемногу Ольга Сократовна стала заметно дряхлеть, а потом как-то вдруг опустилась. Присущая ей раздражительность, не-

ГЛАВА XXXII

Заключение

Глубокий и неизгладимый след оставил Николай Гаврилович Чернышевский в истории русской общественной мысли. Его имя бессмертно. Оно спаяно с одной из величайших творческих эпох, сделавших огромный шаг вперед на пути развития революционных и социалистических идей в России. Славную эпоху 60-х годов можно по праву назвать эпохой Чернышевского. Но помимо общественно-исторического значения, в жизни и деятельности Чернышевского есть еще одна сторона, которая глубоко захватывает при ближайшем знакомстве с нею. Это — нравственная красота его личности. Углубляясь в биографию Чернышевского, изучая его деятельность, знакомясь с его перепиской, невольно поддаешься неотразимому обаянию этой кристальной личности.

уживчивость и взбалмошность усилились и становились нестерпимыми, переходя иногда, казалось, границы нормального.

Пришлось Ольгу Сократовну поместить в богадельню. Там она провела еще два года. Жалкая, выжившая из ума старуха ссорилась, как прежде со всеми, так и теперь со своими сожительницами, и, слабая, беспомощная, плакалась, что «обижают вдову Чернышевского, вдову Чернышевского обижают».

Бесконечно печально угасала когда-то блестящая, кипучая жизнь.

Лежит на смертном одре маленькая детская фигурка, пожелтевшее личико в кулачок, только глаза горят прежним цыганским блеском, а в потухающем мозгу плывут видения прошлого, и с пергаментных губ срывается бред... вон ее Мишка в дровах играет... она видит свою гостиную... приятельниц... поклонников... что только не проносилось тогда перед нею!

Ольга Сократовна скончалась в день своего ангела, 11 июля 1918 года, на восемьдесят шестом году от рождения...

В истории человечества, столь богатой благородными борцами за лучшее его будущее, нередко отдававшими все силы и самую жизнь на служение идее,—мало найдется имен, сияющих такой безупречной чистотой в личной и в общественной жизни, как имя Чернышевского. Николай Гаврилович Чернышевский — воплощение чистейшей, самоотверженной любви к людям. Ни одна самая легкая тень не омрачает этого светлого образа. К Чернышевскому всецело применимо скорбное, глубоко прочувствованное стихотворение Некрасова на смерть Добролюбова:

Слишком рано твой ударил час,
И вещее перо из рук упало.
Какой светильник разума угас!
Какое сердце биться перестало!
Года минули, страсти улеглись,
И высоко вознесся ты над нами.
Плачь, русская земля! Но и гордись—
С тех пор, как ты стоишь под небесами,
Такого сына не рождала ты
И в недра не брала свои обратно.
Сокровища душевной красоты
Совмещены в нем были благодатно.
Природа-мать! Когда б таких людей
Ты иногда не посылала миру,
Заглохла б нива жизни...

(«Ты знаешь, моя Радость, что у меня только два праздника — день Твоего рождения и Твоего ангела»—писал Чернышевский из Сибири Ольге Сократовне. В одном из писем он шлет поэму, написанную им в честь Ольги Сократовны ко дню 11 июля).

На 29 лет пережила она того, кто на нее радовался, ею дышал, ей служил и угождал, ей молился...

Сколько ни работал Чернышевский, но обеспечить своей «Голубочке» спокойную старость ему не удалось, на это потребовалось бы для него еще несколько лет напряженной работы. Да одними деньгами этого и не сделаешь.

Думы волнуют. Сердце сжимается тоской. Гнетет неотвязная мысль о том, как мучительно должен был бы страдать Николай Гаврилович, если бы мог предугадать горестный закат своей «милой Радости!»

«Мне слышатся призывы и скорбный стон с дрожащею мольбой...»

Один из величайших писателей современной Франции, Ромэн Роллан говорит в своей прекрасной книге о Бетховене: «Для меня герой лишь тот, у кого в груди бьется великое сердце...» В этом смысле Николай Гаврилович—тихий, скромный, задушевно-простой, так бесконечно чуждый тени честолюбия—был настоящим героем. Волны любовного, истинно-человеческого отношения к людям струились из его великого сердца и передавались окружающим—часто простым, безграмотным людям, неспособным понять его идеи. Тогда эти обездоленные окружали ореолом этого сильного духом и делали его героем творимой легенды. В своих «Воспоминаниях о Н. Г. Чернышевском» Владимир Галактионович Короленко рассказывает легенду о Чернышевском, которая сложилась о нем еще при его жизни в Сибири. Мы приведем это место целиком:

«Чернышевского провезли летом в Россию, а я ехал тем же путем осенью того же года.

Трудно представить себе что-либо более угрюмое, печальное и неприветное, чем приленская природа. Голые скалы, иногда каменная стена на десятки верст, и наверху, над нашей головой, только лиственный лес, да порой кресты якутских могил. И так почти на три тысячи верст. Русское население Лены — это ямщики, поселенные здесь с давних времен правительством и живущие у государства на жалованьи. Эта своего рода сколок старинных ямов, какая-то постовая служба для государственных целей, среди дикой природы и полудикого местного населения, среди горькой нужды.

«Мы пеструю столбу караулим, говорил мне с горькой жалобой один из ямщиков своим испорченным жаргоном: пеструю столбу, да серый камень, да темную лесу...»

В этой фразе изливалась горькая жизнь русского мужика, потерявшего совершенно смысл существования.

«Столбы для дому,—бей в камень, и паши камень, и камень кушай... и слеза наша на камень этот падает», говорил другой.

Эти люди, которые—как все люди—все чего-то ждут и на что-то надеются, везли Чернышевского, когда его отпра-

вляли на Вилюй. Они заметили, что этого арестанта провожают с особенным вниманием, и долго в юртах мужиков, забывающих родной язык, но сохраняющих воспоминание о далекой родине, толковали о важном генерале, попавшем в опалу. Затем его провезли обратно, и опять с необыкновенными предосторожностями.

В сентябре 1884 года, через несколько месяцев после проезда Чернышевского, мне пришлось провести несколько часов на пустом острове Лены, в ожидании, пока пронесется снеговая туча. Мы развели огонь с ямщиками, и они рассказывали нам о своем горьком житьишке...

— Вот разве от Чернышевского не будет ли чего?—сказал один из них, задумчиво поправляя огонь.

— Что такое? От какого Чернышевского?—удивился я.

— Ты разве не знаешь Чернышевского, Николая Гавриловича?

И он рассказал мне следующее.

«Чернышевский был у покойного царя важный генерал и самый первейший сенатор. Вот однажды созвал государь всех сенаторов и говорит: «Слышу я, плохо у меня в моем государстве, людишки больно жалуются. Что скажете, как сделать лучше?»

Ну, сенаторы-то и говорят: один—одно, другой—другое. Известно, уж, как всегда заведено. А Чернышевский молчит. Вот когда все сказали, царь говорит: «Что же ты молчишь, мой сенатор Чернышевский? Говори и ты». Он и говорит: «Все хорошо твои сенаторы говорят, и хитро, да все, вишь, не то. А дело-то, батюшка-государь, просто: посмотри на нас, сколько на нас золота, да серебра навешано, и много ли мы работаем? Да меньше всех. А которые у тебя в государстве больше всех работают, те вовсе, почитай, без рубах. И все так идет навыворот. А лучше сделать надо вот как: нам бы поменьше маленько богатства, а простому народу убавить бы тягости».

Вот услышали его сенаторы и осердились. Самый из них старший и говорит: «Это, знать, последние времена настают, что волк волка есть хочет». Да один за одним и ушли.

И сидят за столом царь да Чернышевский. Вот царь и говорит: «Ну, брат, делать нечего. Люблю я тебя очень, а делать нечего, надо тебя в далекие места сослать, потому с тобой с одним мне делами не управиться».

Заплакал да и отправил Чернышевского в самое гнилое место, на Вилюй. А в Петербурге остались у Чернышевского семь сынов, и все выросли, обучились, и все стали генералы. И вот пришли они к новому царю и говорят: «Вели, государь, вернуть нашего родителя; потому его и отец твой любил. Да теперь уж и не один он будет,—мы все с ним, семь генералов». Царь и вернул его в Рассею, теперь, чай, будет спрашивать, как в Сибири, в отдаленных местах народ живет. Привез я его в лодке на станок, да как жандармы-то сошли на берег, я поклонился в пояс и говорю:

— Николай Гаврилович! Видел наше житьишко?

— Видел,—говорит».

Так закончил рассказчик, в полной уверенности, что в ответе Чернышевского заключался залог будущего и для них, приставленных караулить «пеструю столбу да серый камень»...

Быстро пролетели краткие годы кипучей деятельности Чернышевского в 60-х годах. Большая часть его сознательной жизни прошла в заточении, в холодном одиночестве, в тяжелых нравственных страданиях. «Монаршая милость» вернула из Сибири лишь тень прежнего Чернышевского, уже неспособного к былой творческой работе. И все же, кидая последний взгляд на жизнь этого замечательного человека и подвижника русской социалистической мысли, мы можем сказать о нем его же собственными словами по поводу смерти горячо любимого им Добролюбова:

«Для своей славы он сделал довольно. Для себя ему незачем было жить дольше. Людям такого закала и таких стремлений жизнь не дает ничего, кроме жгучей скорби...»

ПРИЛОЖЕНИЯ

1

Воззвание к барским крестьянам

Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!

Ждали вы, что даст вам царь волю, — вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, которую дал вам царь, — сами вы теперь знаете.

Много тут рассказывать нечего. На два года останется все по-прежнему,—и барщина останется, и помещику власть над вами останется, как была. А где барщины не было, а был оброк, там оброк останется, либо какой прежде был, либо еще больше прежнего станет. Это на два года, — говорит царь. В два года, — говорит царь, — землю перепишут, да отмежуют. Как не в два года! Шесть лет, либо десять лет, проволочат это дело. А там что? Да, почитай, что то же самое еще на семь лет; только та разница и будет, что такие разные управления устроят, куда, вишь ты, можно жаловаться будет на помещика, если притеснять будут. Знаете вы сами, не ново это слово «жалуйся на барина». Оно жаловаться-то и прежде было можно, да много ли толку было от жалоб? Только жалобщиков же оберут, да разорят, да еще пересекут, а иных, которые смелость имели, еще и в солдаты заберут, либо в Сибирь да в арестантские роты сошлют. Только и проку было от жалоб. Известное дело: коза с волком тягалась — один хвост остался. Так оно было, так оно и будет, пока волки останутся, — значит, помещики да чиновники останутся. А как уладить дело, чтобы волков то не осталось, это дальше все рассказано будет. А теперь покуда не о том речь, какие новые порядки, как надо завести; покуда об этом речь идет, какой порядок вам от царя дан, — что, значит, не больно-то хороши для вас нынешние порядки, а что порядки, какие по царскому манифесту, да по указам заводятся, все те же самые прежние порядки. Только в словах и выходит разница, что названия переменяются. Прежде крепостными, либо барскими вас звали, а ныне срочнообязанными вас звать велят, а на

деле перемены либо мало, либо вовсе нет. Эки слова-то выдуманы! Срочнообязанные — вишь ты, глупость какая! Какой им чорт это в ум-то вложил такие слова! А по-нашему надо сказать: вольный человек — да и все тут. Да чтоб не названием одним, а самым делом был вольный человек. А как бывает взаправду вольный человек и каким манером вольными людьми вам стать, — об этом обо всем дальше написано будет. А теперь покуда о царском указе речь: хорош ли он.

Так вот оно как: два года ждать, — царь говорит, — покуда земли отмежуются, а на деле земля-то межеваться будет пять, либо и все десять лет, а потом еще семь лет живите в прежней неволе, а по правде-то оно выйдет опять не семь лет, а разве что семнадцать, либо двадцать, потому что все, как сами видите, в проволочку идет. Так, значит, живите вы по-старинному в кабале у помещика все эти годы, два года, да семь лет, — значит, девять лет, как там в указе написано, а с проволочками-то взаправду выйдет двадцать лет, либо тридцать лет, либо и больше. Во все эти годы остается мужик в неволе, уйти никуда не моги: значит, не стал еще вольный человек, все остается срочнообязанный, значит, все такой же крепостной. Не скоро же воли вы дождетесь; малые мальчики до бород аль и до седых волос дожить успеют, покуда воля-то придет по тем порядкам, какие царь заводит.

Ну, а покуда она придет, что с вашей землею будет? А вот что с нею будет. Когда отмежевывать станут, обрезывать ее велено против того, что у вас прежде было, в иных селах четвертую долю отберут из прежнего, в иных третью, а в иных и целую половину, а то и больше, как придется где. Это еще без плутовства от помещика, да без потачки им от межевщиков, по самому царскому указу. А без потачки помещикам межевщики делать не станут: ведь, им за то помещики станут деньги давать, — оно и выйдет, что оставят вам земли менее, чем на половину, против прежней; где было тягло по две десятины в поле, оставят меньше одной десятины. И за одну десятину, либо меньше, мужик справляет барщину почти что такую же, как прежде за две десятины, либо оброк плати почти что такой же, как прежде за две десятины. Ну, а как мужику обойтись половиной земли? Значит, должен будет притти к барину просить: дай, дескать, землицы побольше—больно мало мне под хлеб по царскому указу оставили. А помещик скажет: мне за нее прибавочную барщину справляй, либо прибавочный оброк давай. Да и заломит с мужика, сколько хочет. А мужику уйти от него нельзя, а прокормиться с

одной земли, какая оставлена ему по отмежеванью, тоже нельзя. Ну, и мужик на все будет согласен, что барин потребует. Вот оно и выйдет, что нагрузит на него барин барщину больше нонешней, либо оброк тяжеле нонешнего.

Да на одну ли пашню надбавка будет? Нет, ты барину за луга подавай, — ведь, сенокос-то, почитай, весь отнимут у мужика по царскому указу. И за лес барин с мужика возьмет,—ведь, лес-то, почитай, во всех селах отнимут; сказано в указе, что лес — барское добро, а мужик и валежнику подобрать не смей, коли барину за то не заплатил. Где в речке или озере рыбу ловили, и за то барин станет брать. Да за все, чего ты ни коснись, за все станет с мужика барин либо к барщине, либо к оброку надбавки требовать. Все до последней нитки будет барин брать с мужика. Просто сказать, всех в нищие поворотят помещики по царскому указу.

Да еще не все. А усадьбы-то переносить? Ведь, от барина зависит. Велит перенести — не на год, а на десять лет разоренья сделает. С реки на колодцы пересадит, на гнилую воду, да на вшивую; с доброй земли на солончак, либо на песок, либо на болото, — вот тебе и огороды, вот тебе и коноплянники, вот тебе и выгон добрый, — все поминай, как звали. Сколько тут перемрет народу на болотах-то, да на гнилой воде! А больше того ребятишек жаль: их лета слабые, — как мухи будут на дрянной-то земле да на дрянной-то воде мереть Эх, горькое оно дело! А гробы-то родительские — от них-то каково отлучиться?

Тошно мужику придется, коли барин по царскому указу велит на новые места переселяться. А коли не переселил барин мужиков, так, значит, в чистой, как есть, в кабале у него; на все есть у него такое одно словцо, что в ноги ему упадет мужик да завопит: «Батюшка, отец родной, что хочешь требуй, — все выполню, весь твой раб!». А словцо это у барина таково: «Коли не хочешь такую баршину справлять, либо такой оброк платить, так я хочу перенести усадьбу». Ну, и сделаешь все по этому словечку.

А то вот что еще скажет: ты на меня работал этот день, да я его в счет не ставлю: плохо ты работал,—завтра приди отрабатывать. Ну, и придешь. На это тоже власть барину дана по указу царскому.

Это все о том говорится, как мужикам будет жить, пока их срочнообязанными звать будут,—значит, девять лет, как в бумаге обещано, а на деле дальше будет — лет до двадцати, либо до тридцати.

Ну, так, а потом что-то будет, когда, значит, мужику разрешено будет отходить от помещика? Оно, пожалуй,

что и толковать об этом нечего, потому что долго еще ждать этого по царскому указу... А коли любопытство у вас есть, так и об этом дальнем времени рассудить можно.

Когда срочнообязанное время кончится, волен ты будешь отходить от помещика. Оно так в указе обещано. Только в нем вот что еще прибавлено: а коли ты уйдешь, так земля твоя остается за помещиком. А помещик и сам, коли захочет, может тебя прогнать с нее. Потому, вишь ты, что земля, которая была тебе отмежевана, все же не твоя была, а барская, а тебе барин только разрешение давал ее пахать, либо сено с нее косить; покуда ты срочнообязанным назывался, он тебя с нее прогнать не мог, а когда перестал ты срочнообязанным называться, он тебя с нее прогнать может. В указе не так сказано напрямки, что может прогнать, да на то выходит. Там сказано: мужик уйти может, когда срочнообязанное время кончится. Вот вы и разберите, что выходит. Барину-то у мужиков землю отнять хочется; вот он будет теснить их, да жать, да сожмет так, что уйдут, а землю ему оставят, — оно попросту сказать, и значит, что барин у мужика землю отнять может, а мужиков прогнать.

Это о том времени, когда срочнообязанными вас называть перестанут. А покуда называют, барину нельзя мужиков прогнать всех с одного разу, а можно только по отдельности прогонять,—ноне Ивана, завтра Сидора, послезавтра Карпа, поочередно: оно, впрочем, на то же выходит.

А мужику куда итти, когда у него хозяйство пропало? В Москву что ли, или в Питер, или на фабрики? Там уже все полно,—больше народу не требуется,—поместить некуда. Значит, походит, походит по свету, по большим городам да по фабрикам, да все туда же в деревню назад вернется. Это спервоначала пробу мужики станут делать. А на первых-то глядя, как они нигде себе хлеба не нашли, другие потом и пробовать не будут, а прямо так в том околотке и будут оставаться, где прежде жили. А мужику в деревне без хозяйства да без земли — что делать, куда деваться, кроме как в батраки наняться. Ну, и нанимайся. Сладко-ли оно батраком-то жить? Ноне, сами знаете, не больно вкусно, а тогда и гораздо похуже будет, чем ноне живут батраки. А почему будет хуже — явное дело. Как всех-то погонят с земли-то, так везде будут сотни да тысячи народу шататься да просить помещиков, чтоб в батраки их взяли. Значит, уж помещичья воля будет, какое им житье определить—они торговаться не могут, как ноне батрак с хозяином торгуется: они куску хлеба рады будут, а то у самого-то в животе-то пусто, да семья-то приюта не

имеет. Есть такие поганые земли, где уж и давно заведен этот порядок: вот вы послушайте, как там мужики живут. У вас ноне избы плохи, а там и таких нет: в землянках живут, да в хлевах, а то в сараях больших,—в одном сарае семей десяток набито, все равно как табун скота какого, да и хлеба чистого не едят, а дрянь всякую; как у нас в голодные годы, у них вечно так. У нас в русском царстве есть такая поганая земля, где города Рига, да Ревель, да Митава стоят, а народ тоже христианский, и вера у них тоже хорошая, да не по вере эта земля — поганая, а по тому, как в ней народ живет: коли хорошо мужику жить в какой земле, то и добрая земля, а коли дурно, то и поганая.

Так вот оно к чему по царскому манифесту, да по указам дело поведено; не к воле, а к тому оно идет, что в вечную кабалу вас помещики взяли, да еще в такую кабалу, которая гораздо и гораздо хуже нонешней.

А не знал царь, что ли, какое дело он делает? Да сами вы посудите, мудрено ли это разобрать. Значит, знал. Ну, и рассудите, чего надеяться вам на него... Не дождетесь вы от него воли, какой вам надобно. А почему не дождетесь от него, тоже рассудить можно. Сам-то он кто такой, коли не тот же помещик? Удельные-то крестьяне чьи же? Ведь они—его крестьяне крепостные. Да и вас-то в крепостные помещикам все цари же отдали,—иных давно, так что вам уже и не памятно, а других не больно давно, так что деды помнят. Пробабка нонешнего царя Екатерина отдала в крепостные из вольных. А есть еще такие неразумные, что ее матушкою Екатериною величают. Хороша матушка— детей в кабалу отдала!

Вы у помещиков — крепостные, а помещики у царя — слуги; он над ними помещик. Значит, что он, что они — все равно... Ну, царь и держит барскую сторону. А почему манифест да указы выпустили, будто волю вам дает,—вот почему: у французов да у англичан крепостного народа нет — вот они ему глаза и кололи, что у тебя, говорят, народ в кабале. Ему и стыдно было перед теми...

Волю, слышь, дал он вам! Да разве такая и вправду-то воля бывает? Хотите знать, так вот какая.

Вот у французов есть воля. У них нет разницы, сам ли человек землю пашет, других ли нанимает свою землю пахать; много у него земли,—значит, богат он, мало—так беден, а разницы по званию нет никакой, — все одно; как богатый помещик, либо бедный помещик—все одно помещик. Надо всеми одно начальство, суд для всех один, и наказание всем одно.

Вот у англичан есть воля, а воля у них та, что рекрутства у них нет: кто хочет, иди на военную службу, все равно как у нас помещики тоже юнкерами и офицерами служат, коли хотят. А кто не хочет, тому и принуждения нет. А солдатская служба у них выгодная, жалованья солдату больше дается,—значит, доброю волей идут служить, сколько требуется людей.

А то вот еще в чем воля и у французов, и у англичан: подушной подати нет. Вот это, может, и в ум не приходило, что без рекрутчины, да без подушной подати может царство стоять. А у них стоит. Вот, значит, умные люди, коли так устроить себя умели.

А то вот еще в чем у них воля: паспортов нет,—каждый ступай, куда хочет, живи, где хочешь,—ни от кого разрешения на это не надо.

А вот еще в чем у них воля: суд праведный. Чтобы судья деньги с кого брал,—у них это и не слыхано. Они и верить не могут, когда слышат, что у нас судьи деньги берут. Да у них такой судья одного дня не просидел бы на месте,—в ту же минуту в острог его запрятали бы.

А вот еще в чем у них воля: никто над тобою ни в чем не властен, окроме мира. Миром все у них правится. У нас исправник, либо становой, либо какой писарь, — а у них ничего этого нет, а заместо всего староста, который без миру ничего поделать не может и во всем должен миру ответ давать. А мир над старостою во всем властен, а кроме мира никто над старостою не властен, и ни к кому староста страха не имеет, а к миру имеет. Полковник ли, генерал ли,—у них все одно перед старостою шапку ломит и во всем старосту слушаться должен; а коли чуть в чем провинился генерал, али кто бы там ни был, перед старостою, али ослушался старосты, староста его, полковника-то аль генерала-то, в острог сажает,—у них перед старостою все равны; хоть ты простой мужик, хоть ты помещик, хоть ты генерал будь, — все одно староста над тобою начальствует, а над старостою мир начальствует, а над миром никто начальствовать не может, потому что мир значит народ, а народ у них всему голова: как народ повелит, так всему и быть. У них и царь над народом не властен, а народ над царем властен. Потому что у них царь, значит, для всего народа староста, и народ, значит, над этим старостою, над царем-то, начальствует. Хорош царь, послушествует народу, так и жалованье ему от народа выдается, а чуть что царь стал супротив народа делать, ну, так и скажут ему: ты, царь, над нами уж не будь царем, ты нам не угоден; мы тебя сменяем; иди ты с богом, куда сам

знаешь, от нас подальше, а не пойдешь, так мы тебя в острог посадим, да судить станем тебя за твое ослушанье. Ну, царь и пойдет от них, куда сам знает, потому что ослушаться народа не может. А как провожать его от себя станут, они ему на дорогу еще деньжонок дадут по жалости,—Христа ради там складчину ему сделают промеж себя по грошу или по копейке с души, чтобы в чужой-то земле с голоду не умер. Добрый народ, только и строгий же: потачки царю не любят давать. А на место его другого царя выберут, коли хотят, а не захотят, так и не выберут, коли охоты нет. Ну, тогда уж просто там на срок староста народный выбирается, на год ли там, на два ли, на четыре ли года, как народ ему срок полагает. Так заведено у народа, который швейцарцами зовется, и у другого народа, который американцами зовется. А французы и англичане царей у себя пока держат. И надобно так сказать, когда народный староста не по наследству бывает, а на срок выбирается, и царем не зовется, а просто зовется народным старостою, а по-ихнему, по-иностранному, президентом,—тогда народу лучше бывает жить, и народ богаче бывает. А то и при царе можно тоже хорошо жить, как англичане и французы живут, только, значит, тем, чтобы царь во всем народу и послушание оказывал, и без народа ничего делать не смел, и чтобы народ за ним строго смотрел, и, чуть что дурное от царя увидит, сменял бы народ его, царя-то, и вон из своей земли выпроваживал, как у англичан да у французов делается.

Так вот она какая взаправду-то воля бывает на свете: чтобы народ всему голова был, а всякое начальство миру покорствовало, и чтобы суд был праведный и ровный для всех был бы суд, и бесчинствовать над мужиком никто не смел, и чтобы паспортов не было, и подушного оклада не было бы, и чтобы рекрутчины не было. Вот это воля, так воля и есть. А коли того нет, значит, и воли нет, а все одно: обольщение в словах.

А как же нам, русским людям, и вправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать, и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собою мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись.

Вот вы, барские крестьяне, значит, одна половина русских мужиков. А другая половина—государственные да удельные крестьяне. Им тоже воли-то нет. Вот вы с ними и соглашайтесь, и растолкуйте им, какая им воля следует, как выше прописано. Чтоб рекрутчины, да подушной, да паспортов не было, да окружных там, да всей этой чиновной дряни над ними не было, и чтобы у них также мир был

всему голова. И от нас, ваших доброжелателей, поклон им скажите: как вам, так и им одного добра мы хотим.

Государственным и удельным крестьянам от их доброжелателей поклон!

А вот тоже солдат—ведь он из мужиков, тоже ваш брат. А на солдате все держится, все нонешние порядки. А солдату какая прибыль за нонешние порядки стоять? Что ему, житье, что ли, больно сладкое? Али жалованье хорошее? Проклятое нонче у нас житье солдатам. Да и лоб-то им забрили по принуждению, и каждому из них вольную отставку получить бы хотелось. Вот вы им и скажите всю правду, как об них написано. Когда воля мужикам будет, каждому солдату тоже воля об'явится: служи солдатом, кто хочет, а кто не хочет — отставку чистую получай. А у солдата денег нет, чтобы домой итти, да хозяйством или каким мастерством обзавестись, — так ему при отставке будут на то деньги выданы, сто рублей серебром каждому. А кто волей захочет в солдатах остаться, тому будет в год жалованья 50 рублей серебром. А и принужденья никакого нет: хочешь—оставайся, хочешь—в отставку иди. Вы так им и скажите, солдатам: вы, братья-солдатушки, за нас стойте, когда мы себе волю добывать будем, потому что и вам воля будет: вольная отставка каждому, кто в отставку пожелает, да сто рублей серебром награды за то, что своим братьям-мужикам волю добыть помогал. Значит, и вам, и себе добро сделают, и поклон им от нас скажите:

Солдатам русским от их доброжелателей поклон!

А еще вот кому от нас поклонитесь: офицерам добрым, потому что есть и такие офицеры, и не мало таких офицеров. Так чтобы солдаты таких офицеров высматривали, которые надежны, что за народ стоять будут, и таких офицеров пусть солдаты слушаются, как волю добыть.

Так вот какое дело — надо мужикам всем промеж себя согласие иметь, чтобы заодно быть, когда пора будет. И покуда пора не пришла, надо силу беречь, себя напрасно в беду не вводить, значит, спокойствие сохранять и виду никакого не показывать. Пословица говорится, что один в поле не воин. Что толку, что ежели в одном селе бунт поднять, когда в других селах готовности еще нет? Это значит только дело портить, да себя губить. А когда везде готовы будут, значит, везде поддержка подготовлена, ну, тогда дело начинай. А до той поры рукам воли не давай, смиренный вид имей, а сам промеж своим братом-мужиком толкуй да подговаривай его, чтобы дело в настоящем виде понимал. А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору

и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уж увидим, когда пора будет, и об'явление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди есть,—отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот, мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое об'явление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет.

А это наше письмецо промеж себя читайте да друг дружке раздавайте. А кроме своего брата мужика да солдата от всех его прячьте, потому что для мужика, да для солдата наше письмецо писано, а к другому ни к кому оно не писано,— значит, окроме вас, крестьян да солдат, никому и знать об нем не следует.

Оставайтесь здоровы, да вести от нас ждите. Вы себя берегите до поры, до времени, а уж от нас вы без наставленья не останетесь, когда пора будет.

Печатано письмецо это в славном городе Христианий, в славном царстве шведском, потому что в русском царстве царь печатать правды не велит. А мы все — люди русские и промеж вас находимся, только до поры, до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе приняться, тогда откроемся.

2

Определение сената по делу Чернышевского

Отставной титулярный советник Николай Чернышевский, занимавшийся литературою, был одним из главных сотрудников журнала «Современник». Журнал этот своим направлением обратил на себя внимание правительства. В нем развивались по преимуществу материалистические и социалистические идеи, стремящиеся к отрицанию религии, нравственности и закона, так что правительство признало нужным прекратить на некоторое время издание сего журнала, а одновременно с сим открылись обстоятельства, которые указали правительству в Чернышевском одного из зловредных деятелей в отношении к государству. Обстоятельства сии состоят в следующем:

Управляющий III Отд. собственной Его Императорского Величества Канцелярии получил безыменное письмо о Чернышевском, в коем предостерегают правительство от Чернышевского, «этого коновода юношей, хитрого социалиста». Он сам сказал, что настолько умен, что его никогда не уличат. Его называют вредным агитатором и просят спасти от такого зловредного человека. Все бывшие приятели Чернышевского, видя его тенденции уже не на словах, а в действиях, люди либеральные, отдалились от него. «Ежели не удалите Чернышевского,—пишет автор письма,—быть беде, будет кровь». Эта шайка бешеных демагогов—отчаянные головы, эта «Молодая Россия» высказала в своем проекте все зверские ее наклонности. Может быть, перебьют их, а сколько невинной крови за них прольется?! В Воронеже, в Саратове, в Тамбове—везде есть комитеты из подобных социалистов, и везде они разжигают молодежь. «Николая Гавриловича (имя и отчество Чернышевского) отправьте, куда хотите; поскорее отнимите у него возможность действовать. Избавьте нас от Чернышевского ради общего спокойствия».

В конце июня месяца 1862 года получено было в III Отделении уведомление, что из Лондона в Петербург едет коллежский секретарь Ветошников, знакомый с Герценом и Бакуниным, и везет с собою запрещенные издания Герцена, Огарева и другие, а вместе с тем и корреспонденцию от пропагандистов. При арестовании Ветошникова, между прочими письмами, оказалось у него письмо изгнанника и пропагандиста Герцена к надворному советнику Серно-Соловьевичу, в коем он убеждает его распространять пропаганду в России, а в конце письма приписка. «Мы здесь или в Женеве намерены издавать «Современник» с Чернышевским» [1].

По поводу письма сего Чернышевский 7-го июля был арестован, и у него был сделан обыск, при коем найдены следующие относящиеся к делу бумаги:

Анонимная записка с уведомлением, что дело о манифестации в Думе, по высочайшему повелению, оставлено без рассмотрения; беспокоить по этому делу никого не будут. Переписка Чернышевского с профессором Андреевским, коему он предлагает быть посредником между публикою и читавшими лекции профессорами, для раз'яснения причины прекращения публичных лекций. Письмо И. Б.,

---

[1]) На самом деле, приписка была такова: «Мы готовы издавать «Совр.» здесь с Чернышевским в Женеве—печатать предложение об этом».

по почерку Ивана Бортюкова, в котором замечательны слова: «Москва занята теперь тверскими происшествиями,—говорят, революция будет». Письмо Герцена без надписи, а потому неизвестно, кому адресованное, со многими выскобленными словами, где он опровергает совет Чернышевского—не вовлекать юношество в литературный союз, потому что из этого ничего не выйдет, и предлагает в темных выражениях проект организации какого-то общества или союза, избрав центрами деятельности ярмарки Нижегородскую, которую-нибудь из Днепровских и Ирбитскую или иной Урало-Сибирский тракт. Анонимное письмо к Чернышевскому, в коем называют его пропагандистом, социалистом, Маратом, желающим ниспровергнуть существующий порядок и учредить демократию, и затем угрожают ему самому гибелью. Алфавитный ключ на четырех картонных бумажках и, наконец, две тетрадки, написанные с сокращением слов, слогов и букв. Тетрадки эти заключают в себе дневник Чернышевского, относящийся к тому периоду времени, когда он не состоял еще в брачном союзе, а был женихом. В нем обращают на себя внимание следующие мысли, к делу относящиеся. «Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но друзья[1]) у меня весьма сильные. Что могу я другое делать? Сначала я буду молчать и молчать, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться. Я не могу, не вправе связать чьей бы то ни было судьбы с моей».

Чернышевский, находясь в крепости, 5 октября написал жене своей письмо, в котором говорит, между прочим: «Наша с тобою жизнь принадлежит истории; пройдут сотни лет, а наши имена все еще будут милы людям, и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами». Об'ясняя жене своей, что он намерен составлять «Энциклопедию знания и жизни», он пишет: «Со времени Аристотеля не было делано еще никем того, что я хочу делать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель».

Между тем, во время производства изысканий по делу Чернышевского, отставной корнет Всеволод Костомаров, судившийся в Москве за печатание запрещенных сочинений и по высочайшему повелению разжалованный в рядовые,

---

[1]) На самом деле было написано: «...но подозрения против меня будут весьма сильные». Из «подозрения» сделали «друзья».

с назначением на службу в кавказский линейный батальон, при препровождении его к месту назначения, с жандармским офицером Чулковым, дорогою в Туле заболел, а 5-го марта 1863 года написал письмо к некоему Соколову в С.-Петербург. Письмо это Чулков представил начальнику III Отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии. Письмо это заключает в себе подробный рассказ Костомарова, каким образом он вовлечен был в преступление, за которое судился, Чернышевским, каким образом Чернышевский, вместе с бывшим литератором, ныне государственным преступником Михайловым, сочинил воззвание «К барским крестьянам», а полковник Шелгунов — воззвание к солдатам, и дали ему для напечатания через студента Сороко, с коим он приезжал в Петербург из Москвы. Описывая подробно личность Чернышевского, как агитатора, который совратил с пути истинного несколько юношей, он так характеризует его: сравнивая его с Самсоном, он говорит, что «израильтянин был так непрактичен, что, расшатав столбы здания, втемяшился в самую середину его и повалил обломки на себя. Наш Самсон (т. е. Чернышевский) рассуждает иначе; он полагает: «чем мне погибать над обломками старого здания, я лучше пошлю других разваливать его, а сам посижу пока в стороне. Коли развалят—хорошо,—я займусь постройкой нового; а не развалят, надорвутся—так мне-то что? Я то всячески цел останусь». Далее Костомаров пишет другу своему, что напрасно он будет укорять его за то, что не открыл в свое время всего, что в его руках были средства увязить Чернышевского на свое место, что он сам видел эти письма, что в его руках была возможность сделать то, чтобы текст сентенции за составление воззвания «К барским крестьянам» относился не к нему, а к Чернышевскому. Тогда он должен был молчать, но теперь, когда уже совершилось, говорит в нем горькая боль оскорбленного сердца. Выгораживая Чернышевского и Шелгунова из этого дела, он предал себя. Он виноват в этом перед обществом, для которого деятельность кружка, созданного учением Чернышевского, принесла и приносит такие горькие, отравленные плоды. Затем Костомаров описывает, как Михайлов привез и рекомендовал его Чернышевскому, как они втроем в кабинете читали сочиненное Чернышевским воззвание «К барским крестьянам», и как он не соглашался напечатать его, если Чернышевский не смягчит выражений этого воззвания, взывающих к резне, как Чернышевский не соглашался сначала на это, но потом изменил несколько; как Шелгунов сочинил воззвание к солдатам, ходил в казармы читать это воззвание и уговаривать солдат, как Чер-

нышевский диктовал ему, Костомарову, в Знаменской гостинице, воззвание к раскольникам, которое он впоследствии уничтожил.

По распоряжению III Отделения Соб. Е. И. В. Канцелярии, Костомаров был возвращен из Тулы в Петербург, и при нем найдены письма Михайлова и записка карандашом следующего содержания: «В. Д. Вместо срочно-обяз. (как это по непростительной оплошности поставлено у меня)— наберите везде «врем.-обяз», как это называется в Положении. Ваш Ч.». Костомаров об'яснил, что записку эту написал Чернышевский, бывший у него в Москве, но не заставший его дома, когда уже дано было ему для печатания воззвание «К барским крестьянам». Но по пред'явлении этой записки Чернышевскому, он не признал ее своею.

По сличении почерка руки Чернышевского с его запискою, секретари Сената нашли, что хотя в общем характере нет сходства с почерком Чернышевского, но многие буквы, а именно 12 из числа 25-ти, составляющих записку, имеют сходство. Присутствие же Прав. Сената нашло, что и в отдельных буквах сей записки, и в общем характере почерка ее есть совершенное сходство с почерком руки Чернышевского.

«Воззвание к барским крестьянам», в сочинении коего Костомаров обвиняет Чернышевского, и экземпляр которого, переписанный неизвестно кем, находится в деле Костомарова, будучи писано языком простонародным, заключает в себе превратное толкование Положения 19 февраля 1861 года об освобождении крестьян. В нем говорится, что государь обманул крестьян, и что на основании Положения они будут еще в большей кабале, чем были доселе, и окончательно разорятся; затем об'ясняется крестьянам, в чем именно состоит воля; приводятся в пример Франция, Англия, Швейцария, Америка, где нет будто ни подушных, ни рекрутства, ни паспортов, где всем управляет народ и где цари находятся под властью народа, который выбирает и сменяет царей, если они не нравятся ему. В заключение автор прокламации приглашает барских крестьян готовиться добывать себе волю втайне, подговаривать к тому же государственных и удельных крестьян и солдат, а когда все это будет готово, он обещает дать сигнал к общему восстанию. В этом воззвании везде упоминаются «срочно-обязанные», каковую ошибку, как выше упомянуто, просил Костомарова Чернышевский запиской исправить при напечатании.

Кроме сего, жандармский офицер Чулков донес генерал-майору Потапову, что во время остановки его с Костомаровым, по случаю болезни его, прежде приезда в Тулу, еще

в Москве его посетил мещанин Яковлев, желавший проститься с ним. Из разговоров их он заметил, что Яковлеву хорошо известны все отношения Костомарова к Чернышевскому, и предложил Яковлеву подтвердить это письменно, на что Яковлев и согласился. Показание Яковлева состоит в следующем. Летом 1861 г. он был переписчиком бумаг и сочинений у Костомарова. Занимаясь у него, он очень часто видел у него приезжавшего из Петербурга какого-то знаменитого писателя, под именем Николая Гавриловича Чернышевского. Раз, когда он занимался перепиской бумаг, по случаю летнего времени, в садовой беседке Костомарова, он слышал между ними, ходившими в саду под руку друг с другом, следующий разговор. Чернышевский говорил: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон. Вы ждали от царя воли, ну вот вам и воля вышла». Называя статью эту своею, Чернышевский просил Костомарова скорее напечатать ее. Не находя в этих фразах ничего противозаконного и не понимая точного их смысла, он тогда оставил это без внимания. Но ныне, узнав, что Костомаров осужден за какие-то противозаконные действия, и желая от[illegible] себя [illegible]ветственности он долгом считает слышанный им разговор довести до сведения правительства.

На предложенные Костомарову высочайше утвержденной следственной комиссией вопросы он подтвердил все изложенное им в письме к Соколову. Генерал-майор Потапов препроводил в высоч. учр. следств. комиссию полученную им через московского губернского прокурора докладную записку содержащегося в смирительном доме мещанина Яковлева и переписку конторы московского смирительного и рабочего домов. Из бумаг этих видно, что Яковлев отправился в Петербург для донесения об отношениях Костомарова к Чернышевскому, но на Тверской станции Николаевской железной дороги за пьянство и буйство был взят в полицию и препровожден к московскому обер-полицеймейстеру, а от него в дом градского общества, которое отправило его за вышеиз'ясненные проступки в смирительный дом на четыре месяца. По вытребовании Яковлева и студента Сороко в Петербург, они на данные им вопросы ответили: Сороко, что хотя он и приезжал с Костомаровым в Петербург, и хотя знаком был с Михайловым, но «Воззвания к барским крестьянам» Костомарову не передавал, а передал ему запечатанное письмо от Михайлова, с Чернышевским же лично знаком не был. Показание сие Сороко подтвердил и на очных ставках с Костомаровым, несмотря на улики его. Яковлев же подтвердил прежнее свое показа-

ние, и по пред'явлении ему Чернышевского утвердил, что он есть то самое лицо, о котором он свидетельствует.

Редактор журнала «Современник» Некрасов представил генерал-майору Потапову полученное им по почте из Москвы письмо, в коем пишущие об'ясняют, что они находятся арестованными в смирительном доме. На страстной неделе к ним явился какой-то мещанин Яковлев и об'яснил, что он также содержится за политическое преступление, и обратился к ним за советом. Он поехал в Петербург по весьма важному делу, но на Тверской станции выпил и забуянил; за это общество посадило его в рабочий дом. На вопрос, по какому делу он ездил к генералу Потапову, Яковлев отвечал: «Я был знаком с Костомаровым, на-днях получил записку без подписи, в коей меня приглашают в гостиницу Венеция № 18. Явившись туда, я был изумлен, встретив Костомарова в солдатской шинели и с жандармским офицером. Он сделал мне следующее предложение: «Вот тебе письмо к моей матери, поезжай с ним в Петербург и отдай его по адресу. Мать моя научит тебя, что делать, и ежели ты последуешь ее наставлениям, будешь хорошо награжден».— «А Костомаров не говорил вам, что именно придется делать?» —спросили они. «Говорил, что должен дать в III Отделении показание, будто бы слышал, как Чернышевский, в разговоре с Костомаровым, сказал следующую фразу: «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!». Я не знаю, что значат эти слова, и зачем Костомарову нужно, чтобы я дал такое показание. Скажите, если я дам такое показание, может Потапов что-нибудь сделать для меня? Может ли, например, освободить из рабочего дома?» «Ну, это вряд ли. Мы думаем, что за ложное показание Потапов вас будет скорее преследовать, потому что по закону ложный свидетель подвергается строгому наказанию». — «Я уже подал Потапову отсюда прошение, — сказал Яковлев: —меня скоро потребуют в Петербург; сам не знаю, что делать!». Мы сказали, что лучше сказать правду. Мы не поверили Яковлеву, зная, что Костомаров не мог быть в это время в Москве, потому что судился вместе с нами в Сенате и приговорен к шестимесячному заключению в крепости и к ссылке в солдаты на Кавказ. 4 апреля мы удивились, увидев Яковлева на дворе с жандармами. Нам сказали, что его отправляют в Петербург. Вспомнив разговор наш с ним, мы невольно пришли к предположениям, что Чернышевский действительно обвинялся в каком-либо политическом преступлении, что Костомаров и его семейство с помощью Яковлева хотят подвергнуть Чернышевского несправедливому обвинению суда». Все это заставило пишу-

щих обратиться с просьбою к Некрасову, прося представить письмо это, куда следует, чтобы предупредить возможность несправедливого приговора суда. Все это они готовы, в случае надобности, подтвердить перед судом присягою. Подписали: Гольцер-Миллер, Ильенко, Новиков, Сулин и Ященко.

Комиссия положила: вследствие такого проступка Яковлева и безнравственного его поведения, не ожидая окончания 4-месячного срока, на который он присужден обществом, отправить его на жительство в Архангельскую губернию, на что испрошено высочайшее соизволение, каковое и последовало. Полковник Шелгунов против возводимых на него Костомаровым обвинений не сознался, утвердив запирательство свое и на очной с Костомаровым ставке. Литератор Михайлов, бывший губернский секретарь, судившийся в Сенате за распространение привезенного им из Лондона возмутительного воззвания «К молодому поколению» и сосланный на каторгу, во время производства над ним в Сенате следствия, между прочим, показал: что он имел в руках своих воззвания и «к барским крестьянам», и «к солдатам», из которых последнее переписывал и поправлял, но не открыл никого из своих сообщников. Правительствующий Сенат испрашивал высочайшее повеление, следует ли Михайлова судить отдельно за то преступление, за которое он был предан суду 1-го Отделения 5-го департамента Сената, т.-е. за распространение воззвания «К молодому поколению», или совокупно с падающим на него обвинением в отношении сочинения воззваний к барским крестьянам и солдатам. Государь император высочайше повелеть соизволил: судить Михайлова за распространение прокламации «К молодому поколению» отдельно от других падающих на него обвинений.

По поступлении дела о Чернышевском в Правительствующий Сенат, г. обер-прокурор, по поручению управляющего министерством юстиции, предложил на совокупное рассмотрение с делом о Чернышевском полученное в III Отделении Собственной Е. И. В. Канцелярии письмо Чернышевского к Алексею Николаевичу (вероятно, Плещееву). Письмо это следующего содержания...[1]) Письмо сие пред'явлено было в присутствии Сената Чернышевскому, и по содержанию оного он был допрошен. Но Чернышевский в данных ответах об'яснил, что письмо сие писано не им, и о содержании оного отозвался неведением. Вследствие заключения Сената, делаемо было секретарями Сената сличение

[1]) Здесь приводится полностью уже известное читателям письмо.

почерка руки Чернышевского с почерком, коим писано письмо сие, и секретари единогласно признали, что как это письмо, так и бумаги, в деле находящиеся, писанные Чернышевским и им не отвергаемые, писаны одною и тою же рукой. Присутствие 1-го отделения 5-го департамента, сличив со своей стороны почерк Чернышевского с письмом сим, признало вышеозначенное заключение секретарей Сената правильным, и посему определило заключение сие утвердить во всей силе. Рядовой Костомаров, быв вытребован в присутствие Сената и подтвердив прежние об'яснения свои касательно сношений своих с Чернышевским, о письме сем об'яснил, что оно дано было ему Чернышевским для передачи Плещееву, но он его куда-то затерял, а после нашел его за подкладкой своего саквояжа, но как оно, быв измочено и разорвано (письмо это, действительно, получено в Сенате разорванное и со следами подмочки), то отдать его Плещееву ему было совестно. Подсудимый Чернышевский во всех вышеизложенных, возводимых на него обвинениях ни на допросах в следственной комиссии, ни на передопросах в Правительствующем Сенате, ни на очной с Костомаровым ставке,—не сознался, не отвергая, впрочем, знакомства своего ни с Костомаровым, ни с Михайловым. На очной ставке с Костомаровым в комиссии он сказал: «Я поседею, умру, но не переменю своего показания». Знакомство свое с Костомаровым он об'яснил тем, что покровительствовал только ему, как молодому начинающему литератору. Чернышевский домогался перед Правительствующим Сенатом, чтобы сличение почерка руки, коим писано было письмо к Алексею Николаевичу, дозволено было ему произвести самому с почерком Костомарова и чтобы ему дали для сего лупу, увеличивающую в 10 или 12 раз. Но Правительствующий Сенат, имея в виду, что при сличении соблюдены были все требуемые законом обряды и формы, в домогательстве его отказал. Коллежский регистратор Алексей Николаевич Плещеев был вызван в Сенат и, утверждая оному знакомство и литературные отношения свои с Чернышевским, ни в каком противозаконном участии с ним не сознался, равно как и в получении от него письма, посланного через Костомарова, под заглавием: «Добрый друг Алексей Николаевич».

Из сведений о происхождении Чернышевского видно, что он сын священника, воспитывался первоначально в семинарии, а потом в университете, служил преподавателем во 2-м кадетском корпусе, был учителем гимназии в Саратове, потом причислился к С.-Петербургскому губернскому правле-

нию и в 1858 году вышел в отставку. От роду ему 35 лет, женат, имеет двух детей.

Рассмотрев обстоятельства настоящего дела, Правительствующий Сенат находит, что на подсудимого Чернышевского взводятся три следующие обвинения:

1. Противозаконные сношения с изгнанником Герценом, стремящимся пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, и участие с Герценом в сих преступных его замыслах. — В отношении сего обвинения, из дела видно, что основанием к тому служит токмо приписка Герцена в письме к Серно-Соловьевичу о намерении его издавать с Чернышевским журнал здесь, т.-е. в Лондоне или Женеве, и письмо, найденное у Чернышевского, неизвестно к кому адресованное, которое, по словам его, получено им по городской почте, писанное Герценом или Огаревым, в коем возражают против убеждения Чернышевского не вовлекать юношество в литературный союз. Чернышевский, с своей стороны, не сознался ни в каких противозаконных сношениях с Герценом, об'яснив, что, действительно, Михайлову, отправляющемуся в Лондон, он поручил сказать Герцену, чтобы он не вовлекал молодежь в его противозаконные планы. При таких обстоятельствах нет основания признавать Чернышевского виновным в участии с Герценом в его стремлениях пропагандою ниспровергнуть существующий в России образ правления, а посему, по обвинению этому, согласно 304 ст., 2 кн., т. XV св. зак. уг., его следует признать недоказанным.

2. Сочинение возмутительного воззвания «К барским крестьянам», переданного Костомарову для напечатания, с целью распространения. В отношении сего обвинения из дела оказывается, что подтверждением оному служит: а) показание разжалованного из корнетов в рядовые Всеволода Костомарова, подробно и обстоятельно об'яснившего весь ход переговоров его с Чернышевским о печатании воззвания к барским крестьянам; б) записка, найденная у Костомарова и оставленная у него Чернышевским, в которой последний просит исправить ошибку его рукописи и напечатать вместо «срочно-обязанные» — «временно-обязанные» (крестьяне), как это значится в Положении, что подтверждается и рукописью, в деле находящейся, в коей, действительно, написано «срочно-обяз.», и признанное присутствием Правительствующего Сената совершенное сходство почерка сей записки с почерком Чернышевского, как в отдельных буквах, так и в общем характере; в) показание мещанина Яковлева, переписчика бумаг у Костомарова, слышавшего разговор Костомарова с Чернышевским, который просил

его скорее напечатать воззвание «К барским крестьянам»; г) показание бывшего под судом в Правительствующем Сенате политического преступника Михайлова о том, что он имел у себя в руках воззвание «К барским крестьянам» и передал Костомарову. Так как показание это совпадает с показаниями Костомарова, об'яснившего об участии Михайлова в напечатании воззвания «К барским крестьянам»; токмо Михайлов, пойманный и уличенный государственный преступник, не будучи в состоянии сам избавиться от заслуженного им наказания, скрывает своих сообщников. К опровержению вышеизложенных улик представлено токмо литератором Некрасовым письмо содержащихся в смирительном доме за политические преступления 5 лиц, доказывающих, будто бы Яковлев был подговорен Костомаровым к ложному против Чернышевского показанию, имеющее само по себе вид стремления осужденных к легчайшему наказанию спасти своего сообщника, еще не осужденного судом уголовным, представляет и ту несообразность, что извет на Яковлева не представлен начальству смирительного дома, которое, по горячим следам, имело бы возможность раскрыть истину, а сообщено владельцу журнала, в котором Чернышевский развивал свои зловредные идеи. Сам Чернышевский против улик сих никакого опровержения не представил. Из сих улик вытекает полное нравственное убеждение, что воззвание «К барским крестьянам» сочинил Чернышевский и принимал меры к распространению через тайное отпечатание оного.

3. Приготовление к возмущению.—Вещественным доказательством сего преступления против Чернышевского служит находящееся в деле собственноручное (т. XV св. зак уг., кн. 2, ст. 326, и т. X, ч. 2, ст. 354) письмо Чернышевского к некоему Алексею Николаевичу (Плещееву). Таким образом, это письмо обращает нравственное убеждение в виновности Чернышевского в юридическое тому доказательство (ст. 308, т. XV). В этом письме он, укоряя друга своего в медленном приобретении орудия к тайному печатанию и распространению возмутительных воззваний, пишет, что они воспользовались случаем, когда им подвернулись люди, занимающиеся тайным печатанием, — напечатать свой манифест. Несомненно, что здесь речь идет о Костомарове, Сулине, Сороке и о воззвании «К барским крестьянам», которое они взялись напечатать. Из этого письма явствует, что ему были известны другие злоумышленники, возмущавшие общественное спокойствие распространением своих воззваний.

Изложенные обстоятельства не допускают сомневаться в существовании злоумышления к ниспровержению правительства и в принятии Чернышевским деятельного в том участия с приготовлениями к возмущению. Таким образом, действия Чернышевского заключают в себе все условия преступления, предусмотренного в св. зак. уг., кн. I, т. XV, в главе о госуд. преступл., в ст. 263, т.-е. участие в злоумышлении против правительства. Но, принимая во внимание, что таковые злоумышления Чернышевского открыты правительством заблаговременно, при начале оных, и ни смятений, ни каких-либо других вредных от того последствий не произошло, Чернышевский, на точном основании последующей 284 ст., должен быть подвергнут наказанию по 3-й или 4-й степени 21 ст. Обращаясь затем к определению степени предлежащего Чернышевскому наказания, Сенат находит, что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературной деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих со всею злою волею посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства к осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, а посему Сенат признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, т.-е. по 3-ей степени в мере близкой к высшей, по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся.

В сих соображениях и на основании вышеприведенных законов, Правительствующий Сенат полагает: отставного титулярного советника Николая Чернышевского, 35 лет, за злоумышление к ниспровержению существующего порядка, за принятие мер к возмущению и за сочинение возмутительного воззвания «К барским крестьянам» и передачу оного для напечатания в видах распространения— лишить всех прав состояния и сослать в каторжную работу в рудниках на 14 лет, и затем поселить в Сибири навсегда.

Решение это, на основании 617 ст., 2 кн., т. XV св. зак. уголовных, представить на высочайшее Его Императорского Величества усмотрение и ожидать утверждения.

Затем Правительствующий Сенат определяет его же, Чернышевского, по обвинению в противозаконных сношениях с изгнанником Герценом и в участии в его преступных замыслах, признать недоказанным.

3

Письмо Чернышевского к Александру II

Всемилостивейший Государь!

Я был арестован 7-го июля. Меня призвали к допросу 30 октября, почти через 4 месяца после моего ареста. Если бы можно было найти какое-нибудь обвинение против меня, достаточно было времени, чтобы найти его. О чем же меня спросили? О том, в каких отношениях я нахожусь к русским изгнанникам, Герцену и Огареву. Я отвечал: «в неприязненных, это всем известный факт; он должен быть известен и комиссии». Ничего не нашли сказать мне, ни против этого, ни кроме этого. Допрос едва ли продолжался 10 минут. Я подождал еще 2 недели, не имеют ли о чем спросить меня, кроме этого; меня не призывали. Тогда я выразил сам желание, чтобы меня пригласили в следственную комиссию; ждал приглашения 4 дня, не получил его и обратился к его превосходительству, г. коменданту С.-Петербургской крепости, с запиской, по которой мне разрешено теперь писать к вашему величеству.

Государь, не из этого хода моего дела я заключил, что против меня нет обвинения—я знал это и говорил это при самом арестовании моем. Но если бы я раньше этого времени стал уверять ваше величество, что обвинений против меня нет, вы, государь, не имели бы оснований верить моим словам. Теперь смею думать, что они не покажутся пустыми словами. Если бы против меня были какие-нибудь обвинения, кроме намека, заключающегося в вопросе о моих отношениях к Огареву и Герцену, мне предложили бы какие-нибудь вопросы, относящиеся к этим другим обвинениям. Таких вопросов не было предложено; следовательно, и других обвинений нет. Вот первое мое основание. Вот второе: когда я выразил желание, чтобы меня пригласили в комиссию, я хотел через нее просить разрешения писать к вашему величеству; но это не было известно комиссии, она не могла знать, зачем я желаю быть приглашен. В подобных случаях самое естественное предположение всякого следователя то, что арестованный желает сделать признание, или показание, открывающее какую-нибудь тайну. Если бы комиссия имела это предположение, она поспешила бы пригласить меня. Но она не пригласила; следовательно, она не имела такого предположения. А не иметь его она могла потому только, что из самого дела ей было очевидно, что мне не в чем признаваться и нечего скрывать.

Но, государь, самое главное доказательство, что не нашлось возможности оставить на мне какое-нибудь обвинение, заключается именно в том единственном вопросе, какой был мне сделан. Спрашивать меня о моих отношениях к Огареву и Герцену, значит, показывать, что спрашивать меня решительно не о чем. Всему петербургскому обществу, интересующемуся литературой, известна та неприязнь между мною и ими, о которой я говорил; известны также и причины ее. Их две. Первая заключается в денежной тяжбе, которую вел Огарев с одним из знакомых мне лиц [1]). Он выиграл ее; но в многочисленных разговорах, которые она возбуждала в обществе, я громко порицал действия Герцена и Огарева по этому делу. В моем положении неудобно мне говорить о другой причине неприязни между нами. Но ваше величество может увидеть эту причину из письма Огарева и Герцена, которое сохранилось у меня в бумагах. Неизвестное мне лицо, получившее это письмо, прислало его мне по городской почте, в очевидном желании сделать мне неприятность, потому что в этом письме Огарев советует своему корреспонденту побить меня, а Герцен говорит, что я поступаю с ним á la baron Vidil [2]). Почему Герцен так отзывается, и почему Огарев желает, чтобы меня поколотили, пусть об'яснит вашему величеству самое письмо их.

Государь, имею ли я теперь основание обращаться к вашему величеству, как человек, очищенный от обвинений,—если вы находите, что имею, то благоволите, прошу вас, оказать мне справедливость повелением об освобождении меня от ареста.

Вашего величества подданный

Н. Чернышевский.

20 ноября 1862 г.

4

Письма Чернышевского к жене

2 декабря 1872 г. Вилюйск.

Милый друг мой, Оленька!

Два месяца тому назад я написал Тебе в довольно коротких словах ответ на вопрос Твой о том, можешь ли Ты приехать ко мне. Повторяю теперь, на всякий случай, те же

[1]) А. Я. Головачевой-Панаевой.

[2]) Намек на известный английский процесс: Видиль был приговорен к смерти за покушение на убийство.

мысли еще короче, по предположению, что чем короче, тем скорей будет прочтен Тобою мой ответ.

С той минуты, как я в первый раз увидел Тебя, мой милый Друг, не было в моей жизни ни одной минуты, я могу смело сказать Тебе, которая прошла бы без мысли о Тебе;—Ты сама знаешь это; только потому я не опасаюсь писать Тебе уверение, которое слишком немногими мужьями может быть высказываемо женам по правде, совершенно чуждой всякого преувеличения, как высказывается Тебе мной.

Но то же чувство обязывает меня сказать Тебе совершенно решительно, что мысль о моей смерти, вовсе не привлекательная для меня, все-таки, гораздо менее тяготила бы меня, нежели мысль видеть Тебя здесь. Довольно этого.

Из того, как выражаюсь я о моей смерти, Ты можешь вывести приятное и верное заключение, что мое здоровье позволяет мне надеяться дожить до порядочно-глубокой старости. Успеем еще, моя милая Радость, пожить вместе с Тобою; поживем вместе подольше, много подольше времени, чем сколько длилось и теперь, вероятно, не очень много уж может еще продлиться надобность мне желать, чтобы Твоя жизнь шла не вблизи, а вдали от меня.

Прошу Тебя, как всегда, об одном: пусть забота о Твоем здоровьи будет исключительной Твоей заботой.

Для людей по России не с моими привычками здешний климат нехорош. Дело не в морозах; мороз в 20 или 45 градусов, это уж почти все равно; поэтому, собственно к морозу здешнему, нам, русским, и привыкать почти не нужно,— дело в самом климате, в воздухе: он нехорош, кроме как во время сильных морозов. Кругом болота. А земля вечно мерзлая внизу. Все месяцы тепла проходят в том, что она понемножку оттаивает; поэтому, от начала здешней весны до конца здешней осени, длится то нездоровое время какое бывает в России только две - три недели, пока высыхает, согреваясь, промерзнувшая зимой земля. Здесь эта сырость воздуха от высыхания земли — сырость вовсе не такая, как от дождя — проходит только зимой. — Но при моих привычках, это ничего не значит. Я привык быть очень осторожным. Я не только ем, но и чай пью, постоянно наблюдая за собой, «не лишний ли будет этот глоток пищи или чаю». Я так привык к этому, что это уж похоже на инстинкт, — не могу по ошибке с'есть лишнее: не идет в горло. Так и во многом другом. Например, Ты знаешь, я терпеть не мог ходить. Но ходить это нужно для здоровья. Мне лень. И я сам понимаю, что не беда иной раз поле-

ниться, пролежать весь день с книгой, как мне нравится. Но привычка берет верх. С досадой на себя, я надеваю шубу, иду, и брожу. И самому опять смешно: «довольно ходил; можно б итти назад в комнату» — а нет таки, продолжаю бродить без надобности. Приучить себя к этому было для меня, конечно, труднее всего. А приучил таки.

Зато, уж несколько лет я не чувствовал ни на один день свое здоровье сколько-нибудь не совсем хорошим. И могу иметь уверенность, что не подвергнется оно ослаблению и от здешнего климата. Вот почти год прожил здесь. И чувствую себя так же хорошо, как и три, и четыре года назад.— Я небрежен, неосторожен, забывчив во всем том, о чем, по моему мнению, не стоит думать. Но в чем кажется мне полезно, в том я держу себя как хочу. Для смеха скажу: если б вздумалось мне выучиться петь, — и тому, я думаю, выучился бы, хоть другого такого голоса и других таких ушей поискать.

Живу хорошо; вообще, всем и всеми доволен. И довольно давно не было случая, чтобы хоть один час или полчаса не был в самом хорошем настроении духа, так что могу назвать себя одним из людей на целом свете наиболее довольных и самими собой и всем окружающим. — Будь только Ты здорова и старайся быть хоть вполовину такой веселой, как я — и половины довольно, чтобы и скука, и грусть оставались вовсе неизвестны. Пожалуйста, моя Радость, будь, какой прошу Тебя быть. — Обнимаю Тебя тысячи и тысячи раз. Целую Сашу и Мишу.

Обнимаю опять и опять Тебя.

Твой Н. Чернышевский.

8 марта 1878 г. Вилюйск.

Милый мой дружочек, Оленька.

Готовлюсь праздновать Твой день рождения. Это и день Твоих именин, два самые главные мои праздника. А день нашей свадьбы? Милая моя Радость, да Ты припомни: разве я одобрял Тебя за то, что Ты рассудила принять мое предложение?—Я говорил тогда Тебе «Вы», и старался соблюдать деликатность в выражении моих мыслей о том, одобряю ли я Твое решение. Но—речи мои не были лишены своеобразной занимательности, — согласись: не были лишены. — «Ольга Сократовна, позвольте мне говорить с Вами откровенно. Положим, Вы не ошибаетесь, что я нисколько не влюблен в Вас, а просто: я очень уважаю Вас. Это, разумеется, Вы говорите справедливо. Но, поверьте: Вам гораздо

лучше будет вытти за кого-нибудь другого. Конечно, я говорю, что я ни на кого из девушек или женщин, кроме Вас, не мог смотреть, как на девушку или женщину; потому что все они некрасивы, на мой взгляд. Ну, и положим, это всегда будет так. Но только согласитесь Вы сами: нехорошо Вы делаете, что принимаете мое предложение. Положим, я неуклюж и некрасив, и это, по моему, вовсе нехорошо. Но только поверьте: этого я не принимаю в соображение, потому что об этом, по Вашему мнению, не стоит и толковать. Это Вы думаете справедливо. Но только, это еще пустяки бы, если бы только то и было плохо, что относится до моей наружности и до моих неуклюжих манер. Душа-то у меня тоже такая, что — согласитесь: я все равно, что тряпка. Ну, согласитесь: хорошо ли Вам, или хоть другой девушке венчаться с таким человеком, у которого душа все равно, что тряпка? — Это неблагоразумное решение с Вашей стороны, поверьте». — И по скольку часов, каждый день, вплоть до самого часа свадьбы, толковал я в этом вкусе? — Помнишь, Ты поскучаешь, бывало, слушавши: перестаешь слушать; после, велишь: «Да отстаньте же; не раз бывало говорено Вам: надоели вы мне; сидите и молчите, если не можете придумать ничего умнее этой скуки. Ну, сообразите сами: ваше ли дело давать мне советы? И что вам за надобность рассуждать, умно ли я делаю, выходя за вас? Это мое дело судить. А вы слушайтесь. И сидите, и молчите. Говорить нам с вами не о чем».—Я вижу: правда. И посижу, как умный человек, помолчу. Но, собравшись с храбростью, начинаю: — «Нет, однако ж, прошу Вас, Ольга Сократовна, обратите внимание на то, что гораздо лучше Вам будет выйти за кого-нибудь другого», — и опять об'ясняю все, как прежде. — «Отстаньте ж. Я говорила вам: вы очень любите меня. Поэтому, я делаю умно, что иду за вас». — «Нет, поверьте, Ольга Сократовна: я нисколько не люблю Вас. Я уважаю Вас. И не мог никогда смотреть на девушек или молодых женщин не так же точно, как на старух или мужчин, потому что они нехороши собою. Но любить Вас я вовсе не думал и никогда не буду думать. Это, поверьте, правда. И прошу Вас: не скучайте, а выслушайте хорошенько, терпеливо»; — и идет это без конца, — лишь с перерывами, по моей робости вовсе не исполнять Твоего приказания: «Отстаньте, сидите и молчите»,—идет это до самой свадьбы. И,—помнишь? Едем из церкви, опять за то же самое, только с приличною перемене обстоятельств моей проповеди, переменою: — «Вот, Ольга Сократовна, не послушались-таки Вы моего совета. Покорно благодарю Вас. Жаль, разумеется, что не послушались. Но, впрочем,

ошибка Ваша неважна. Это все пустяки, Ольга Сократовна: свадьба, жена, муж — это все пустяки. Теперь, разумеется, Вы полагаете иначе. Но, поживете на свете, то увидите: все это пустяки» — и так дальше, без конца, каждый день, — не год и не два после свадьбы. Пока вовсе перестала Ты слушать; — по первому слову стала терять терпенье. Оно правда; могло, наконец, стать совершенно нестерпимо, хоть бы Ты была и самого терпеливого характера.

Смешные были мы с Тобой, жена и муж. Смешные, моя милая Радость.

Я, по обыкновению, совершенно здоров. Живу очень хорошо. — Погода стала вовсе теплая. Потому, тем больше я гуляю.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, моя милая Голубочка, и все будет прекрасно.

Целую детей.

Крепко обнимаю, и тысячи, тысячи раз целую Тебя, моя милая Лялечка.

Будь здоровенькая и веселенькая. Целую твои ножки.

Твой Н. Ч.

1 декабря 1884 г. Вилюйск.

Милый мой дружочек, Оленька.

Я совершенно здоров. Живу очень хорошо. Прошу Тебя и детей не присылать мне ни денег, ни вещей: у меня всего этого изобильно.

Каково-то поживаешь Ты, моя миленькая Голубочка? Каково переносит зиму Твое здоровье? — Думаю и думаю об этом, только об этом.

Когда Ты получишь это письмо, будет уже наступившим новый год. Хочу надеяться, что он будет хорош для Тебя. А когда так, то будет хорош и для меня: вся моя жизнь — мысли о Тебе, моя Радость.

Пишу на другом полулистке по два слова детям.

Целую руки Тетеньке и Вареньке. Целую Дяденьку. Поздравляю их с новым годом. Желаю им здоровья и всего хорошего. Благодарю их за любовь к Тебе.

Дружочек мой, миленький мой Дружочек, заботься о Твоем здоровьи; умоляю Тебя, заботься о нем. Здорова Ты — то я совершенно счастлив.

В том, что Ты прощаешь мне свои огорчения от меня я уверен. Ты благородная, великодушная.

Прошу Тебя верить, что я пользуюсь прекрасным и совершенно прочным здоровьем и живу очень хорошо. Это не более, как чистая правда.

Целую твои ручки. Крепко обнимаю и тысячи, тысячи раз целую Тебя, моя милая Красавица.

Будь здоровенькая и старайся быть веселенькою, и все будет прекрасно.

Целую Твои ножки, миленькая моя Ялечка. Будь здоровенькая и веселенькая.

Твой Н. Ч.

10 августа 1883 г. Вилюйск [1]).

Милый мой дружочек, Оленька.

Я получил Твое письмо от 29 апреля. Целую за него Твои ручки, моя Красавица. Жаль, что Ты грустишь. Это, кроме того, что тяжело для души, вредно отзывается на здоровьи и у самых флегматичных людей; тем сильнее вредит ему у Тебя, при живости Твоего характера. Старайся поменьше думать обо мне; думать обо мне вообще не стоит; тем более, не стоит думать грустно. Думай как можно больше о детях; это гораздо лучше.

Когда Ты получишь это письмо, будет наступать зима. Каково-то будет переносить морозы Твое здоровье?—вот мое раздумье.

Кроме этого раздумья, все в моей жизни хорошо.

Пользуясь теплым временем, много прогуливаюсь. Никогда не мог терпеть прогуливаться. И теперь терпеть не могу. И, судя правильно, вовсе нет мне надобности делать себе такое скучное принуждение: я никогда не нуждался в моционе; и теперь не нуждаюсь. Здоровье мое и без него, как при нем, одинаково хорошо. Но, для очищения совести перед книгами о гигиене, требующими моциона, делаю напрасное насилие над собою, прогуливаюсь. Чтобы не было скучно, даю себе какое-нибудь дело на прогулке. Например, зимою и раннею весною, по невозможности никакого другого труда над природою, крепко замерзлою, подламываю ветки, высовывающиеся на тропинку, по которой иду, и тем приобретаю право на признательность коров, которые, с появлением травы, будут ходить по этой тропинке, не царапаясь лбами и боками об эти уничтоженные мною помехи безболезненному их шествованию. Теперь, собираю грибы. Но есть их надоело мне с прошлого года, когда набрал я себе громадный ворох их. Потому нынешнее лето тружусь над ними без эгоистических побуждений и дарю собранные грибные сокровища тем из здешних русских, которые едят грибы (якуты их не едят; и большинство здешних русских

[1]) Последнее письмо из Сибири.

отвыкло есть их). Такой благородный образ моих действий заслуживает, без сомнения, похвалы. И, действительно, все осчастливленные моими грибами хвалят их, и кстати, меня.

Кроме подобного вздора, нечего мне рассказывать о своей жизни: совершенно здоров; живу хорошо, удобно; все в моей личной жизни приятно; — но это все так идет постоянно, неизменно; потому и рассказывать об этом нечего: было бы повторение того, что писал я уж много раз.

Одно, моя милая Голубочка, одно смущает мое хорошее настроение духа, — раздумье о Твоем здоровьи.

О, будь здоровенькою, моя Радость. Тогда и грустить будешь меньше. А я буду вполне счастлив. Побольше, побольше заботься о своем здоровьи моя Красавица. И между прочим, делай себе то принуждение, чтобы не чуждаться развлечений. Они полезны.

Пишу на другом полулистке по нескольку слов детям.

Целую руки Тетеньки, Вареньки и других сестер. Целую Дяденьку. Благодарю их за любовь к Тебе.

Крепко обнимаю, тысячи и тысячи раз целую Твои милые глазки, моя Красавица.

Будь здоровенькая, моя миленькая Лялечка.

Целую Твои ножки.

Твой Н. Ч.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Г. В. Плеханов.**—Н. Г. Чернышевский. Петербург, 1910 г.

2. **Ю. М. Стеклов.**—Н. Г. Чернышевский, его жизнь и деятельность. Петербург, 1909 г.

3. **Е. Ляцкий.**—Н. Г. Чернышевский в годы учения и на пути в университет. «Современный Мир», 1908 г., № 5—6.

4. **Его же.**—Н. Г. Чернышевский в университете. «Современный Мир», 1908 г., № 12.

5. **Его же.**—Н. Г. Чернышевский и Фурье. «Современный Мир», 1909 г., № 11.

6. **Чернышевский в Сибири.**—Переписка с родными. Вступительная статья Е. Ляцкого, примечания М. Н. Чернышевского. Петербург, 1912 г., вып. 1, 2 и 3.

7. **Н. Денисюк.**—Н. Г. Чернышевский, его время, жизнь и сочинения. Москва, 1908 г.

8. **В. Чешихин-Ветринский.** — Н. Г. Чернышевский, Петроград, 1923 г.

9. **М. Лемке.**—Политические процессы М. И. Михайлова, Д. И. Писарева и Н. Г. Чернышевского (по неизданным документам), Петербург, 1907 г.

10. **К. Пажитнов.**—Развитие социалистических идей в России. Петроград, 1924 г.

11. **В. А. Пыпина.**—Любовь в жизни Чернышевского. Петроград, 1923 г.

12. **Г. А. Малышенко.**—Н. Г. Чернышевский. «Русская Мысль», 1906 г., №№ 4, 5 и 6.

13. **К. М. Федоров.**—Жизнь русских великих людей. Н. Г. Чернышевский. Асхабад, 1904 г.

14. **В. Шаганов.**—Н. Г. Чернышевский на каторге и в ссылке. Петербург, 1907 г.

15. **П. Ф. Николаев.**—Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге (на Александровском заводе), 1867—1872 г.г. Москва, 1906 г.

16. **В. Г. Короленко.**—Отошедшие. Петербург, 1908 г.

17. **Н. В. Шелгунов.**—Сочинения. Изд. 1891 г. Петербург. Том II. «Из прошлого и настоящего».

18. **Л. Ф. Пантелеев.**—Из воспоминаний прошлого. Петербург, 1908 г.

19. **А. Н. Пыпин.**—Мои заметки. Москва, 1910 г.

20. **Н. Я. Николадзе.**—Освобождение Н. Г. Чернышевского. «Былое». 1906 г., № 9.

21. **Андреевич (Соловьев).**—Опыт философии русской литературы. Петербург, 1905 г.

22. **А. В. Никитенко.**—Записки и дневник. Петербург, 1904 г.

23. **Н. А. Огарева-Тучкова.**—Воспоминания. Москва, 1903 г.

24. **А. Я. Головачева-Панаева.** — Воспоминания. «Исторический Вестник» 1869 г., №№ 7, 8, 9.

25. **М. Г. Чернышевский.**—Библиография о Н. Г. Чернышевском. Петербург, 1911 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ТОГО ЖЕ АВТОРА:

«Процесс Людовика XVI». Издание 2-ое.
«Красная Новь», 1923.

«П. Гольбах». Издание 2-ое. «Красная Новь», 1923.

«А. И. Герцен». Издание 2-ое. «Красная Новь», 1923.

«Жизнь, ее проявления, происхождение и развитие».
Издание 3-е. Госиздат. 1924.



Цена 1 руб. 80 коп.